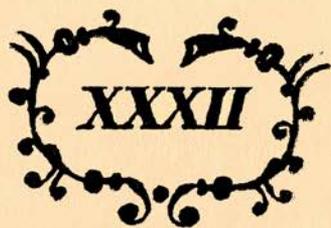


НОВЫЙ Журнал



НЬЮ-ИОРК

Новый Журнал

THE
NEW REVIEW



Основатель М. ЦЕТЛИН

Двенадцатый год издания

**Кн.
XXXII
1953**

Редактор М. М. КАРПОВИЧ

Секретарь редакции РОМАН ГУЛЬ

Обложка работы М. В. ДОБУЖИНСКОГО

О Г Л А В Л Е Н И Е :

<i>М. Алданов</i> — Повесть о смерти	5	
<i>Н. Берберова</i> — Большой город	68	
<i>Игорь Красуский</i> — Берлога	81	
<i>Нина Федорова</i> — Темная совесть	86	
<i>Вл. Корвин-Пиотровский</i> — Бродяга Глюк (поэма).....	117	
СТИХИ: — <i>Вл. Злобина, Д. Кленовского, С. Маковского,</i> <i>Ю. Одарченко, Н. Оцуца, К. Померанцева, Е. Таубер,</i> <i>И. Чиннова, Л. Яковлевой</i>		126
ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:		
<i>К. Мочульский</i> — Александр Добролюбов	137	
<i>Р. Менский</i> — Н. А. Клюев	149	
<i>В. Вайнтрауб</i> — Литература независимой Польши	158	
ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:		
<i>Протопресвитер Г. Шавельский</i> — Вел. Кн. Николай Николаевич	171	
<i>К. Кромиади</i> — Советские военнопленные в Германии в 1941 г.	192	
<i>Подполк. В. Ершов</i> — Репатриация	203	
ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:		
<i>Д. Далин</i> — Пути и зигзаги революции	224	
<i>Б. Гепнер</i> — Маркс и Россия	245	
<i>Г. Аронсон</i> — Советский антисемитизм после войны	260	
<i>Н. Бердяев</i> — Третий исход	271	
<i>М. Карпович</i> — Комментарии	281	
БИБЛИОГРАФИЯ:		
<i>Вяч. Иванов</i> — О дневниках Т. Л. Сухотиной. <i>М. Вишняк</i> — W. Reswick «I dreamt Revolution» и М. М. Новиков «От Москвы до Нью Йорка». <i>Б. Филиппов</i> — А. Ахматова «Избранные стихотворения». <i>М. Коряков</i> — К. Mehnert «Stalin versus Marx». <i>А. Борман</i> — Rouet de Journal «Monachisme et Monastères russes». <i>Роман Гуль</i> — Г. Иванов «Петербургские зимы» и Ю. Терапиано «Встречи». <i>В. К.</i> — Ch. W. Thayer «Hands across the Caviar». <i>Н. Б-ва</i> — Н. Ульянов «Атосса». <i>Д. Анин</i> — G. Akhminov «Puissance dans l'ombre». <i>Ю. Иваск</i> — Г. Струве «Русский европеец». <i>Д. Кленовский</i> — Г. Лахман «Пленные слова».	288	

Printed in U. S. A.
RAUSEN BROS.
417 Lafayette Street
New York 3, N. Y.



ПОВЕСТЬ О СМЕРТИ

ЧАСТЬ ПЯТАЯ*

Препотешное существо — порядочный человек: я всегда смеялся над каждым порядочным человеком, с которым знаком.

Чернышевский.

I

Революции кончаются по разному, но начинаются они почти всегда одинаково. Многие их хотят, — одни горячо, другие без большой горячности. Их считают неизбежными, их даже задолго предсказывают. Тем не менее приходят они всегда неожиданно, — застают врасплох и тех, кто их боялся, и тех, кто их желал. Никто никогда не бывает «готов» к революции, как никто никогда не бывает готов к войне. Обычно вначале проливается мало крови, — все революции в первые дни объявляются бескровными. Победившая сторона хоронит своих с необыкновенным почетом, хотя в большинстве случаев это жертвы случайные: погибшие люди чаще всего еще накануне в мыслях не имели, что будут сражаться за новый строй. Жертвы же побежденной стороны замалчиваются, несмотря на то, что обычно это лучшие люди в потерпевшем поражение лагере: не лучшие вначале прячутся, худшие перебегают к победителям.

И тотчас начинается радость, необыкновенная, чаще всего искренняя радость. Подделяется под нее меньшинство, по соображениям выгоды или безопасности. Не разделяют ее холодные люди, вообще неспособные заражаться чужим восторгом. Когда в воспоминаниях участников революции, не

См. Кн. 28, 29, 30 и 31-ю «Нов. Журнала».

Copyright 1953, by "New Review". All right reserved.

изменивших позднее своим убеждениям, попадают слова о «божественной лихорадке» ее первых недель или месяцев, не зачем смотреть на это, как на дурную словесность. Они говорят правду. Напротив, обычно (сознательно или бессознательно) лгут люди, которые «с первого дня предвидели» и «с самого начала говорили», — таких скоро появляется много. Очень часто, слишком часто, «заканчивающий» революцию третий строй оказывается неизмеримо хуже до-революционного. Тем не менее почти всегда что-то остается. В так называемом конечном счете, все революции более или менее неудачны, но совершенно неудачных революций не бывает: кое-что остается даже от тех, которые быстро топят в крови, как восстание декабристов или Парижская Коммуна. Если не остается ровно ничего, то сохраняется хоть легенда. К ней и ее героям не зачем присматриваться слишком близко. Суда же истории быть не может не только потому, что «судьи» — люди разных взглядов. Нельзя расценивать несоизмеримое: легенду, террор, победы, разорение, политические приобретения, число человеческих жертв. «Суд» современников, разумеется, еще пристрастнее «суда» историков, но, быть может, всё-таки ценнее, — по крайней мере для художника. Свидетельские показания важнее приговоров; они хоть определяют свидетеля.

Февральской революции 1848 года предшествовала кампания банкетов. Требования оппозиции были умеренны и разумны: главное сводилось к расширению избирательного права. Людовик-Филипп не соглашался по разным причинам: частью по своей старости и ограниченности, частью потому, что вообще не любил и боялся бедняков. Но особенно боялся того, что политические деятели, будто бы представляющие бедных людей, заставят его объявить войну России: народные ораторы требовали войны за освобождение Польши. Вдобавок, он думал, что вожди оппозиции перессорятся между собой на следующий же день после того, как он призовет их к власти. В этом он не ошибался.

Вожди крайних давно требовали, чтобы «народ вышел на улицу». Умеренные возражали: нет такого политического во-

проса, из за которого стоило бы проливать кровь. Спор был бесполезен именно по несоизмеримости понятий. Но с каждым днем становилось всё яснее, что политика умеренных по существу означает подчинение правительству. Ламартин объявил, что «выйдет на улицу хотя бы в сопровождении одной своей тени». Вышли на улицу студенты и рабочие. Где-то кто-то выстрелил, пролилась кровь. Пролито ее было не очень много, — люди, пришедшие на смену королю, скоро пролили ее гораздо больше. Однако Людовик-Филипп так всем надоел, что защитников у него оказалось очень немного.

Манифестациями и даже баррикадами в пору его царствования удивить было трудно. В первый день никто не придавал им значения: чернь опять погуляет с флагами и разойдется; загородит улицу камнями, полиция камни разберет; будут убитые и раненые, что ж делать, очень жаль. Но на второй день благоразумные люди старались не выходить на улицу, слова «чернь» не произносили и даже неуверенно говорили «революционный народ». А затем стало известно, что революция победила, что король отрекся от престола и бежал. Тотчас начали выходить из дому и благоразумные люди. На улицах прохожие, тоже не совсем уверенно, делали попытки обниматься, больше впрочем по традиции: все смутно помнили, что в такие исторические дни полагается, как это ни странно, обниматься с незнакомыми людьми; кроме того полагается в з в и в а т ь с я каким-то орлам, неизвестно откуда взявшимся.

Образовалось Временное правительство. Никто его не избирал и, разумеется, выбирать тогда было невозможно. «Революционный народ», т. е. случайно собравшаяся, весьма разнообразная во всех отношениях толпа, «избрал par acclamation» основную группу министров: Дюпона, Ламартина, Араго, Ледрю-Роллена, еще несколько человек. Всё это были известные люди, их имена в пору монархии примелькались в газетах, и громадное большинство «избирателей» знало преимущественно то, что все они «хорошие», в отличие от королевских министров. С трибуны или из залы выкрикивалось то одно, то другое имя, толпа орала «Да!», или «Да здравствует Ламартин!»,

или «Да здравствует Дюпон!» Правда, кое-кто орал и «Нет!», «Не надо!», «Не хотим!», но в общем взволнованно-радостном настроении первых часов революции кричавших «Да!» было гораздо больше, или кричали они громче, и названное лицо признавалось избранным.

Король принял революцию философски. Собственноручно своим каллиграфическим почерком, написал акт об отречении, надел черный сюртук, вышел из Тюилери и уехал за границу. Временное правительство послало ему на дорогу триста тысяч франков. От Людовика-Филиппа оно избавилось очень легко, но в нем самом полные взаимной любви отношения продолжались лишь несколько часов. Помимо того, что обиделись все известные люди, не избранные революционным народом (некоторых просто случайно забыли предложить), стало совершенно ясно, что выбранные государственные деятели, в большинстве баловни судьбы, никак не могут считаться представителями бедных, часто полуголодных, забитых жизнью людей. Они были наиболее левыми из умеренных; и на следующий же день им пришлось, с ласковыми улыбками и с затаенными проклятиями, привлечь в правительство наиболее правых из крайних, Луи Блана, Флокона, Марраста, Альбера: этих уж совсем никто не избирал, даже «rag acclamation». Таким образом правительство составилось из двух групп. Они ненавидели одна другую (как впрочем ненавидели друг друга и многие люди в пределах одной группы). Тем не менее с внешней стороны отношения между всеми членами Временного Правительства были в первое время корректными.

На сторону новой власти стали переходить маршалы и генералы, также и те, кто, как маршал Бюжо, считались главной опорой трона. Они тоже клялись в своей свободолюбии, признавали, что республика лучшая форма правления, с жаром приветствовали самую бескровную из всех революций, б р а т а л и с ь с революционным народом, предлагали Временному Правительству «свою шпагу» (а генерал Шангарнье еще и «свою привычку побеждать»).

Временное Правительство объявило амнистию, ввело все-

общее избирательное право, разослало комиссаров в провинцию, приняло своей властью много новых законов, в большинстве очень хороших и разумных. Популярность его в течение недели были безгранична. И, как всегда бывает, сразу один человек оказался самым популярным из всех. На эту роль, необходимую во всех революциях, обычно выдвигаются честные, красноречивые, романтического склада люди.

Во Франции таким человеком в феврале 1848 года оказался Ламартин. Каждый день все с восторгом цитировали его новую речь, его новое историческое слово, — он сказал, что выйдет на улицу хотя бы в сопровождении одной только своей тени! Он готов умереть за свободу!.. Правда, Ламартин на улицу не вышел и не умер, но это в первые дни ни малейшего значения не имело. Он был лишен политической проницательности и ровно ничего не предвидел из того, что произошло во Франции. Но почти ничего не предвидел и почти никто другой. Был он хороший и даровитый человек, работал как вол, делал что мог и умел; и хотя впоследствии отказался от многих своих убеждений, никак не заслуживал тех чувств, которые вызывал во Франции в последние двадцать лет своей жизни. Комическая черта у него в 1848 году была лишь одна: он был (впрочем, как многие правители) искренно убежден в том, что народ его обожает, — хотя никак нельзя было бы понять, за что собственно должен его обожать народ. На самом деле уже через месяц после переворота, Временное Правительство (“*Le Gouvernement Provisoire*”) в Париже стали называть Смехотворным правительством (“*Le Gouvernement Dérisoire*”), Ламартин получил кличку Ла Тартин, Ледрю-Роллена стали называть *Le Dur Coquin*, и т. д. А месяца через два был пущен слух, будто министры наживают на спекуляциях огромные деньги, будто они устраивают оргии, каждый день пьют шампанское и едят суффле из фазанов, — это было модное блюдо в дорогих ресторанах. Во всем этом не было ни слова правды.

Разумеется, в правительстве тотчас образовались и «оттенки». Одни члены каждой группы ненавидели другую груп-

пу больше, другие меньше. Кроме того, в первой основной группе были миролюбивые люди, желавшие быть в добрых отношениях со всеми и дружно делить столь внезапно свалившиеся народную любовь и восторг. Были и слабохарактерные люди, были люди с некоторой склонностью к предательству в характере, были честолюбцы, считавшие наиболее для себя выгодным центральное, то есть промежуточное и неопределенное, место в правительстве, чтобы участвовать во всех возможных правительственных комбинациях с надеждой рано или поздно одну из них возглавить: такой-то приемлем для всех, и для правых, и для левых. Эти втихомолку порицали своих вождей и давали понять крайним, что они собственно с ними, а состоят в умеренных больше по случайности. Такие же были люди и в левой группе. Кроме того и среди левых, и среди правых были люди, искренно расходившиеся между собой по взглядам.

На заседаниях Временного правительства никто молчать не хотел, — еще сочтут дураком. Поэтому, по каждому сколько-нибудь важному вопросу неизменно высказывались все министры. Говорить умели и особенно любили все. И так как почти у каждого был свой собственный «оттенок» и свои собственные интересы, то обычно высказывалось столько же суждений, сколько людей было на заседании. Всех затмевал своим красноречием Ламартин, но и некоторые другие министры от него отставали мало. Если даже какой-либо второстепенный министр заявлял, что присоединяется к мнению Ламартина или Луи Блана, то, чтобы его не признали недостаточно яркой личностью, он считал необходимым приводить дополнительные доводы, делать оговорки, рекомендовать ограничения, или же старался приблизить мнение своего вождя к мнению вождя другой партии. Это было очень важно, так как делало оратора «в сущности приемлемым для всех».

Вдобавок, все члены правительства были переутомлены от митингов, от совещаний, от бессонных ночей. У них не было никакой возможности много думать о положении стра-

ны, о том, что они сами говорили и предлагали. Не было, разумеется, и времени, чтобы изучать обсуждавшиеся вопросы по трудам ученых. Вероятно, за все время их пребывания у власти почти никто из них ни одной книги вообще не прочел. Более образованные пользовались приобретенными прежде познаниями, остальные ровно ничего не знали и высказывали суждения в зависимости от обстоятельств и от того, что писали газеты: за газетами следили все, — разумеется, прежде всего отыскивали в них свое имя. Во время заседаний к дворцу Ратуши подходили разные манифестанты, разные делегации требовали приема, к ним надо было выходить или принимать их. К большим толпам чаще всего выходил Ламартин, который мог прекрасно говорить и час, и и два, и три, решительно ничего не сказав. Как и другие министры, он более или менее правдоподобно выражал нежную любовь к революционному народу, хотя этот народ порядком надоед не только ему, но и крайним левым. Надо было выступать и на митингах. Если митинг бывал особенно бурным, то Ламартин обычно клялся умереть за свободу. А так как эти слова он умел выкрикивать совершенно диким, истерическим голосом, — как никогда не кричат люди в обычной жизни, как почти никогда не кричат и на сцене хорошие драматические артисты, — то Ламартин неизменно «побеждал толпу». Он этим очень гордился, а его поклонники говорили об этом с умилением. Обыкновенно решения принимались Временным правительством очень поздно, когда все чувствовали, что больше нет сил говорить и особенно слушать, что надо все-таки и поест, и отдохнуть. Остается лишь удивляться тому, как они в такой обстановке приняли триста семьдесят пять декретов, из которых очень многие были вполне разумны. Правда, в большинстве это были декреты бесспорные.

У Бальзака ум был устроен так, что он мог видеть только комические стороны революции, или, по крайней мере их видел лучше всего другого.

Он принял переворот вначале без большой злобы. Любопытство в нем было сильнее страха, и он в дни революции дома не сидел. 24-го февраля революционный народ (так теперь уже говорили все) ворвался в Тюилерийский дворец. Это было не трудно: дворца больше никто не охранял, и из прежних жильцов в нем никого не было, кроме многочисленных растерянных слуг. Во дворце был огромный погреб, скоро начался пьяный погром. Через час всё было разбито и раскрадено. Люди распарывали диваны и кресла, резали ковры, стреляли в статуи, били стенные зеркала, уносили платья, белье, духи, безделушки.

Вместе с толпой в Тюилери вошел и Бальзак. У него происходившее во дворце не вызвало такого холодного отвращения, как у Флобера, который побывал там одновременно с ним (они не были знакомы). Бальзак был настроен более благодушно. Быть может, чувствовал, что издеваться над нищими, пьяными, полуголодными людьми — дешево, что бы эти люди ни делали. Король перед бегством не успел позавтракать, в галлерее Дианы был накрыт стол на несколько десятков приборов. Он уже был занят толпой, и по тому, с какой жадностью ели эти люди, Бальзак, вероятно, видел, что насмехаться тут не над чем. В другом зале начался бал. Однако веселья не было. Многие уходили, как будто стараясь обратить всё в шутку: повеселились во дворце тирана и будет. Другие изображали не весельчаков, а фанатиков, и пели революционные песни. Он знал, что на следующий день в кругах революционеров будут уверять, что народ мстил тирану, уничтожал «эмблемы», но не воровал и не грабил, — так полагалось говорить испокон веков. Это его забавляло. Он и сам что-то взял на память во дворце: не то тетрадку, не то листок, с последним уроком королевского внука, графа Парижского.

В первые дни революции благодушие его не покидало. Он даже стал подумывать о политической карьере: отчего бы не выставить свою кандидатуру в Учредительное Собрание? Давно мечтал о парламенте. Прежде у него не было ценза.

Позднее собственность дала ему ценз — и теперь ему было почти досадно, что с введением всеобщего избирательного права ценз больше ни для чего не нужен. При встречах со знакомыми говорил им, что в сущности всегда был человеком левого центра, *un centre gauche*. Знакомые недоумевали, вспоминая его прежние мысли. Кое-кто мог бы ему кое-что напомнить. Но и он мог кое-кому кое-что напомнить. Бальзак знал всё обо всех. Знал, что некоторые из собратьев и даже из друзей, через Якова Толстого (парижского агента Третьего Отделения) получают субсидию от русского правительства или ее домогаются. Знал, что Александр Дюма в надежде получить русский орден поднес в дар Николаю I какую-то свою рукопись и в восторженном письме назвал его гением. Царь написал на представлении Уварова об ордене: «Довольно будет перстня с вензелем». Дюма очень рассердился и написал роман о декабристе Анненкове, которого, впрочем, сделал графом Ванинковым. Да и сам Ламартин еще не очень давно был роялистом и занимал видные должности при Карле X. Мало ли кто чем был и кто что когда-то говорил! Это также было дело житейское. В том настроении веселого цинизма, в котором, когда дело не касалось искусства, жил Бальзак (и в котором во все времена жило большинство политических деятелей), всё это не имело значения. Он и в самом деле выставил свою кандидатуру в Учредительное Собрание, но, несмотря на свою славу, получил не то пятнадцать, не то восемнадцать голосов. Через несколько месяцев после этого сокрушался: «Зачем Ламартин и Виктор Гюго так себя скомпрометировали? Ведь очень скоро Бурбоны будут снова на престоле». — «Да ведь вы и сами были кандидатом в Учредительное Собрание», — бестактно напомнил кто-то. — «Я другое дело: я не был избран», — благодушно ответил Бальзак.

В общем революция 1848 года, как ему казалось, вполне подтверждала основную мысль его творчества: человек глуп, слаб, нечестен, ничего от него ждать нельзя, и надо из этого исходить. Все люди руководятся личными, чаще всего денеж-

ными, интересами, для осуществления их играют комедию — человеческую комедию — и в большинстве играют плохо. Многие свой интерес, или свое тщеславие, или свою злобность выдают за «любовь к народу» и так к этому привыкли, что сами давно этого не замечают. Патриотизм тут большого значения не имеет, так как это чувство общее всем и уживающееся с любыми взглядами. Дантон был патриот, и Людовик-Филипп патриот, и Ламартин тоже патриот. А так как люди в массе более или менее стоят друг друга, то не имеет большого значения и государственный строй, — лишь бы была твердая власть, обеспечивающая с одной стороны порядок, а с другой свободу мысли.

Он — правда, без восторга — принял бы и республику, если бы она дала ему благоприятные условия для работы. Но Временное Правительство, занятое другими делами, интересовалось искусством так же мало, как Людовик-Филипп. Дела же после революции стали ухудшаться с жуткой быстротой. Рента и ценности падали на бирже с каждым днем. Богатые люди обеднели, ни на что больше денег не давали, оттого ли что с каждым днем всё сильнее ненавидели Ламартина, или же смутно чувствовали, что литература, вся вообще литература, приложила руку к тому, что произошло. Газеты перестали печатать романы, издатели не покупали книг или предлагали очень невыгодные условия. Театры, кроме одного, опустели. На представлении пьесы Виктора Гюго сбор составил девять франков. Тревога у Бальзака всё росла и понемногу перешла в панику: что делать? как жить? Вдобавок, революция 1848 года оказалась, как на зло, самой международной и общечеловеческой из революций. За переворотом в Париже последовало что-то вроде переворотов в других странах. На Марсовом Поле спешно воздвигалась статуя в честь братской Германии. В Польше ожидалось восстание, парижские революционеры теперь каждый день требовали объявления войны России. Несмотря на свои симпатии к полякам, Бальзак слышать не хотел о войне за их освобождение. С падением крепостного права Ганская была

бы, вероятно, разорена, — незачем освобождать крепостных, по крайней мере незачем теперь, им живется недурно, а там позднее будет видно.

Однако его взгляды определялись не только личными интересами. Если люди вообще всегда были ему противны, то революционеры теперь становились ему всё противнее с каждым днем. Бальзак гораздо лучше, чем они, знал тот мир, который они обличали и который он изображал в своих романах. Эти сановники, банкиры, лавочники, или, по крайней мере, многие из них, были безобразным, но привычным явлением: он среди них жил, да едва ли мог бы жить без них. Революционеры же были по моральным и умственным качествам несколько не лучше, но вдобавок ввели, как ему казалось, еще новые виды глупости и пошлости.

В магазинах теперь продавались революционные брошюры. «Путешествие в Икарию» Кабе, журнальчики «Друг Народа», «Республиканский Христос», курительные трубки с головами Ламартина и Ледрю-Роллена, фаянсовые тарелки с надписью «Долой тиранов», новые рисунки: Барбес в тюрьме стоял, прислонившись к стене, с устремленным вдаль задумчивым вдохновенным взглядом. Освобожденные революцией негры где-то в колониях сбрасывали с себя оковы и обнимались, а рядом комиссар республики, тоже с вдохновенным видом, держал в протянутой руке шляпу. В одном из новых клубов гражданин Дювивье объявил, что все люди старше тридцати лет должны умереть, так как слишком заражены предрассудками старого строя. В женском клубе Везувианок гражданин Борм, впрочем позднее оказавшийся полицейским агентом, подробно объяснял свое изобретение: две тысячи Амазонок свободы могут разгромить 50-тысячную контр-революционную армию. Гражданке Жорж Занд, только что признавшей себя коммунисткой, было предложено звание Женщины-Мессии. Кто-то проповедывал новое учение Ма-па, название которого образовывалось из первых слогов слов «мама» и «папа». Бальзак мог бы обратить внимание на то, что революция действительно освободила негров, что Барбеса в самом деле при старом строе

держали в тюрьме, что февральская революция и ее идеи не несут ответственности за всякий говорящийся в клубах вздор. Но он и не собирался быть справедливым и беспристрастным в политике, — какая уж тут справедливость и какое беспристрастие! Точно на зло, от него, как от всех, требовали исполнения разных гражданских повинностей и дежурств. По утрам его тревожили салютная пальба или барабанный бой, — эти люди не знали, что он работает по ночам! Он ругался ужасными словами. Жизнь стала просто невозможной!

Один театр был всегда переполнен до отказа. Бальзак побывал на спектакле. Во Французскую Комедию пускали бесплатно. Рашель сводила с ума парижан исполнением «Марсельезы». Она считалась величайшей артисткой в мире. Теперь ее называли то «Музой Свободы», то «Богиней Революции». Она медленно выходила из за кулис, в белой тунике, с трехцветным знаменем в руке. Зал тотчас замирал: «Древняя статуя!»... Марсельезу она не то пела, не то декламировала. О ней говорили, будто она усилием воли умеет останавливать биение своего сердца. Лицо у нее становилось смертельно бледным, глаза наливались кровью, а брови, по словам очевидца, «становились змеями». При куплете “*Amour sacré de la Patrie*” Рашель в экстазе падала на колени, обвиняла себя трехцветным знаменем, и делала это так, что ее позу, трагический жест длинных рук, даже складки туники и флага должен был бы, по общему отзыву, изваять Микель Анджело. Театр бесновался, рабочие делегации подносили цветы, слышалось только: «Изумительно!..» «Непостижимо!..» «Ничего равного никогда не было и не будет!..».

Как знаток, Бальзак отдавал должное: действительно превосходно. Тем не менее ему было и смешно. Он хорошо знал Рашель и относился к ней с ласково-благодарным восхищением. Она его недолюбливала, — Бальзак уверял, что читает Расина лучше, чем она. Его и прежде чуть-чуть забавляло, что эта, будто бы открытая в балагане Виктором Гюго, дочь немецкого еврея-разносчика, родившаяся где-то в Швейцарии, разговаривавшая у себя дома с родителями по еврей-

ски, была во всем мире признана воплощением французского духа. Но гораздо лучше было то, что теперь она стала и воплощением революции. Он знал ее интимную жизнь, знал, что одна ее связь была с сыном Наполеона I, а другая — с сыном Людовика-Филиппа; сто раз со смехом слушал и повторял ходивший по Парижу рассказ, будто принц Жуанвильский в театре послал ей за кулисы записку из трех слов: «Где? Когда? Сколько?», а она ответила шестью словами: «Сегодня ночью. У тебя. Ни сантима». Бальзак был совершенно уверен, что ни до каких революционных идей ей ни малейшего дела нет, — лишь бы в художественном отношении вышло необыкновенно, лишь бы были успех, слава и деньги. Он сам был таков и решительно ничего против этого не имел, но он и не изображал бога Революции; правда, она была актриса. Пятью годами позднее Рашель очаровал Николай I, и она его очаровала. Царь не пропускал в Петербурге ни одного ее спектакля, осыпал ее подарками и почестями, приглашал в Зимний Дворец на обеды и сажал рядом с собой. На одном из этих обедов Рашель так же вдохновенно, как в 1848 году «Марсельезу», тоже с мертвенно-бледным лицом, тоже с скульптурными жестами, спела в экстазе «Боже, царя храни», и великие князья рукоплескали с таким же восторгом, как за пять лет до того парижские революционеры. Эта сцена, вероятно, доставила бы удовольствие Бальзаку, но он до нее не дожил. Как верно и он сам, Рашель не знала, где кончается игра, где начинается жизнь — или даже смерть: умирая в Ле Канне, за несколько минут до кончины, она сказала: «Взлети на небо, дочь Израиля!».

Не слишком любил Бальзак и слова «Марсельезы». Какие такие «дети родины»? Какой «день славы»? Какие «свирепые солдаты»? Почему они «рычат»? Кто хочет «вырезать французских женщин»? Если в год появления гимна в этих словах была доля правды, то теперь не было ни малейшей: никто не собирался объявлять Франции войну; напротив, войной грозили французские революционеры. Эта сцена во Французской Комедии, «навсегда перешедшая в историю театра»,

должна была показаться ему символом лживости революции. О лживости реакционного строя он думал редко: в эту сторону не любил направлять свой мощный критический аппарат.

Его здоровье ухудшилось в Париже. С этим был связан запятанный насильно, редко поднимавшийся на поверхность строй мыслей, тот самый, к которому относились и гадалки, и предсказания, и Сведенборг. Но были и другие тяжелые мысли, — их поднимать приходилось. Он привез из Верховни рукопись написанного там романа “L’Initié”. В деревне с ним произошло что-то странное. Перед поездкой в Россию он написал роман «Бедные родственники», одно из самых мрачных своих произведений, — там все продавались за деньги, с правильностью, с непреложностью закона природы, там люди, казавшиеся читателям честными, ради денег совершали самые ужасные преступления. Надоело ли ему вечно возиться со злом? Опротивела ли ему весело-циничная жизнь его героев? Подействовала ли на него мирная сельская обстановка, в которой как будто, в отличие от Парижа, никто не вел свирепой борьбы за существование? Скорее всего сказалось влияние Ганской, — она любила добродетель. Как бы то ни было, в Верховне Бальзак написал очень добрый и кроткий роман. В “L’Initié” все были добродетельные люди, а многие и просто святые. Не совсем добродетелен был только один человек, польский еврей, доктор Мвисей Гальперсон. Он был скуп и жаден. Зато он был гениальный врач и своим гением спасал жизнь пациентам. В новом романе тоже не обходилось без преступлений, но они совершались по самым высоким побуждениям. Барон де Бурлак отправлял на эшафот или в каторжные работы невиновных людей по чувству долга. Барон де Мержи украл у Гальперсона четыре тысячи франков — чтобы спасти нежно любимого деда. И оба барона искупили свой грех раскаянием. В конце романа все всё прощали друг другу и друг друга любили. Баронесса де Шантери простила барону Бурлаку казнь своей дочери и осыпала его благодеяниями. Даже полудобродетельный Моисей Гальперсон

прости барону де Мержи его кражу и тоже как-то его облагодетельствовал.

Этот роман он прочел вслух в Верховне и вызвал там общий восторг. Однако, он знал, что Ганская так же мало смыслит в литературе, как громадное большинство людей. Понимали дело Гюго, Готье, Гейне, но им ему не очень хотелось показывать "L'Initié". Быть может, он сам иногда чувствовал, что в своих романах замазал слишком многое густой черной краской. Всё же делал это в художественном отношении хорошо. Делать обратное следовало бы не менее искусно. Добродетельные и святые люди несомненно существовали. Надо было только уметь их изображать. Бальзак не умел.

Он перечел роман, и тревожно-тоскливое чувство в нем усилилось. Себя обманывать не мог. Видел, что роман никуда не годится. Не было ни одного живого человека, всё было очень плохо, а хуже всего был ни для чего не нужный, неизвестно зачем выведенный таинственный и гениальный польско-еврейский врач (когда Бальзак писал не о французах, он сразу терял три четверти таланта). Никакого Моисея Гальперсона он никогда не встречал, такого доктора не было и не могло быть, всё было сочинено и плохо сочинено. Идеи в романе были, пожалуй, хороши, но сам он в роли защитника этих идей напоминал Рашель в роли Музы Свободы. Не то она была пародией на него, не то он пародией на нее.

Всё же он показал роман издателю. Тот прочел и не пришел в восторг: нашел несоответствие духу эпохи. Бальзак и сам понимал, что крайне консервативный роман с добродетельными баронами имеет мало шансов на успех в 1848 году. Однако дело было даже не в успехе. Как ни нужны ему были деньги, они ничего не значили по сравнению с искусством. Ему пришла в голову мысль, что, быть может, он, при своем каторжном труде, исписался. Тогда всё другое теряло значение. Тогда теряла смысл и жизнь. Тогда оставалось лишь то, что он называл энтомологическим существованием.

Он поспешно написал драму «Мачеха». Театр ее принял, критика очень хвалила, но сам он чувствовал, что и пьеса

(опять злая) не хороша. Вдобавок, на первом представлении уже были незанятые места, на втором театр был почти пуст, а после шести спектаклей антрепренер закрыл театр и увез труппу в Англию. И публика видит: исписался!

От опротивевшей ему современной жизни можно было уйти в прошлое: в исторический роман. Он решил написать эпопею о Наполеоновском походе на Москву. Для этого необходимо было повидать поля сражений, расспросить тех русских участников войны, которые еще были живы. Для романа необходимы были также спокойствие и уединение деревни. Бальзак и без того принял решение: надо вернуться в Верховню. Ганская звала. Он понемногу успокоился. Опять стал думать о политической карьере, но о другой: отчего бы в самом деле не принять русское подданство и не стать ближайшим советником императора Николая? Думал не очень серьезно, — поиграл в мыслях и этой ролью, как незадолго до того поиграл ролью графа Мирабо в Национальном собрании. Вдобавок, всё больше приходил к мысли, что будущее принадлежит России, где никакой революции нет и не будет. Обедая у Ротшильдов с Тьером, Бальзак назвал Россию наследницей римской империи. — «Вы правы. Россия со временем съест Германию», — сказал Тьер.

Однако, теперь, после революции, получить русскую визу было французу еще гораздо труднее, чем прежде. У Бальзака были добрые отношения с русским министром народного просвещения. Граф Уваров сам что-то писал, по французски, по немецки: о Наполеоне, о греческих трагиках, о Венеции. Одну из своих работ он даже послал Гёте, с просьбой извинить несовершенство его немецкого языка. (Гёте ответил ему: «Пользуйтесь с миром тем огромным преимуществом, которое вам дает незнание немецкой грамматики: я сам тридцать лет работаю над тем, как бы ее забыть»). Бальзак еще из Верховни писал Уварову — как писатель писателю. Теперь отправил ему письмо с просьбой хлопотать о визе. Польщенный Уваров исполнил его желание. Одновременно Бальзак написал и шефу жандармов Алексею Орлову.

Разрешение было дано, хотя и без восторга. Орлов представил всеподданнейший доклад: «Принимая во внимание неукоризненное поведение де Бальзака во время прежнего пребывания его в России, а также и ходатайство о нем графа Уварова, я полагаю бы, с моей стороны, возможным удовлетворить настоящую просьбу де Бальзака о дозволении ему прибыть в Россию». Николай I написал на бумаге: «Да, но с строгим надзором».

Надзор действительно был установлен. Несколько позднее киевский гражданский губернатор Фундуклей сообщил одесскому военному губернатору: «Государь Император всемилостивейше соизволил французскому литератору Бальзаку, бывшему здесь в прошлом году, приехать обратно в Россию, но с строгим над ним надзором. Бальзак прибыл в Сквирский уезд и получил от меня вид на пребывание в Киевской губернии и проезд в город Одессу. Имею честь просить ваше превосходительство, если Бальзак прибудет в Одессу, приказать иметь за ним строгий надзор, о последствиях которого не оставьте уведомить меня».

Надзор был несомненно излишен: Бальзак никак не собирался устраивать революцию в России. Но, быть может, скоро догадался, что едва ли станет ближайшим советником царя. Впрочем, его политические виды всё менялись. Он предполагал, что во Франции вернется на престол старшая линия Бурбонов и что его назначат французским послом, — колебался, что выбрать: Петербург или Лондон? Повидимому, этот человек громадного ума совершенно растерялся от революции. Он и не написал больше ничего значительного в остававшиеся ему два года жизни. Некоторые же его письма просто неловко читать. В благодарственном письме к Уварову он говорил: «Я намерен описать наше великое поражение 1812 года... Я заплачу когда-нибудь свой долг русскому гостеприимству, описав стойкое мужество ваших войск, противостоявшее бешенному натиску французов... Что же касается милости, оказанной мне императором, то мне кажется, что по отношении к нашим государям, как и к нашим отцам,

мы невольно всегда оказываемся неблагодарными: они дают нам жизнь, а мы никогда не можем отплатить им тем же».

Так как своего государя у него тогда уже не было, да и прежнего, Людовика-Филиппа, он недолюбливал, то, очевидно, слова об отцах, дающих нам жизнь относились к Николаю I. Впрочем, вероятно, Бальзак такие письма писал чисто механически: не всё ли равно? Уж это по сравнению с искусством не имело ни малейшего значения.

В Россию он уехал не сразу. Умер престарелый Шатобриан, освободилось место во Французской Академии. Бальзак выставил свою кандидатуру. Как знаменитейший романист своего времени, он имел на избрание все права. Избран был какой-то герцог, носивший историческую фамилию, но в литературе известный преимущественно плагиатом, — впрочем совершенно невольным: плагиат совершил секретарь, писавший для герцога исторический труд. Этот герцог оказался преемником Шатобриана и победителем Бальзака. Тут уж революция и козни левых были ни при чем, — был собственно хороший случай подумать и о своих единомышленниках. Бальзак этим случаем не воспользовался, хотя видимо был в бешенстве.

Июньского восстания он не видел, — отдыхал в провинции. В сентябре, достав взаймы пять тысяч франков, выехал в Россию. Романа о войне 1812 года он, однако, не написал. Написал вместо Бальзака другой.

II

Par un chemin plus court descendre chez les
morts*.

Racine.

Дилижанс был новенький, с мягкими кожаными подушками. Вначале разговор не клеился, но через час итальянский кондуктор протрубил в рожок и на полуитальянском-полуфранцузском языке прокричал, что эта долина славится на

* «Спуститься к мертвым более коротким путем».

весь мир своей красотой. Тотчас начал восхищаться вслух природой пожилой благодушный венец, и понемногу все стали разговаривать и знакомиться. Только Лейден молчал.

Позднее он думал или, по крайней мере, говорил себе, что в нем произошло разстройство, что он в те дни жил, якобы, в трех плоскостях. В одной плоскости был человек, справлявшийся в почтовой конторе о часе отхода дилижанса, укладывавший вещи, пересчитывавший деньги, соображавший, когда он может приехать в Киев. Этот человек в тот самый день, если не ел, то пил, условился с хозяином гостиницы о доставке вещей в почтовую контору, заплатил носильщику, оставил свой киевский адрес. Другой человек еще был каким-то подобием Тициановского Неизвестного, — именно только подобием: с этой «плоскостью» Лейден лишь соприкоснулся, выпив много, очень много вина, — скользнула мысль, что Неизвестный, быть может, отравил несколько жен и уж во всяком случае к естественной смерти жены отнесся бы совершенно равнодушно; но эта мысль у него именно лишь скользнула, — хотя самое воспоминание о ней, о том, что она могла скользнуть, было для Константина Платоновича мучительным до конца его дней. И, наконец, была еще какая-то третья плоскость, где не было ни Ба-Шара, ни Би-Шара, где как будто был просто сходящий с ума человек. Он заходил во Флоренции в магазин оружия, — учтивый приказчик, со вздохом, с неодобрительным отзывом о властях, сказал, что, в виду тревожных событий, продажа пистолетов временно запрещена. — «В виду тревожных событий», пробормотал Лейден и зашел еще в аптеку, стараясь вспомнить названия ядов. Аптекарь угрюмо ответил, что такие вещества не продаются без предписания врача, и затем спросил, не хочет ли он выпить воды. Третий человек, несмотря на душевное расстройство, подумал, что есть нечто глупое, смешное, унижительное в тщетных поисках способа самоубийства, что настоящий просто поднялся бы на крышу вон того палаццо и бросился бы вниз головой; подумал также, что верно не покончил бы с собой, еслиб ему и продали пистолет или яд,

что себя обманывать не только гадко, но и глупо, — Би-Шары хоть тем выгодно отличаются от Ба-Шаров, что себя не обманывают. «Зачем?.. Что я сделал уж такого постыдного?.. Всё условно, всё условно»... — бессмысленно повторял он и через час, по дороге на почтовую станцию. Пошатываясь, дошел с чемоданчиком в руке, поднялся в дилижанс и повалился на мягкую скамейку, с облегчением подумав, что делать больше ничего не нужно и нельзя до самой Вены.

Венец всех развлекал. Вначале итальянцы ещё немного его чуждались: он здесь представлял враждебную расу завоевателей. Однако он нисколько себя завоевателем не чувствовал и скоро покори́л всех пассажиров своим благодушием, весельем и необыкновенной бодростью. Видимо он не представлял себе, что может быть что бы то ни было тягостное в жизни, или совершенно этому не верил. Еще часа через два кондуктор, опять протрубив, радостно сообщил, что они подъезжают к гостинице Белого Коня, известной своим прекрасным местоположением; там можно будет получить отличный обед. Это увеличило общее оживление. На остановке венец легко соскочил, несмотря на свое брюшко, галантно помог сойти дамам, — протягивал руку каждой и говорил: «So!.. Brav!.. Schön!..» Затем быстро проделал легкую гимнастику, радостно, как со старым знакомым, поздоровался с хозяином гостиницы, расспросил его об обеде, много ел, много пил, всё время болтал и всем восхищался. Чрезвычайно хвалил Италию, но был в восторге от того, что возвращается в Вену.

«Нельзя же не есть несколько дней. Так я не доеду», — сказал себе Лейден. И лишь только он проглотил первую ложку супа, почувствовал, что голоден, как зверь. Это показалось ему позором. Константин Платонович съел еще два блюда, к сыру же и сладкому не прикоснулся. «Мелкая комедия!» — думал он, — «бифштекс можно, а пирожное нельзя! Комедия будет и дальше: черный костюм, черная повязка, это принято и необходимо. И непременно всё это нужно соблюдать год: 365 дней, а в високосный год 366, ни одним днем меньше, ни одним больше... А приеду в Киев, Лиля, Тя-

тенька, другие будут старательно убеждать меня есть и пить, для поддержания сил. Этим ведь всего легче выражать участие, доказывать заботливость, они даже будут делать вид, будто их горе похоже на мое!» Лицо у него дергалось, — он и не замечал, что это понемногу становится у него привычкой, как несколько лет назад стало привычкой горбиться. Константин Платонович подвинул было к себе еще не убранные лакеем блинчики с вареньем и отдернул руку: вспомнил, что именно это сладкое особенно любила Ольга Ивановна. «И она больше никогда не будет есть, больше никогда не будет путешествовать, останавливаться в гостиницах»... Он достал из кармана письмо Тятеньки и перечел его верно в десятый раз. Тятенька старался все смягчить: «Скончалась быстро и без мучений». Но Лейден знал, как умирают от холеры. Самые ужасные, отвратительные подробности не выходили у него из головы.

Он и впоследствии не мог разобраться в своем душевном состоянии тех дней. Никакой надобности в этом не было и позднее, но он нередко старался всё вспомнить. Называл себе (с другими никогда не говорил) свое состояние полной отчужденностью от мира. В самом деле было и это. Но порою ему казалось, что он именно тогда все в мире стал видеть по настоящему, что несчастье никак не произвело на него примиряющего действия, которое оно будто бы всегда оказывает на людей. «Напротив, оно скорее меня ожесточило. А я и без того становился всё раздраженнее. Вот как скорпионы становятся ядовитее с годами... Мне казалось, будто вся моя предшествовавшая жизнь, все ея радости и особенно все огорчения были совершенными пустяками по сравнению с этим, что я никогда к пустякам больше не вернусь. А между тем я и тогда замечал пустяки и они даже раздражали меня еще больше, чем прежде».

Во время завтрака хозяин предлагал туристам плоские дорожные бутылочки с коньяком, уверяя, что хорошего коньяку они больше в дороге нигде до самой Вены не достанут. «Все во всем врут, вот и он», — думал Лейден. Венец сказал,

что в таком случае надо захватить с собой побольше, и долго шутил с хозяином, расплачиваясь. «И у тебя умрет от холеры жена, или сам заболеешь, перестанешь отпускать в и ц ы», — почти с ненавистью думал Константин Платонович (впрочем он и сам купил коньяк). В зал из кухни вошла странно одетая, молодая, хорошенькая девушка, верно дочь хозяина, остановилась в середине комнаты, глядя на гостей с улыбкой, и, когда установилась тишина, запела «Санта Лучиа». Эту песню часто пела Ольга Ивановна тоже по итальянски, хотя итальянского языка не знала. Константин Платонович вдруг вспомнил, что уходил от ее пения в свою комнату. У него выступили слезы. Когда молодая итальянка, всё так же улыбаясь, подошла к нему, он положил на тарелочку золотой. Она взглянула на него изумленно, вспыхнула от радости и спросила, не прикажет ли синьор спеть что-либо еще. «Нет, не надо... Вы мне доставили большую радость», — сказал он и почувствовал жалость и нежность к этому молодому жизнерадостному существу, которое тоже умрет, как умерла Оля, как умрет он сам.

Дилижанс отходил через час. Пассажиры пошли погулять: хозяин хвалил какой-то Ausflug с замечательным видом. Лейден сидел в пустом дилижансе, уставившись глазами в одну точку окна. «Я почти всю жизнь прожил в ожидании каких-то страшных, непоправимых несчастий... Правда, я имел в виду преимущественно то, что могло случиться со мной самим. Однако не только это. Да ведь и теперь случилось тоже со мною... Уж если я и прежде думал, что никогда в жизни счастлив не был, что мне сказать теперь! Разве я лгал и тогда? Я просто не понимал, как могут существовать, если не жизнерадостные люди (тут ведь просто физиология), то философы с оптимистическим миропониманием, всё равно религиозным или нет. Быть может, загробная жизнь есть, но разве она мне заменит эту жизнь, этот воздух, эту весну, эту несчастную, проклятую и невообразимо прекрасную землю? (Теперь он на эту землю и не смотрел, хотя она тут была и на самом деле на

редкость прекрасна). «Быть может, я там встречу с Олей, но разве это будет то же самое, та Оля? Что же мне осталось? Ничего и всё: оттяжка смерти... И я ведь знал, что мне ни пистолета, ни яда не продадут. Был как в бреду, но знал, каким-то уголком мозга знал. И теперь ищу себе теоретических оправданий. Кто хочет покончить с собой, тот кончает без всяких теорий... Да, мне известно, что об этом за тысячелетия было сказано. Я изучил литературу в вопросах, как изучил ее о платанах!.. Греки и римляне одобряли такую смерть, по крайней мере в некоторых случаях. В Средние же века тела самоубийц вешали за ноги и подвергали глумлению. За что? Почему? Потому, что людям надо было считать это преступлением в их собственных интересах. Шекспир в знаменитейшем из монологов в сущности защищал самоубийство, но и он придумал для Гамлета — и для себя — лазейку. «Быть может, видеть сны?» Возненавидел жизнь, однако опасался каких-то снов! Видел ее злую правду — и опасался чепухи видений. Руссо называл самоубийство постыдной кражей у человеческого рода... Мне, например, жить ни к чему и незачем, но я не смею украсть у человеческого рода такое сокровище, как я. Сокровище уже потому, что я теперь могу философствовать, испрашивать разрешения у Руссо и Шекспира... Что-ж, действительно я теперь и не мог бы покончить с собой: это значило бы бросить Лилю, даже не повидав ее. Я обязан переделать завещание, всё оставить ей, найти опекуна. Тятеньку, конечно? Но он стар, ему жить недолго. Я обязан побывать на могиле Оли... Да, вот и я нашел себе лазейку. И хорошо, что об этих моих чувствах никто не узнает, как и об аптеке, это было бы похоже на глупую шутку. Люди сказали бы: «Либо кончай с собой, либо оставь нас в покое»...

Опять, как по дороге из Киева в Константинополь, он стал думать, как узнала бы Лиля об его смерти, как установили бы его личность, как и кому сообщили бы. «Становится как будто дорожной привычкой!..» Думал о Тициановом Неизвестном, и в путаных противоречивых мыслях тот у него

смешивался со страшным дервишем, замаливавшим пляской грехи. «У него грехи были не такие! А мой не в том, что я ей «изменил», это и изменой назвать нельзя. Но я любил ее недостаточно, недолюбил!.. Кроме нее, не любил никого... Что же теперь остается, что остается? Ничего. Ровно ничего! Доживать свой век в Киеве. И может быть, «друзья» — я их терпеть не могу, а они этого не знают, — друзья еще будут говорить, что мне следовало бы жениться вторым браком. И сам Тятенька будет «незаметно» сводить меня с какой-нибудь Софьей Никандровной, а «друзьям» будет объяснять, что я ведь еще не старик, что мне нельзя жить без жены, — он скажет: «без дамочки» — и что сама Олечка его на это благословила бы, — «а то Костя совсем сошел бы с ума»... Да и вправду, если бы его письмо пришло днем раньше, то та, проклятая, отложила бы свой отъезд в Париж, и об с у ж д а л а бы со мной известие и говорила бы: «Что-ж, это ничаво», и старалась бы меня утешить, а про себя думала бы, что можно было бы меня на себе женить, да еще стоит ли? А я думал бы, что надо ее задушить своими руками, но не задушил бы. И это только н а с т о я щ и х Би-Шаров, графов Герардо делла Герардеска т а к любят Монны Бианкины. Но Олечка и была донна Бианкина, и сон был «вещий», и я должен встретиться, н е л ь з я не встретиться с ней снова! Н е т рая, и очень, очень скоро сгорит, навсегда сгорит прут, и по своему, по неподвижному, метнутся кости в руках Случая, и вдруг послышатся бегущие шаги... Да, мир вертится между любовью, скукой и сумасшествием»...

Пассажиры собрались, хозяин, лакеи, певица вышли их проводить. Веселый кондуктор вскочил на козлы, что-то радостно прокричал, дилижанс тронулся. Венец угощал соседей коньяком из стаканчика, всякий раз тщательно вытирая его салфеточкой. Лейден пил прямо из горлышка своей бутылочки. Соседи деликатно старались на него не смотреть. Быть может, венец признал его сумасшедшим, — если вообще, по своей жизнерадостности, верил в существование сумасшедших. Люди с м е л и разговаривать, и это действовало на Кон-

стантина Платоновича так, как верно действует на погруженного в музыку пианиста кашлянье и чиханье в зале.

На ночь они остановились в другой гостинице, которая очень походила на первую, да и называлась тоже как-то так, под якобы поэтическую старину. Гостиница была переполнена и пассажиров размещали по два, по три человека в комнате. Лейден за двойную плату добился того, что его поместили на диване в крошечной гостиной, — быть может, и другие пассажиры не очень желали остаться наедине с этим странным человеком. Он лег на диван не раздеваясь, только снял сапоги, расстегнул воротник и тотчас, не погасив длинной восковой свечи, задремал. Снилось ему что-то бессвязное, вздорное, даже незапоминаемое. Повторялось непонятное слово «румалетие». За этой степенью сна наступила вторая степень, начальная степень пробуждения, — еще казалось, что снившееся слово имеет какой-то смысл, надо только понять в чем дело. Затем он проснулся совершенно: «Какое «румалетие»?»

Лейден почувствовал, что больше не заснет. Вспомнил о коньяке, встал, достал бутылочку и допил всё до дна. В несессере лежала книга, недавно купленная им во Флоренции, — неизвестного философа Артура Шопенгауера. Он купил эту книгу, вместе с разными хрониками и новеллами, потому, что она его заинтересовала странным названием «Мир как воля и представление», а в оглавлении была глава «О смерти»: «Ueber den Tod», — всё касающееся смерти, он всегда приобретал и читал. В немецком тексте ему бросилась в глаза отпечатанная другим шрифтом цитата на французском языке: «Je ne sais pas ce que c'est que la vie éternelle, mais celle-ci est une mauvaise plaisanterie»*. «Да, да, вот это так!» — подумал он и стал читать.

Никогда, ни одна книга на него не производила такого впечатления. «Где же до него Платону? По сравнению с

* «Не знаю, что такое вечная жизнь, но эта — дурная шутка».

этим, «Федон» детская болтовня! Кто это? Как я никогда о нем не слышал?» Иногда он откладывал книгу, опять думал о том, как умирала Оля, плакал и, с облегчением от слез, возвращался к книге: “Wie?” wird man sagen, “das Beharren des blossen Staubes, der rohen Materie, sollte als eine Fortdauer unsers Wesens angesehen werden?” — Oho! Kennt ihr denn diesen Staub? Wisst ihr, was er ist und was er vermag? Lernt ihn kennen, ehe ihr ihn verachtet. Diese Materie, die jetzt als Staub und Asche daliegt, wird bald, im Wasser aufgelöst, als Krystall ausschliessen, wird als Metall glänzen, wird dann elektrische Funken sprühen, wird mittelst ihrer galvanischen Spannung eine Kraft äussern, welche die fastesten Verbindungen zersetzend, Erden zu Metallen reduziert; ja, sie wird von selbst sich zu Pflanze und Thier gestalten und aus ihrem geheimnissvollen Schoss jenes Leben entwickeln, von dessen Verlust ihr in eurer Beschränktheit so ängstlich besorgt seid. Ist nun, als eine solche Materie fortzudauern, so ganz und gar nichts?”

«Нет, для меня такое е е бессмертие именно ganz und gar nichts! Правда, он видит в этом только сравнение, тень». Лейден понимал, что и в чисто-литературном отношении эта почти непереводаемая страница необыкновенно хороша. «Но что мне в кристаллах и гальванических токах! Этот человек отрешивается от материализма, а ведь тут всё-таки материалистический взгляд, он и сам прекрасно это понимает. Очевидно, он ничего, ни одного довода, не хочет оставить неиспользованным. Однако, если в нас вечно низшее, грубое, материя, то как можно утверждать, что исчезнет, бесследно исчезнет, в ы с ш е е! В основе его рассуждения лежит то, что каждый человек — печальная ошибка природы, «ein specieller Irrtum, Fehltriff, etwas das besser nicht wäre». Я теперь с этим согласен, но какое же тут утешение, что бы он ни говорил? Так, так, по общему мнению, со смертью исчезаю я, а мир остается; в действительности же мир исчезает, а остается мое внутреннее зерно. Где же гарантия? Спинозовское «Sentimus nos aeternos esse»? А вот что же мне делать, если

у меня этого чувства нет? Бессмертие», — сказал себе Константин Платонович, — «может быть только у каждого свое: у меня одно, у этого венца другое, у той дамы третье. Надо найти какой-то свой выход. Этот философ мне его дать не может. Он гениальный человек, но через его мысли надо пройти, чтобы прийти к своим. Что-ж, я пережил свою мать, пережил друзей молодости, я даже почти никогда больше о них не думаю. Правда, что они все вместе в сравнении с женой! И как же я могу теперь создавать для себя какую-то новую жизнь, прикидываясь, будто делаю это для Лили?».

В последний раз веселый кондуктор протрубил перед конечной остановкой. Он вручил подорожную пожилому австрийскому чиновнику с черно-желтым шнурком и с медалью, шутил, стаскивал вещи, болтал с носильщиками и извозчиками. Пассажиры проверяли чемоданы, потягивались, прощались, выражали надежду снова когда-нибудь встретиться. Кондуктор получил с них на чай и на прощанье посоветовал поменьше гулять по главным улицам.

— Почему? Почему? — спрашивали его.

Кондуктор приложил палец ко рту.

— Революция! — весело сказал он. — Говорят, сегодня уберут старого князя!

— Меттерниха? Да быть не может.

— Blödsinn! Was fällt ihm ein! — сказал венец, изумленно подняв брови. — У нас в Вене никогда ничего не происходит. Какая там революция!

— Вероятно, вздор! Князь здесь диктатор тридцать с лишним лет, он никогда не уйдет, — сказал пассажир-швейцарец. Кондуктор лукаво усмехнулся и убежал.

— «Какая еще революция?» — спросил себя Лейден. Он и забыл о революции во Франции. В самом деле около станции дилижансов происходило что-то необычное. Пробегавший по улице человек вдруг по французски запел «Марсельезу»; впрочем тотчас осекся, так как на него все изумленно глядели. Константин Платонович вошел в контору. Чиновник с

медалью на его вопрос о билете в Львов угрюмо ответил, что дилижанс уходит в Лемберг через четыре часа и что мест сколько угодно.

— Никто не хочет ехать, сегодня пять человек вернули билеты.. Если его светлость уйдет, то вероятно будут грабить на дорогах.

Лейден купил билет, сдал чемоданы на хранение и пошел туда, куда шли все. Люди шли в направлении на Балльплати степенно с мирным, благодушным видом. На площади перед каким-то дворцом собралась большая толпа, не сплошная, а странно разбившаяся на участки, точно тут происходило несколько самостоятельных манифестаций. У ворот стояло человек десять солдат, но и у них вид был миролюбивый; они ни в кого стрелять как будто не собирались. Почти у ворот дворца молодой человек, вероятно студент, быть может кандидат в Ламартины или Дантоны, взобрался на плечи товарищей и, работая для равновесия руками, как акробат на канате, говорил речь по немецки: — «Да здравствует император!.. Да здравствует императорский дом!.. Долой князя Меттерниха!.. Надо понять дух времени!» — кричал он. Товарищи его поддерживали и тоже что-то весело кричали. На другом участке площади чех говорил по чешски, на третьем кто-то говорил еще на каком-то языке. «Вавилонская башня или просто водевиль?» — подумал устало Лейден, входя в кофейню. Там тоже все кричали и спорили.

Все столики были заняты, люди пили пиво, шоколад, кофе со сливками, не очень засиживались и снова выходили на площадь восстания. Их места занимали другие. Когда Константин Платонович выходил, солдаты вытянулись и отдали честь. Из дворца вышел раззолоченный старичек. По портретам Лейден узнал князя Меттерниха. Ораторы замолчали, толпа расступилась. Князь, неодобрительно и укоризненно поглядывая на манифестантов, прошел на другую сторону площади. Тотчас пронесся слух, что император вызвал канцлера для принятия его отставки. Толпа разразилась рукоплесканиями, веселье еще увеличилось. «Вот он, диктатор!» — поду-

мал Константин Платонович, представляя себе дряхлое, слабое, безобразное тело этого еле-живого, вероятно больного десятками болезней старичка, и других таких же стариков и старух, правивших миром, плохо им правивших. «И так же хороши те, кто идут им на смену, и так же хорош я сам»...

Он вернулся в почтовую контору и сел у стены. Приходившие люди радостно рассказывали, что всё кончено: его светлость пал и дай Бог, чтобы ему удалось спастись живым. Он, говорят, сегодня же убежит, а то его могут разорвать на части. Где-то уже пролилась кровь: два человека ранены. Но революция сделана с согласия императорской семьи.

«Как им не стыдно заниматься пустяками?» — думал Лейден. «Что все эти революции и конституции по сравнению со смертью! Раззолоченный старичек скоро умрет, да и вам всем жить недолго. Ну, будет у вас конституция, пока ее не отнимет какой-нибудь другой раззолоченный человек, такой же маленький, слабенький, ничтожный, как этот. А дальше что? Быть может, и Неизвестный принимал участие в таких же или похожих делах, всё равно с какой стороны. Он наверное старался нагреть при этом свои окровавленные руки или заколоть какого-нибудь личного врага. Вы же верно думаете: «Надо создать хорошие учреждения, а тогда и люди станут лучше». Это ложь. Уж скорее верно обратное, да и то нет: никогда люди лучше не станут. В каждом из вас, как и во мне, сидит воющий или пляшущий дервиш, только у вас центр, бессмертие, Бога отняло ваше так называемое просвещение. Нет у вас того, вокруг чего стоило бы плясать. Ну, что-ж, войте и пляшите, мне всё равно. И я кое-как выл и плясал, хоть по иному: «строил культурную жизнь», сажал платаны, этакий идиот!.. Да и так ли уж вам нужна конституция? Хочется, конечно, но если б вам, каждому потихоньку наедине, предложить десять тысяч флоринов, чтобы конституцию, скажем, отложили и чтобы про вас никто, решительно никто, не узнал, то очень ли многие из вас за нее голосовали бы? А другие, «идеалисты»? Они думают, что уж при сво-

бодном-то строе настоящий идеалист может стать министром, канцлером, президентом. Между тем при каком угодно строе для получения таких должностей надо пройти через столько честных, т. е. не ведущих в тюрьму, интриг, надо так честно себя подталкивать, так честно подсиживать соперников, что у искреннего человека и следов идеализма не останется. Нет, Бог с вами... Что ж мне делать? Чем заполнить жизнь? Вернусь домой и, как почти все старики, буду придумывать что-либо такое для придания какого-нибудь смысла своей прошлой жизни. И верно ничего не найду. А там, быть может, сам заболее холерой, которой ваша культура не предусмотрела. Вместо моих — и ваших — «платанов» будут грязь, корчи, муки»...

Дилижанс подъехал только часа через три. Приходили еще пассажиры, напуганные грозными событиями. У всех были кульки с бутербродами, бутылки, картонные коробки с пирожными. Мрачный чиновник с медалью проверил билеты и очень строго сказал даме с пуделем, что собаки допускаются только на империал. Вид его ясно показывал, что, несмотря на революцию и на отставку его светлости, законы остаются в силе и он не позволит их нарушать. Дама протестовала, затем взволнованно объявила, что в таком случае и она поднимется наверх. Это законами разрешалось. Мужчины помогли ей подняться по лесенке и выражали возмущение действиями бюрократии.

Дилижанс выехал из революционного города.

III

*Connaître, découvrir, communiquer, telle est la
désinée d'un savant*.* *Arago.*

Заседание Временного правительства закончилось к вечеру. Оно было особенно тягостным. Накануне произошли беспорядки во Дворце Инвалидов. Жившие там старые сол-

* «Познавать, открывать, сообщать — такова судьба ученого».

даты жаловались на скудный корм, на дурное содержание. После установления республики все устраивали манифестации; хотели устроить манифестацию и они. Этому, по соображениям военной дисциплины, воспротивился комендант дворца, престарелый генерал Пети, заслуженный Наполеоновский воин, тот самый, которого в день отречения император обнял в Фонтенебло, прощаясь в его лице со всей армией. К общему изумлению, оказалось, что инвалиды ненавидят своего начальника, пользовавшегося в стране огромной популярностью. Когда генерал вырвал у собравшихся манифестантов знамя, инвалиды схватили его и насильно отвезли в штаб Национальной гвардии. Крови пролито не было, но скандал вышел очень большой.

Было ясно, что если солдаты совершают насилие над генералом, то армии приходит конец. Все министры, даже самые левые, понимали, что следовало бы, во избежание развала, подвергнуть дисциплинарным карам виновников или, по крайней мере, зачинщиков дела. Однако столь же ясно было и то, что не очень годится в революционное время возбуждать солдат против новой власти. На сторону инвалидов могли перейти и Национальная гвардия, и парижский гарнизон. Временное правительство с первых дней старалось задобрить армию, министры осыпали ее похвалами, иначе как «доблестной» ее не называли; ругали (да и то не очень сильно) лишь наиболее реакционных маршалов старого строя. Предполагалось, что вся армия всегда была душой с революционным народом. Но в душе члены Временного правительства в этом не были уверены: может была, а может и не была, — при короле она этого особенно не проявляла. Между тем войска теперь были единственной опорой порядка. Правда, старые полицейские заявляли, что они тоже всегда всей душой любили революционный народ. Но это была любовь без взаимности: революционный народ, да и народ вообще, как во всем мире, полицию терпеть не мог.

Споры в коалиционном правительстве были ожесточенные. Высказались все министры. Правые больше налегали на

возможность развала армии и на необходимость дисциплинарных кар. Левые преимущественно подчеркивали, что инвалидов кормили очень плохо и что нельзя раздражать солдат. Решено было образовать две комиссии: одну, состоявшую только из военных во главе с маршалом Молитором, для расследования беспорядков и для наказания виновных; другую, смешанную, для рассмотрения тех условий, в которых живут инвалиды, и для улучшения этих условий. Официальное сообщение об этом было поручено составить морскому министру Франсуа Араго, временно исполнявшему и обязанности военного министра.

Во Временном правительстве было несколько очень даровитых людей. Но никто из них по славе, по авторитету, по заслугам не мог сравниться с этим человеком. Франсуа Араго был одинаково знаменит как политический деятель и как ученый. Он не был главой республиканской партии, но был ее украшением. Таких людей обычно шадят даже враги; по крайней мере, их поливают грязью не так часто, как настоящих партийных вождей. В отличие от Ламартина и многих других министров, Араго был республиканцем всегда, еще с юношеских лет. Его чрезвычайно уважали все люди, с которыми он встречался. Уважал его даже Наполеон. После Ватерлоо император, собираясь бежать в Америку, говорил, как ему было бы приятно, если б Араго стал его товарищем по изгнанию и работе; впрочем, трудно было понять, что у них общего и какую работу они могли бы делать вместе.

Ученая карьера Араго прошла с редким блеском. Он работал в областях астрономии, математики, физики. Двадцати трех лет от роду он стал членом Академии Наук, позднее ее постоянным секретарем. Стоял во главе Парижской обсерватории, считавшейся тогда первой в мире, был почетным доктором многих иностранных университетов, членом главных европейских академий и ученых обществ, знал решительно всё, считался едва ли не первым ученым своего времени. Быть может, только Фарадей превосходил его славой. Они были

друзьями, оба не знали зависти, оба, каждый по своему, были светские святые. Тем не менее Фарадей был некоторой загадкой для Араго: он просто не мог понять, каким образом этот самоучка, бывший переплетчик, ни в каких школах не учившийся, ничего кроме своей науки не знавший, не знавший даже высшей математики, мог сделать столько поразительных открытий. Разговаривать с ним о чем бы то ни было, кроме физики и химии, едва ли стоило. Фарадей, добрейший и бескорыстнейший из людей, принадлежал к какой-то маленькой протестантской секте, верил каждому слову ее учения, говорил преимущественно о ней, о погоде, о королеве Виктории, которую, повидимому, считал небесным явлением, хотя по скромности упорно отказывался от предлагавшихся ему наград и титулов. Он необычайно восхищался всеми учеными и их открытиями, совершенно не шедшими в сравнение с его собственными. С благодарностью и с любовью вспоминал и сэра Гемфри Дэви: этот большой ученый когда-то оценил юного переплетчика и принял его на службу в лабораторию: Фарадей исполнял при нем обязанности частью лаборанта, частью лакея. Позднее Дэви, завидуя его гениальности, стал относиться к нему враждебно; он же благоговел перед памятью своего учителя. Араго, сам превосходный экспериментатор, видел Фарадея за работой в лаборатории и испытывал такое чувство, точно присутствует при чуде. Фарадей работал по простому — почти как в молодости переплетал книги; застенчиво и грустно говорил, что математики не знает, — так жаль, не было возможности научиться, — и добивался головокружительных результатов. Казалось, он непонятным чутьем видел материю насквозь. Это было и торжеством разума, и в каком-то смысле насмешкой над ним. В лабораторию Фарадея, кроме ученых со всех концов земли, приезжали министры и лорды посмотреть на национальную гордость. Он радостно-благодушно принимал их, но еще больше бывал рад переплетчикам и сапожникам, в обществе которых часто проводил вечера.

Во Временное правительство Араго просто не мог бы не

попасть: таковы были его положение, репутация и популярность. В парламенте он пользовался огромным авторитетом, неизменно избирался в важнейшие комиссии, делал ответственные доклады, во всё вносил свои качества ума, честности, беспристрастия и трудоспособности. Эти же качества тотчас проявил и на должности военного и морского министра после революции. Араго был компетентен и в военных делах, которыми по необходимости занимался в парламенте в пору монархии. Если же, как министр, признавал себя в чем-либо недостаточно осведомленным, то расспрашивал специалистов, сопоставлял взгляды и советы, думал над ними и принимал решение, казавшееся ему наиболее разумным и логичным.

Разум и логика были в течение всей его жизни единственной верой Араго. Религия мало его интересовала. Искусству он был чужд. И революцию, и республику он хотел было принять как торжество логики и разума. Тотчас согласился войти в правительство и лишь, в отличие от других министров, — вероятно к их неудовольствию и недоумению, — отказался от жалованья. Никакого состояния у него не было; после него ничего не осталось. Но, со свойственной ему твердостью, он заявил, что ему достаточно тех одиннадцати тысяч франков в год, которые он получал по своей ученой должности.

Работа Временного правительства не оказалась торжеством разума и логики. На заседаниях научных обществ работа шла совершенно иначе. Там люди знали то, о чем спорили, и говорили дельно даже тогда, когда ошибались. Кроме того там все было относительно корректно, не орали, не стучали кулаками по столу. И, наконец, там все думали честно. Министры Временного правительства тоже были честными людьми; тем не менее Араго ясно видел, что многие из его товарищей иногда, сознательно или бессознательно, приносят правду и логику в жертву интересам либо мощных финансовых организаций, либо влиятельных групп избирателей; некоторые из этих групп теперь назывались пролетарскими и после введе-

ния всеобщего избирательного права стали тоже могущественными.

Как всегда, Араго работал целый день и значительную часть ночи, несмотря на очень дурное состояние здоровья. После революции он больше не читал своего ежегодного курса астрономии. Этот курс он всегда читал, не прибегая к математике, и потому называл «популярным», хотя его друг Александр Гумбольдт и умолял его не произносить слов «*Astronomie populaire*». Большая аудитория наполнялась людьми за час до открытия дверей; места брались с боя, в Обсерваторию приезжали нарядные дамы с карандашами и с тетрадками, бешено ему аплодировали при его появлении, затем что-то записывали. Вопреки своему желанию, он стал одним из тех модных лекторов, какие всегда бывали и бывают в Париже то по одной, то по другой науке. Отдельные лекции Араго изредка читал и теперь, а все свободные часы проводил в Обсерватории.

В Обсерваторию он отправился и после окончания заседания правительства. Это заседание особенно его расстроило ожесточенностью спора, пустословием, тем, что десять человек сочли нужным поговорить и высказали десять разных суждений. Но хуже всего было происшествие, которое послужило предметом спора. «Очевидно, этим несчастным инвалидам после революции живется ничем не лучше, чем до нее, а может быть, даже и хуже», — думал он в экипаже. — «А следовательно бесполезно требовать, чтобы они были в восторге от только что завоеванной полной политической свободы. Да, у всех этих обездоленных людей теперь есть избирательное право. Но сами они едва ли будут избраны в парламент. Мы думаем, что им политическая свобода нужна точно в такой же мере, как нам. Она им действительно нужна, однако не в такой же мере. По настоящему им нужна человеческая жизнь, та самая, что всегда была у нас; им нужны сытная еда, сносные квартиры, менее тяжелый, более привлекательный труд, развлечения, — именно то, чего революция почти никогда не дает, — может дать лишь десятилетиями

позднее. Парижский простолудин теперь живет хуже, чем при Людовике-Филиппе. Его труд остался прежним и плата осталась прежняя, а жизнь дорожает с каждым днем. Однако мы ему даем лишь Национальные мастерские с обеспеченным трудом, столь же тяжелым и безотрадным, столь же худо оплачиваемым, как труд на частных заводах. Да и то консерваторы говорят об этих Национальных мастерских с ужасом! Они хотят спасти наш строй дисциплиной и строгостью. А это всё равно, что лечить от чахотки диетой. Конечно, в общем счете исторического прогресса мы гораздо более правы, чем реставраторы. Но нашим преувеличенным восторгом после февральских дней мы лгали, вводили в заблуждение этих людей, обещали скоро дать им то, чего не увидят и их дети и не увидят по нашей вине. В этом и есть главная драма революции. Они начинают думать, что мы их обманули. В революциях, в восстаниях, в переворотах вообще толку мало. Они становятся необходимыми лишь в случае слепоты правителей. Несчастье именно в том, что правители слишком часто слепые от рождения или тотчас ими становятся приходя к власти. Людовик-Филипп мог предотвратить революцию, наше Временное правительство еще может предотвратить свое падение. И весь наш строй обречен на гибель, если проникательными людьми твердой воли не будут произведены смелые, глубокие реформы, которые дадут возможность жить человеческой жизнью всем, а не только немногим. Я не вижу этих проникательных людей твердой воли... Жаль, очень жаль. Всё-таки свобода высшая из наших ценностей, я ее не променяю ни на что другое».

Вдали показались светлые куполы Обсерватории. Их вид всегда его успокаивал. Выходя из кареты, он оступился и вдруг почувствовал себя очень худо. Это случалось с ним всё чаще: иногда он останавливался на улице и садился на тумбу, на выступ стены, на ограду садика. Врачи считали его тяжело больным человеком: ему в самом деле оставалось жить недолго. Он лечился, но в меру; при всей своей непоколебимой вере в науку, к врачам относился благодушно-иронически.

Старый привратник почтительно отворил дверь и поклонился. Он смущенно сказал: «Bonsoir. Tout va bien?» и вошел во двор. Ему было совестно перед стариком, — всё-таки бросил Обсерваторию, — несколько совестно и за свое правительственное величие, за полагавшийся министру экипаж, за прекрасных лошадей. Прежде у него никакого экипажа не было; впрочем, он и теперь часто пользовался omnibusом и никак не с тем, чтобы удивлять этим людей. Был демократ по природе, особенно в бытовом отношении.

Он прошел по слабо освещенному фонарями двору, стараясь скрыть, что чувствует себя совсем плохо. Но в кабинете тотчас тяжело опустился в кресло. До лекции еще оставалось много времени. План ее у него был готов, говорил он всегда гладко, хорошо и просто. Сам шутливо объяснял, что, войдя в аудиторию, прежде всего выбирает в публике человека с наименее умным лицом и затем не сводит с него глаз: если этот понимает, то вероятно понимают и все другие (одному из выбранных им слушателей такое внимание чрезвычайно польстило, и он написал Араго благодарственное письмо).

В этот вечер он читал лекцию о кометах. С ними у него была связана некоторая личная неприятность. Не очень давно в небе появилась комета, занесенная им в каталог под номером 164. Ее появления никто не ждал. Этому могли удивляться только люди, не знавшие, что точно расчислены всего лишь четыре кометы во вселенной. Но, по странной случайности, вышло так, что впервые эту комету заметили в небе не ученые при посредстве телескопов, а простым глазом простые люди, — чуть только, в их числе, не какие-то ночные гуляки: астрономы всех обсерваторий мира ее пропустили. Разумеется, это подало повод для насмешек в газетах. Посмеивались и над Араго, — оттого ли что он был известнее других, или же потому, что у него всё-таки были политические враги: они его не травили, но при случае посмеяться над знаменитым человеком, принадлежавшим к враждебной группе, доставляло некоторое удовольствие. На самом деле он ни в чём виноват не был: при первом появлении кометы небо в Па-

риже было совершенно закрыто тучами, и наблюдения были невозможны. Однако не заметили кометы № 164 и другие знаменитые астрономы, Бессель в Кёнигсберге, Струве в Пулкове, Эйри в Гринвиче. Все они были несколько сконфужены этим странным происшествием.

Араго привык к тому, что о кометах ему задавали нелепые вопросы. Иногда люди его спрашивали, что может предвещать комета № 164. Ведь комета 1811 года появилась на небе как раз перед великой франко-русской войной. Комета Галлея при своем первом появлении вызвала общую панику: турки завоюют христианский мир. Еще какая-то комета возвестила близкую смерть Галеаццо Висконти. Когда Араго бывал в хорошем настроении, он с улыбкой отвечал, что войны при Наполеоне бывали и без комет, что Византия была занята турками до появления кометы Галлея, что Галеаццо Висконти умер скорее всего от страха, вызванного кометой, и что вряд ли всё-таки небесные тела опускаются и до возвещения незначительных событий в не очень больших городах Италии. Когда же он бывал настроен дурно, то пожимал плечами, раздраженно говорил, что он не астролог и ерундой не занимается, и советовал спрашивавшему пойти к гадалке. Но, случилось, кто-то на лекции спросил его: если эта комета появилась в совершенно неожиданное время в совершенно неожиданном месте и если ее путь в прошлом и будущем неизвестен, то какова гарантия в том, что она не столкнется с землей и не вызовет гибели всего человечества?

Этот вопрос застал его врасплох. В самом деле ничего невозможного в таком событии не было. Он применил к вопросу теорию вероятности. Выходило, что у Земли было 280.999.999 шансов из 281.000.000 избежать столкновения с кометой. При новой встрече с недоверчивым слушателем, Араго сообщил ему результат и добавил: «Любой разумный человек, как бы он ни был привязан к жизни, не станет волноваться из за столь ничтожной вероятности гибели». — «Да, но всё-таки остается печальный 281.000.000-ый случай», — ответил слушатель-пессимист.

Почему-то этот разговор ему вспомнился и теперь. Он подумал, что для него, при его тяжелой неизлечимой болезни, вероятность очень близкой смерти неизмеримо больше. «Хорошо было бы умереть без долгих страданий. Это возможно. А нет, так что же делать?»

До начала лекции еще можно было поработать. Немало людей уверяло, что они считают «вычеркнутыми из жизни» часы, проведенные без дела (только самые искренние, Руссо, Толстой, порою говорили, что истинное счастье находили в праздности). Но Араго действительно праздности совершенно не выносил. Следовало ответить на несколько писем. Как для большинства знаменитых людей, письма для него были настоящим бедствием.

Написав письма, он отворил окно. Вечер был изумительный, — серебристая громада Млечного Пути как будто требовала наблюдения. Струве только что прислал ему свою новую книгу «*Etudes d'astronomie stellaire*». Русский ученый высказывал очень интересные мысли о гипотезе Гершеля. «Да, лучше было бы смотреть на это, чем слушать весь их вздор», — подумал он, разумея заседание Временного правительства.

Араго засветил фонарь и прошел в залу большого телескопа. Лучшие часы своей жизни он проводил в этой зале. Знал в ней каждый уголок, наощупь в темноте находил любой рычаг. Так и теперь привычными движениями привел в движение то что следовало, поставил фонарь на пол у вращающейся кушетки под телескопом, придал ей нужное положение, затем снял сюртук и лег. При этом опять почувствовал сильную боль и опять сказал себе, что не надо обращать внимания. «Всё это неважно!.. А если сейчас и умру на этой кушетке, наблюдая небо, то что же может быть лучше и почетнее такой смерти?..»

Он медленно повел телескоп вдоль созвездий. «Кассиопея... Персей... Возничий... Близнецы... Телец... Орион... Носорог... Большой Пёс... Корабль Арго... Центавр... Южный Крест»... На Южном Кресте особенно хорошо был виден тем-

ный провал, называвшийся Угольным мешком Гершеля. Безошибочная память Араго подсказывала ему чудовищные, непостижимые, недоступные и воображению цифры. «17.206.400.000.000 миль» (он еще иногда вел счет на мили). «А за этим провалом какие-то миры без звезд, уж совсем неведомые и непонятные... Да, в свете этого, «объективно», инцидент с генералом Пети и вся наша революция не имеют большого значения. Но какое дело до этой «объективности» живому человеку — и даже умирающему? Очень дешева и слишком удобна мудрость разных Экклезиастов. Идеи надо защищать и в большом, и в малом, отлично зная ничтожность дела». Действительно, несмотря на свою старость, он умел защищать свои идеи. В пору парижских баррикад химик Дюма писал о нем: «Поведение его в эти дни опасности было необыкновенно твердо и мужественно: Араго под градом пуль бросался на баррикады с такой решимостью, что очевидцы думали, будто он ищет смерти».

Он остановил телескоп и задумался над гипотезой Гершеля, не сводя глаз с Южного Креста и с черного провала. По его мнению, ничего не могло быть прекраснее и величественней этого зрелища. В Англии он когда-то видел картину Тинторетто: «Млечный Путь». Смотрел на нее с недоумением и с улыбкой. «Простоватый художник верно думал, что его Юнона, с выходящими из горла звездами, придаст этому поэзии!..» Араго не понимал и не чувствовал искусства. В его огромной библиотеке, проданной с аукциона после его смерти, оказалось только девятнадцать художественных произведений; и едва ли он читал эти книги Камозэнса, Боккачио, Бенсерада: вероятно, они были поднесены ему в дар издателями. Музыка вызывала у него смутное беспокойство: она была точно вызовом разуму и логике. Но его взгляд естествоиспытателя замечал и в картинах то, чего рядовые наблюдатели не видели. Ему показалось, что и нарисованы у Тинторетто павлины, орел, руки Юноны не очень хорошо. А главное, было бессмысленным желание приукрасить Млечный Путь.

«Все они, конечно, лгали, очень поэтично и очень наив-

но», — думал он. — «Ни на какой Корабль Арго никто после смерти не попадет и вообще больше ничего никогда не будет. Что же тут страшного? Ровно ничего. Я пожил достаточно, знал в жизни больше прекрасного, чем худого, сделал немало, увеличил то, что называется сокровищницей знания. Конечно, еслиб еще пожил, мог бы еще кое-что сделать, но я и так далеко перешел через среднюю продолжительность человеческой жизни. Вместо меня для науки будут работать другие, наука бессмертна. Они помянут меня добрым словом и не в одной Франции: я работал и для всего человечества. Делал это как мог и умел также в политике; и здесь работал на пользу людям. Были, конечно, ошибки, о них тяжело вспоминать, но ничего очень дурного я не сделал. Быть может, главная ошибка была в том, что я рассматривал человека хоть отчасти как логическую машину... Скоро похоронят, забудут не так скоро, да еслиб и забыли, то нет большой беды: я ничем не лучше тех, кого забудут на следующий день. Никакой другой жизни не будет, и в этом тоже нет ничего особенно страшного. Боюсь смерти? Нисколько не боюсь, — совершенно искренне ответил себе он. — Не то, чтобы надоела жизнь, уж наука-то нисколько не надоела, напротив люблю ее всё больше. Но я устал, пора отдохнуть. Это ведь как сон. Правда, без пробуждения на следующий день. Однако, когда ложишься спать, разве очень думаешь о том, что завтра проснешься? Просто хочется спать». Он вернулся к гипотезе Гершеля и к соображениям Струве.

К девяти часам он обещал составить и послать в типографию правительственное сообщение о происшествии во Дворце Инвалидов. Он поднял фонарь, взглянул на часы, времени оставалось лишь минут двадцать. С усилием встал с кушетки, — боль стала почти нестерпимой, — надел сюртук, опять повернул какие-то рычаги и вернулся в свой кабинет. Там он сел за стол, подумал и стал писать: «*Quelques invalides se sont livrés, dans la journée du 23, à des actes d'insubordination qui*»...

Через четверть часа он отдал рассыльному бумагу. Под-

нялся, опираясь на письменный стол, смочил голову одеколоном и принял пилюлю. Лекарство давало облегчение на час или полтора, этого было достаточно для лекции. Ровно в девять прошел в лекционный зал. Аудитория встретила его бурными, долгими рукоплесканьями. С тех пор, как он стал членом Временного правительства, его популярность еще возросла, чего он никак понять не мог. Араго поклонился, ожидая конца овации, затем стал рассматривать публику в поисках самого тупого слушателя.

Во втором ряду, с края, нервно оглядываясь по сторонам, сидел плохо одетый человек очень мрачного вида, знаменитый революционер, крайний из крайних, сын члена Конвента, Огюст Бланки. «Этот что тут делает?» — изумленно спросил себя Араго. Они не были знакомы, но знали друг друга в лицо. Араго относился очень враждебно к коммунистам, однако считал Бланки честным и искренним человеком. Вдобавок, люди, интересующиеся астрономией, всегда пользовались некоторым его расположением. «Что-ж, из моих коллег по правительству, верно никто о кометах не имеет ни малейшего представления. А этот интересуется!.. Учись, голубчик, учись». Рукоплескания наконец прекратились. Араго чуть откашлялся. Боль стала слабеть, пилюля подействовала. «Прочту, сил хватит. Ненадолго, но хватит»...

— Mesdames, Messieurs, — сказал он. Здесь не полагалось говорить «citoyens».

IV - V

.....

VI

Mon cœur pour s'épancher n'a que vous et les dieux*.
Racine.

В хорошую погоду Роксолана после окончания работы гуляла в Люксембургском саду. Этот сад ей понравился. И хотя неоткуда ей было встретить знакомых, всё надеялась:

* Для того, чтобы мое сердце открылось, существуете только вы и боги.

вдруг встретит? В Галате нашла бы приятелей и приятельниц на каждой улице. Здесь же было гораздо труднее завести новые знакомства, чем в Константинополе и даже чем во Флоренции. Французы оказались очень замкнутым народом. Ей не удалось познакомиться и с соседями по дому; быть может, ее профессия не внушала им доверия.

В саду к ней не подходили ни русские князья, ни английские лорды. Иногда пытались пристать какие-то молодые люди, но она их боялась: «Наверное бедный, а может быть, и больной, а может быть, тоже какой-нибудь Жак Ферран, возьмет и ночью зарежет!» Обедала она в недорогом ресторане поблизости от сада. Но как ни приятно было, что у нее собственная квартира, да еще такая хорошая, возвращалась она домой всегда с печальным чувством: опять одна.

Впрочем, были и радости: сбережения росли, и пришли деньги по купонам от купленных ею бумаг. Она была чрезвычайно довольна: «Не надули Ротшильды, вот спасибо! И хорошо это придумали люди: и ничего не делала, а деньги сами собой пришли! Отнесу им еще!»

В один из первых дней июня ей в Люксембургском саду бросилось в глаза знакомое лицо. Всех красивых мужчин она уж безошибочно запоминала навсегда. Этого молодого человека она раз видела в Константинополе, он был знакомый сумасшедшего русского старика. Столкнувшись с ним, Роксолана ахнула и улыбнулась ему так радостно, точно они были старые друзья. Он удивленно взглянул на нее, тоже узнал и вежливо поклонился. Она по-французски пропела, что очень рада его видеть. Виер совершенно не знал, кто она. Роксолана совершенно не знала, кто он.

— Так вы в Париже? — одновременно спросили они друг друга. Оба справились о Лейдене и оба ответили, что ничего о нем не знают. Затем она самым певучим своим голосом предложила пообедать вместе. По инстинкту добавила, что ресторан очень недорогой.

Немного поколебавшись, Виер согласился. В этот день он находился в таком же настроении, как она.

По дороге в ресторан оба, тоже одновременно, спросили друг друга: «А как вас зовут?» — и оба засмеялись. Его очень позабавило имя Роксолана. Но когда она за обедом общилась ему, чем занимается, он не улыбнулся. «Ну, что-ж, и ей надо жить. Вот она, “la reine des hommes”», подумал он.

— А ко мне недавно приходил знаменитый писатель, — похвастала она. — Его зовут Бальзак. Ах, какой умный! Но страшный.

— Правда? — с улыбкой спросил он.

— Ты его читал? Я тебе говорю ты, я всем, кто молодой и красивый, говорю ты. А я ему гадала. Он мне сказал, что в Америке теперь придумали столы... Как это называется? Спелитизм, — выговорила она. — Ты не слышал? А ты мне тоже говори ты. Я тоже молодая и красивая

— Что-то слышал. Это столоверчение, ворожба столами. Вздор, конечно.

— Ах, не говори! Это может быть очень выгодно. А после обеда пойдем ко мне, — сказала Роксолана. Он ласково смотрел на нее.

Вечером Виер вышел от нее с новой своей усмешкой. Ничего особенно нехорошего он не сделал, но легкое чувство неловкости испытывал: Лейден был его старший друг и по возрасту годился ему в отцы. «Да ведь их дело кончено, у него это было такое же пустое похождение, как у меня. Не предполагал я о нем такого. И я хорош, но я не женат»... У него было смутное чувство, будто тем, что он сошелся с женщиной легкого поведения, он мстил капиталистическому обществу.

На следующий день он опять к ней пришел. Она встретила его с восторгом. Была очень им довольна. Красивый поляк был не богат, хотя хорошо и очень чисто одет. В ресторане Роксолана поморщилась, когда услышала, что он ищет работы и хочет поступить в какие-то мастерские, где платят два франка в день. Тем не менее она горячо звала его приходить к ней

возможно чаще. Он был друг сумасшедшего русского, и Роксолана его не боялась.

— Иногда буду приходить, — сказал он.

— Зачем иногда? Приходи в пять часов в сад каждый день. Я люблю тебя. А ты меня любишь? А чем ты прежде занимался?

«Что ей сказать?» — подумал он. — «И в самом деле, чем я прежде занимался?»

— Я революционер.

Она сначала не поняла. Получив краткое разъяснение, одобрила:

— Это хорошо. На этом можно заработать много денег. Ты только в мастерскую не ходи, а всё хорошо обдумывай и газету читай каждый день.

Он с той же улыбкой подумал, что в сущности приблизительно то же самое мог бы сказать Бальзак. «Он ведь наверное убежден, что революции устраиваются темными людьми для наживы. В пошлости легче всего сойтись большим с малыми».

— Я и так читаю.

— Увидишь, ты будешь богатый. За тебя всякая богачка пойдет, потому что ты такой красивый. А ты смотри, не торопись, всё раньше узнай. Куда спешить? Дай, я тебе погадаю.

Взглянув на его руку, она огорчилась.

— Ах, нехорошо! Короткая линия жизни!

— Да ведь это вздор.

— Ах, нет, не вздор! Вот сомнамбулки вздор, эта Генриетта шарлатанка! А рука не вздор. Да, ведь, если и короткая линия, то и пять лет можно прожить! Ты хочешь жить долго?

— Хочу ли? Нет!

— Так многие говорят. А потом, когда больны, плачут: «Не хочу умереть, хочу выздороветь», — особенно мило пропела она, подражая плаксивому тону людей, которые так говорят. Сама она не боялась смерти, потому что никогда о ней не думала. Смутно верила, что там на небе всё, должно быть, как-нибудь устроится, не то, чтобы хорошо, но и не очень плохо: как на земле.

— Нет, я плакать не буду! Человек не должен умирать в кровати, босой, в ночной рубашке. Умирать надо в мундире! Наполеоновские маршалы делили людей только на офицеров, штатских и врагов. А для штатских у них было презрительное слово: “rékins”. По своему они были правы. Я военный, а громадное большинство людей — штатские, и враги у них личные, ничтожные.

«Да он совсем дурачек», — ласково подумала она. — «Что же тут хорошего? Если кто умирает в мундире, то значит, умирает молодым? И совсем он не офицер, хвастает. Офицера сейчас видно».

— Я многих офицеров знала, одного страшного богача, — сказала она. — Ты глупый, но ты храбрый. Я люблю храбрых. Один из за меня в Галате разбил головы двум пьяным. Правда, и сам был пьяный... Знаешь, что, приходи завтра не в пять, а в четверть пятого. Будем вместе пить шоколад.

VII

Я становился независимее и отвыкал от людей; не избегал никого, но лица сделались мне равнодушны. Я увидел, что серьезно глубоких связей у меня нет, что я чужой между посторонними, сочувствую больше одним, чем другим, но ни с кем тесно не соединен. Оно и прежде так было, но я не замечал этого, увлеченный собственными думами; теперь маскарад кончился, домино сняты, венки попадали с голов, маски с лиц, и я увидел черты не те, которые предполагал. Я мог не показывать, что многих меньше люблю, т. е. больше знаю, но не чувствовать этого не мог.

Герцен.

Виер вернулся в Париж лишь в конце мая.

В Константинополе его в самом деле ждали деньги и инструкция. Она его удивила. На него возлагались два поручения. Одно было нисколько не опасное: ему предписывалось

повидать казаков-некрасовцев в Биневле и окончательно выяснить, выступят ли они против России в случае войны. «Да ведь я уже у разных казаков был», — с недоумением подумал он. Второе же поручение, тоже не такое важное, как ему писали, заключалось в том, чтобы принять участие в создании Еврейского Легиона, который должен был скоро выступить в поход на защиту Италии. Виер догадался, что в Отеле Ламбер его привлекли к этому делу, так как слышали об его отдаленном еврейском происхождении. Сам он не очень верил, что происходит от петровского графа Девиера. «И мать не знала, кто были предки отца, а я уж совершенно не знаю. И это никакого значения не имеет. Сам князь Адам не знает, кто был его отец», — думал он, вспоминая слухи, распускавшиеся врагами князя. — «Кровь, раса, происхождение, какой вздор! Ну, что-ж, скажу правду: и мне было бы приятнее называться Чарторыйским, чем Виером, да только потому, что много дураков на свете»...

Он много думал о письме, которое обещал написать Ольге Ивановне для Лили. «Но ведь условились, что я напишу в Киев, а она туда должна была вернуться только в мае или даже в июне. И главное, что же я ей теперь могу написать? Мое положение выяснится лишь в Париже. Я нежно люблю Лилию, но ничего не поделаешь, надо подождать».

Из Франции приходили известия, чрезвычайно его огорчавшие. Повидимому, новое правительство никак не собиралось объявлять войну за освобождение Польши. Точно так же раздумал воевать и Николай I, хотя в первый день действительно на балу сгоряча велел офицерам «седлать коней». Не слышно было и о том, чтобы в Париже формировалась настоящая польская армия. «Да, до моего возвращения туда ничего не буду знать».

Можно было бы, конечно, написать Лиле и в Петербург. Однако в Константинополе говорили, что после февральской революции письма из заграницы проходят в России через очень строгую цензуру. «Симпатическими чернилами писать было

бы теперь слишком опасно. Я не могу подводить ее и людей, у которых она гостит. Написать просто несколько ничего не значащих слов? Если даже они до нее дойдут, то она только будет напрасно разогревать страницу, и удар будет для нее страшный. Уж лучше пусть думает, что письмо не дошло».

Со своей обычной добросовестностью он занялся возложенной на него работой. Дела в общем ему были все-же понятны. Польские эмигранты теперь не представляли собой значительной военной силы. Кадровые офицеры, бежавшие за границу в 1831 году, успели состариться; они семнадцать лет трудились, чтобы прокормить себя и семьи, не занимались военным делом и отстали от него. Молодежь военного образования не получила. Притока людей почти не было. Князь Адам возлагал большие надежды на турецких казаков: по его сведениям, они ненавидели царское правительство. Создание же Еврейского легиона было затеей графа Замойского. Для нее в 1848 году приезжал в Константинополь Витольд Чарторыйский. Тут уж было вначале и не совсем понятно, с кем этот легион будет воевать. В конце царствования Людовика-Филиппа Отель Ламбер изменил свою внешнюю политику. Князь Адам теперь относился к Австрии враждебно, в меру своих сил поддерживал итальянцев, венгров, австрийских славян. Можно было рассчитывать, что в Италии пригодится лишняя, хотя бы и небольшая, воинская часть.

Виер решил начать с первого поручения и на третий же день после своего приезда в Константинополь выехал в Биневле к казакам.

Он был принят стариками вежливо, без большого почета и с легким удивлением, относившимся, как он понимал, к его молодости. Казаки моложе пятидесяти лет не только не участвовали в совещании, но и не решались войти в избу начальства. Она была хорошо убрана и украшена знаменем некрасовцев: на белом поле был золотой крест, а на черном турецкая эмблема. Совещавшимся в избе подавали крепкий душистый кофе; чаю некрасовцы не пили. Слушали Виера старики уныло. «Да верно я здесь не первый польский эмис-

сар», — подумал он. Сказал по-русски довольно длинное слово о событиях, о революции во Франции, о надвигающейся войне. Старался говорить возможно проще и понятнее; иногда замечал, что старики обменивались насмешливыми взглядами.

Ответили ему уклончиво и вместе твердо. Смысл ответа был тот, что никакой войны пока нет, а может, никогда и не будет, что-ж даром болтать? Кроме того, казаки служат султану, присягали ему и будут присяге верны: издаст султан приказ о войне, — пойдут, а сами никаких соглашений заключать не имеют права и ничего обещать никому не могут. Виер убедился, что эти малообразованные люди, жившие в глухой турецкой провинции, не так уж плохо разбираются в международных политических делах. О французской революции они слышали, и она их совершенно не интересовала: они видели в ней просто непорядок, не имевший к ним никакого отношения. И если они не очень любили русское правительство, от которого бежали их предки, то польских эмигрантов любили никак не больше: видимо им не доверяли и остерегались их. Виер и сам понимал, что казакам незачем воевать с Россией и ему было совестно, что он вводил их в заблуждение, суля им какие-то выгоды от войны. «Да, в политике, к несчастью, то же, что в торговле: не обманешь — не продашь».

Когда совещание кончилось, Виера пригласили к столу. Хозяева стали тотчас очень радушны. О политических делах они больше не говорили, и он почувствовал, что совершил бы неприличный поступок, если бы за обедом сказал еще хоть одно слово о политике. Угощали же его превосходно. Ему было известно, что эта странная казацкая республика в турецком царстве процветает. Султаны чрезвычайно ценили некрасовцев, считали их лучшими своими воинами и осыпали знаками внимания. Престарелый Иван Салтан получил в свое время множество боевых наград. Во внутренние дела казаков султаны не вмешивались, но по договору запрещали им заниматься хлебопашеством, чтобы они не превратились в обыкновенных крестьян: в мирное время казаки имели право заниматься только охотой и рыбной ловлей. Говорили они на чистом рус-

ском языке, со старинными выражениями, оставшимися от времени Игната Некрасова, память которого была окружена в Биневле настоящим культам. Проводили Виера ласково, но видимо были рады тому, что польский пан уехал. «Если начнется война, будут, как всегда, драться храбро, а сами ни с кем воевать не хотят, менее же всего с Россией, хоть она и императорская» — думал он.

Не очень много толка вышло и из дела с Еврейским легионом. Виер принял участие в вербовке, посещал еврейские кварталы Константинополя, ездил в соседние города, везде произносил речи по французски. Люди на собрания приходили, но понимали его очень плохо: в громадном большинстве знали только турецкий и старо-испанский языки. Он нанимал переводчиков. Обычно это были константинопольские гиды. Для них это было непривычное дело. Быть может, переводили они его слова и точно, — однако их вялый перевод, очевидно, никакого впечатления не производил. Виер преимущественно говорил о Франции, о французской революции, провозгласившей равноправие евреев, о генерале Бонапарте, который выражал намерение восстановить самостоятельное еврейское государство и вновь выстроить Соломонов храм. Эту часть его речи слушали внимательно и с интересом: имя Наполеона и здесь было известно всем. Но когда он затем переходил к войне с Австрией за независимость и за объединение Италии, начинались зевки, кое-где слышался и смех, а часто зал пустел. «И тут то же самое: зачем им покидать Турцию и воевать с Австрией, когда именно в этих странах к ним относятся гораздо лучше, чем в большинстве других?»

Тем не менее ему и другим агитаторам удалось завербовать в Легион сто тридцать евреев. Всё это были очень молодые и чрезвычайно бедные люди. Виер думал, что ими руководит желание приключений, стремление хоть как-нибудь выйти из их скучной убогой жизни, а всего больше голод: легионеров обещали кормить хорошо. Это было всё же некоторым успехом: он тотчас послал донесение в Отель Ламбер. Но главные трудности начались именно теперь. Новобранцев надо было

обучить, а он сам строевых приемов не знал: когда-то учился им, но научился немногому, да и позабыл. Впрочем, оказалось, что для обучения новобранцев был особо предназначен польский кадровый офицер, который говорить на собраниях совершенно не умел, но строй знал хорошо и вдобавок сносно владел турецким языком. В пришедшем из Парижа ответе Виеру выражалась благодарность — и указывалось, что теперь руководящая роль переходит к кадровому офицеру. Он несколько обиделся: «В чем же была опасность обоих поручений? Очевидно, они доводом об опасности воспользовались для того, чтобы я не мог отказаться? Главное для них, конечно, было дело с казаками: для него я и был им нужен, так как я совершенно свободно говорю по русски, и им верно сказали, что я хороший оратор. Скорее всего, они и вообще недовольны моими пессимистическими докладами?».

Он предложил кадровому офицеру, что отправится в Италию под его командой, хотя бы простым солдатом. Тот любезно и вежливо отклонил предложение. Ему было известно, что Виер социалист, да еще и крайний. — «Такие люди, как вы», — сказал он, — «гораздо нужнее на более важных постах. Рядовым я вас, разумеется, принять не могу, а как же вы будете командовать, не имея военного опыта и не зная турецкого языка?». Легион скоро и отплыл в Италию, — «по следам Маккавеев», — писал польский очевидец.

Почти одновременно с этим Виер получил из Парижа письмо от одного из молодых польских революционеров, сочувствовавших, правда, не Бланки, а Барбесу. Барбес был крайним сторонником войны с Россией. Впоследствии, в 1854 г., он даже был помилован Наполеоном III, так как в частном, перехваченном полицией письме из тюрьмы выражал горячее пожелание победы французам в Крыму над «казаками» (от помилования он, однако, отказался). Польский приятель писал Виеру, что теперь ни малейшей надежды на войну нет; делать революционерам-полякам пока нечего, и отношения у них с Отелем Ламбер снова ухудшились. «Мы за баррикады, они против. Баррикады же здесь будут непременно!» Сообщал так-

же, что с Россией больше нет возможности сноситься: письма не проходят, и царское правительство теперь никому паспортов не дает ни на въезд в Россию, ни на выезд из нее. — «Ты проскользнул один из последних, твое счастье».

«Господи! Значит, всё кончено с Лилей! — с отчаянием подумал Виер. — «И написать ей нельзя, и никогда ее теперь за границу не выпустят, и кормить мне ее будет нечем: опять безработный, опять голыш! Но если революция идет к концу, если всё кончилось ничем, если капитал и теперь оказывается таким же властелином, как при Людовике-Филиппе, то и жить мне больше не для чего!».

Он думал всю ночь о Лиле, о себе, о том, что можно сделать. Пришел к выводу, что положение совершенно безнадежно: не было ни одного шанса из тысячи на то, чтобы ему теперь удалось встретиться с Лилей. «Не заставляй же ее ждать, не подавай же несбыточных надежд! Кончена жизнь! Никакого личного счастья не будет!»

Утром он всё же написал Ольге Ивановне. Написал без симпатических чернил, просто посылал сердечный привет, снова благодарил за гостеприимство. Вскользь упомянул, что теперь, в виду изменившихся обстоятельств, независящих от его воли, они верно увидятся лишь очень не скоро. «Когда мы снова встретимся, Елизавета Константиновна верно уже будет замужем. Всей душой желаю ей большого, большого счастья, как и вам, и Константину Платоновичу». У него вдруг полились слезы. «Совсем истрепались нервы!» Он понимал, каким страшным ударом это будет для Лили. «Зачем только я остановился у них в Киеве! Сделал несчастным и себя, и, главное, ее!»

На почте чиновник, взглянув на конверт, сказал:

— Я принять страховым не могу. В Россию письма не пропускаются, большей частью возвращают с границы, а вы своего адреса не указали.

«Какой же адрес я могу дать?» — подумал он. — «Я не знаю, где остановлюсь в Париже. Не указывать же Отель

Ламбер! А если со мной что случится, то это еще могло бы их скомпрометировать».

— Тогда пошлите не страховым, — ответил Виер. Чиновник пожал плечами и принял письмо. Оно действительно не дошло.

В Париже он тотчас по приезде узнал о неудачной попытке революционеров захватить власть и об аресте Огюста Бланки. Это было для него новым тяжелым ударом.

Виер нашел дешевенькую комнату в гостинице на окраине левого берега. Поселился там случайно: этот квартал совершенно ему не подходил: от всего было далеко, и жили тут больше мелкие торговцы. Но уж очень было дешево, и он знал, что сюда к нему будут реже приходить знакомые. Разложил вещи, накупил газет, стал по ним разбираться в политическом положении. Радоваться было вообще нечему, а ему в особенности.

На следующее же утро он побывал в Отеле Ламбер и представил отчет. Князя Адама в городе не было; да еслиб он и был, то едва ли принял бы Виера: быть может, и в лицо его не помнил. Виер тотчас заметил перемену. Встретили его очень учтиво, но как будто суховато. Чувствовалась и некоторая растерянность. Повидимому, события и настроения во Франции не вызывали большого удовольствия у Чарторыйских и Замойских. Выслушали его устные дополнения к докладом внимательно, были приятно удивлены обстоятельностью его денежного отчета и тем, что на себя он потратил так мало денег. Очень его благодарили и выразили надежду, что позднее опять окажется возможным сотрудничество. Он тоже выразил такую надежду.

«Слишком расширился и у нас, поляков, ров между имущими и неимущими», — подумал он, выходя. — «Еслиб они и предложили мне работать с ними дальше, я всё равно принять не мог бы. Что же теперь делать? Быть может, Бланки из тюрьмы с нами снесется и будет давать указания. А нет, так

будем делать дело по своему разуму. Надо, конечно, найти заработок».

Его сбережений могло хватить разве на месяц самой скромной жизни. Бедность его не пугала, но пугала нищета. Он видел в эмиграции слишком много примеров того, как от нищеты опускались честные и порядочные люди, как приучались жить подачками. «Я думаю, что не мог бы так жить, но и они верно прежде думали о себе то же самое... Ну, что-ж, буду искать работы, а если ничего другого не найду, то поступлю в эти Национальные Мастерские», — решил он. Это несколько его успокоило.

В тот же день он повидал кое-кого из единомышленников. Настоящих друзей у него не было, да и настоящие единомышленники были больше французы. Он увидел, что всё-таки очень отстал. При нем говорили, как о чем-то всем известном, о событиях, о которых он и не слышал. Впрочем, сообщали преимущественно, кто оказался дураком, трусом или обманщиком. Виер ждал идей, а услышал сплетни.

Ничего утешительного он не узнал и об отношении нового французского правительства к польскому делу. Конечно, Франция, как и Англия, была бы очень рада, еслиб Польша отделилась от России. Но серьезной целью в своей политике она этого не ставила. Вдобавок, это вызвало бы осложнения с Пруссией и Австрией, а их дружба или хотя бы нейтралитет были неизмеримо важнее сочувствия поляков. Польским эмигрантам говорились любезные слова и при Людовике-Филиппе, и при Второй Республике, и при Наполеоне III, им даже отпустились на всякий случай небольшие деньги, — они всё-таки могли пригодиться, — но большого значения им никто не придавал.

Разброд же в самой эмиграции теперь был еще сильнее, чем во все предшествовавшие годы. В первое время после февральских событий как будто возник еще новый план общенационального объединения. Но скоро и слепым стало ясно, что такого объединения не будет и быть не может: слишком разны были польские эмигранты по своим взглядам, по своему прош-

лому, по своим замыслам, и слишком остры были между ними политические и особенно личные счеты. Теперь каждая группа работала самостоятельно — или же называла работой свои собрания и разговоры.

Увлечение, впрочем, спало за три месяца почти у всех. Виер услышал о разных политических клубах; там, повидимому, и делалась история. Но ему сообщили, что после событий 15 мая работа стала менее энергичной, некоторые клубы даже закрылись. Виер узнал адреса и в первые дни делал то, что его товарищи делали всю весну. Кроме французских клубов, были клубы эмигрантские. В гостинице Англия и в Мюльгаузенском кабачке на Итальянском бульваре заседал немецкий революционный клуб, во главе которого прежде стоял поэт Гервег. Как большинство поляков, Виер недолюбливал немцев, но тщательно подавлял в себе это чувство. Он побывал в немецком клубе и услышал там такие крайние, кровожадные речи, каких нигде никогда в жизни не слышал. Правительства всех стран осыпались бранью и проклятьями, как впрочем и все революционные вожди, — эти за их недостаточную революционность. «Больше всего, конечно, кипятятся люди, которые в мыслях не имеют делать что бы то ни было, — вот как очень скупые люди неизменно возмущаются скрягами. Повидимому, они здесь сходятся больше, чтобы посплетничать за пивом. Пиво, кстати, ругают еще крепче, чем товарищей по революции: немецкое гораздо лучше».

Польский клуб находился на rue de l'Arbalète. Там Виеру сообщили о затее, о которой он впрочем уже слышал: готовится большое предприятие, будет создан и отправлен на Вислу для борьбы с Россией экспедиционный корпус из двадцати четырех батальонов.

— Как же вы туда доставите этот корпус? — спросил он.

— Пути найдутся.

— Но как двадцать четыре батальона будут воевать с Россией? У Николая огромная армия.

Ответ был, что надо только зажечь пожар, а там Франция и Англия придут на помощь. Ссылались на какие-то слова,

которые в частных беседах говорили французские и английские государственные деятели, впрочем, второстепенные или даже совсем мало известные; цитировали статьи из разных газет.

— Всему этому грош цена, — сказал он. — Журналист что-то где-то слышал, ему нужна построчная плата, вот он и пишет. Да есть ли хоть оружие для экспедиционного корпуса?

Ему прочли воззвание, выпущенное два месяца тому назад клубом на французском языке. В воззвании было сказано:

«Час возрождения народов настал. Вам, французы, выпала честь: вы начали это великое дело. На нашу долю, на долю поляков, выпало его закончить.

«Французский народ, твоя сестра Польша в нашем лице благодарит тебя за то гостеприимство, которое ты оказывал ее детям в течение семнадцати лет их изгнания; но она требует своих сынов, ибо и для нее возрождается эра свободы.

«Братья, нам необходимо оружие. Дайте нам его.

«К оружию во имя братства народов!

«Братья, мы уезжаем, доверив вам наших жен, наших детей, наших старцев.

«Прощайте, братья, мы идем воевать за освобождение нашей родины. Если мы погибнем, Бог отомстит за нас, так как Он нас ведет».

Под воззванием в постскриптуме сообщалось, что оружие принимается в помещении совета первой колонны польской эмиграции, на rue de l'Arbalète, 26.

— Какое же оружие может дать нам рядовой француз? Старый пистолет, сохранившийся в семье от времени Наполеона, или кухонный нож? — спросил Виер. — Что-же, много вы получили оружия?

Ему с раздражением ответили, что пока пришло немного, но сбор продолжается. Сказали также, что очень легко всё критиковать и что нет ничего вреднее боязливого пессимизма. Молодым же людям в особенности не следовало бы высказывать сомнения в деле, в которое верят такие вожди, как Вор-

цель и другие, — назвали еще несколько очень известных имен.

— Я не пессимист и не трус. Если ваши батальоны отправятся в поход, я буду одним из первых. Но я в это не верю, — сказал Виер. Простились с ним холодно.

«Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie»? — подумал он, выходя. — «Нет, и отсюда ничего ждать нельзя, хотя они хорошие люди. Освобождение Польши стало частью общего мирового вопроса, то есть революции во всем мире. Скоро, быть может, здесь, в Париже, начнет литься кровь. И я знаю, где я пролью свою». У поляков преобладало мнение, что эмигранты не могут и не должны вмешиваться во французские внутренние дела. Но он с этим был не согласен. «Я люблю Францию и обязан бороться за ее счастье так же, как за свободу Польши. Нет поляков, французов, немцев, русских, есть братство людей в свободе, есть только граждане мира. Чем кончится этот польский поход если он вообще состоится, неизвестно. Может кончиться и фарсом, как кончались некоторые такие дела у других народов. В Париже рабочее восстание уж наверное фарсом не кончится. А погибать, так лучше за мировое, чем за национальное, дело».

По вечерам он возвращался домой, взбирался к себе на четвертый этаж, пил кофе с хлебом. С удовлетворением думал, что никто к нему больше не зайдет, что до утра во всяком случае никого не увидит и что он никого видеть не хочет.

О Лиле он «запретил себе думать», — и всё же думал о ней беспрестанно. «Теперь она верно уже в Киеве. Если письмо дошло, она возьмет его у Ольги Ивановны, будет разогревать на огне, увидит, что никакие буквы не выступают. Бедная, милая девочка... Она всё же поймет, что настоящее сказано в письме к ее матери. А может быть, и не дошло письмо. Она будет спрашивать отца, Тятеньку о событиях, они ей объяснят, что все сношения России с западным миром порваны, что паспортов больше не выдают, что, быть может, дело идет к войне. Всё у всех проходит, пройдет горе и у нее, как прошло у Зоси. Эта, должно быть, уже замужем,

живет в имени и наслаждается богатством? И Лиля выйдет за другого, за русского, и дай ей Бог счастья. А я больше никому не нужен. Но я пригожусь делу»...

Через несколько дней он заметил, что потерял розу, которую дала ему Лиля. Тогда, в Петербурге, вернувшись домой, он положил цветок в ту же книгу Шиллера. Теперь в книге его не оказалось. «Что же это? Как это могло случиться! Твердо помню, что вложил его как раз на странице «Resignation»! Куда он мог деться! Выпал в Константинополе, когда я укладывал вещи?..» Вьер с большим волнением перелистал весь том, пересмотрел всё в чемодане, в портфеле, просмотрел другие книги, — розы не было. Эта потеря и чрезвычайно расстроила его, и поразила. «Пропал цветок, самое дорогое, что у меня было! Как я мог потерять?.. Никогда себе не прощу! Судьба? Никто никогда не мог понять, что такое судьба... Предзнаменование?..» Он всё-таки не был свободен от суеверий, несколько этого стыдился и прежде в утешение себе повторял слова, вычитанные им где-то у Байрона: «Дурак никогда не бывает суеверен».

VIII

Синие обои полиняли,
 Образа, дагерротипы сняли —
 Только там остался синий цвет,
 Где они висели много лет.
 Позабыло сердце, позабыло
 Многое, что некогда любило!
 Только тех, кого уж больше нет,
 Сохранился незабвенный след.

Бунин

Лейден только в первую минуту был огорчен, узнав от дворника, что барышня еще не вернулась. Затем почувствовал даже некоторое облегчение: с Лилей ему было бы еще тяжелее.

В сопровождении Никифора, испуганно на него смотревшего, он прошел по всем комнатам. «Она своим присутствием делала естественной даже эту залу. Была сама естественность»... У его кровати стояли туфли, теперь с расправленными задками. «Это во мне тоже ее огорчало, часто просила надевать как следует. Даже в мелочах не старался, чтобы она была довольна»... На столике лежала его книга «Врачебное веществословие или Фармакология». Он взглянул на нее с отвращением.

Никифор так же испуганно рассказал ему, как всё было. Константин Платонович старался слушать спокойно, но лицо у него всё больше подергивалось.

Он переспрашивал дворника, три раза заставил повторить слова жены о священнике. «Да, умерла как праведница. Это и есть истинный героизм. У нее была простая вера, какой у меня нет и быть не может. И насколько же ее вера спасительнее!» Когда старик сказал, что видел тело барыни в часовне для холерных, Лейден попробовал себе это представить и не мог: слишком у него были живы впечатления от той, какой она была в молодости, от той, которая перед его отъездом укладывала его вещи и просила его не есть колбасы на станциях.

Дворник сначала забыл о халате. Упомянул только в конце разговора и был озадачен тем, что именно эти его слова больше всего потрясли барина.

— Потом расскажете, потом... Ну, идите, спасибо.

Его ждали письма. Он тотчас их прочел. «Да, удивительна бедность человеческого языка. Все пишут одно и то же, почти в одних и тех же выражениях», — думал он, сам удивляясь тому, что читает это, что обращает внимание на мелочи. Одно письмо было от Петра Игнатьевича, холодное и едва ли искреннее, — Лейден обратил внимание и на это.

Затем он поехал на кладбище, хотя был совершенно измучен. Там долго смотрел на могилу. «Что же она думала

бы, если бы тут лежал я? Что на это ей ответила бы ее простая вера? У нее хоть совесть была чиста... Покупала мне подарок именно тогда, когда я ее обманывал»...

В невысоком строении у входа, которое неловко было называть конторой, ему дали указания о памятниках, о том, как приобрести место рядом с могилой жены. Он заполнил формуляр. «Скоро тут буду и я», — сказал он себе, точно кому-то угрожая. Но со смешанными чувствами понимал, что будет это всё-же не так скоро: не очень просто устроить Лилю. «Допустим, Лиля будет материально обеспечена. Да как же она будет жить? Одна в доме?.. Разве я могу это сделать? Что сказала бы Оля?»

И тем не менее поездка на кладбище его успокоила. «Нашел, нашел и себе квартиру», — думал он. — «Будем лежать вместе до скончания времен»...

Вернувшись домой, он достал из ящика старые письма к нему Ольги Ивановны. Они были сложены аккуратно и перевязаны ленточкой. Лейден начал было читать, но это было слишком страшно. Первое письмо было ею написано тотчас после того, как она стала его невестой. «Нет, нет, теперь не надо, когда-нибудь позднее»... Он поспешно всё положил на прежнее место. Подумал, что почти никогда не говорил с ней о серьезных вопросах, о тех, которые называются философскими. «Не устаивал! А она была много мудрее меня. Да разве только об этом не поговорил! Не поговорил о столь многом, — не успел спросить ее, не узнал как следует об ее детстве, о том, как она училась музыке, о тысяче вещей не успел спросить — и теперь никогда больше знать не буду. Бывало сердился на нее, ссорился, кричал. Так у всех? Но что мне в том? Недолюбил!..» Вспомнил день их первой встречи, день свадьбы. «Как будто было вчера, но между этим вчера и сегодня прошла вся жизнь».

Дворник сказал ему, что из аптеки за неделю до его приезда приходили люди, всё чем-то поливали и ковры испор-

тили. Он спросил, хорошо ли окурили комнату барышни, и кивнул головой, узнав, что может и хорошо.

Большую часть дня Лейден проводил дома. Знакомые не знали об его возвращении или делали вид будто не знают: навещать его было бы тягостно, да и опасно: зараза держится в домах очень долго. Даже прислуга всё не возвращалась. Константин Платонович был и этому рад. Дворник, которому он подарил сто рублей, приносил ему обед из ресторана, ставил самовар, варил на ужин яйца, покупал хлеб и ветчину. Перед ним было совестно пить. Лейден сам украдкой купил несколько бутылок водки и пил много. «Знаю, что она поняла бы: без этого я совсем пропал бы. Впрочем, я и так пропал... Какие же у нее были радости? У меня были дела, книги, занятия, а что было у нее? Вставала и думала: сейчас уборка, кухня, Ульяна, и завтра то же, что сегодня»...

В комнате Ольги Ивановны он ничего не трогал. Просмотрел только книги на этажерке, — старался вспомнить или догадаться, откуда, когда каждая книга ей доставалась. От него тут подарков не было, он ей книг не дарил. Нашел «Опасной спор или сколько женщины могут полагаться на верность мужчин» — и поспешно вернулся в кабинет. Там в шкапу стояла водка.

Через несколько дней к нему всё же стали заходить знакомые, видимо гордившиеся тем, что не боялись заразы. Они глядели на него с тревожным изумлением. Один тотчас заговорил об Ольге Ивановне, горячо ее хвалил и восторгался ею, — но Лейдену его слова казались оскорбительными по неверности. «Совсем она была не такая: может лучше, может хуже, но не такая». Другой говорил о парижских событиях, о киевских новостях, — это было еще оскорбительнее, хоть по другому. Затем зашла добрая знакомая, очень благочестивая женщина. Она говорила о загробной жизни и обещала ему, что он снова встретится с Ольгой Ивановной в лучшем мире. Говорила искренне и с глубоким убеждением. Но он знал все доказательства бессмертия души. «И ученые, и не-

ученые люди говорят в таких случаях одни и те же слова. Быть может, и ходят ко мне не для того, чтобы сделать приятное мне, а для того, чтобы сделать приятное себе. У Ивана Васильевича вообще знакомых мало, для него и этот визит развлеченье. А Наталья Сергеевна просто любит похороны, панихиды, болезни, и вдобавок считает, что Бог зачтет ей этот визит».

Его раздражало то, что у всех людей, у всех кроме него, были по прежнему разные занятия, интересы, удовольствия, развлечения. Понять его очевидно не мог никто, хотя люди и притворялись, будто разделяют его горе, будто смерть Ольги Ивановны имеет для них огромное значение. Он понимал, что иначе и быть не может, но чувствовал глухое раздражение против всех. И, как он ни был теперь далек от людей и от их мелких интересов, всё-же иногда думал и о том, кто почему не заходит, хотя мог бы зайти. «Петр Игнатьевич, несмотря на письмо, верно радуется тому, что со мной случилось несчастье».

Как-то ночью он проснулся с ужасом. Сердце сильно стучало. «Нет ее, нет, больше никогда не увижу!» — точно впервые это поняв и почувствовав, подумал он. — «Что же это, Господи! Да не сон ли это? Может быть, никогда ничего этого не было, и она жива, и никуда я не ездил в Турцию, в Италию!»

Иногда он впадал в странное, изменчивое, полусознательное состояние, то близкое ко сну, то на него не очень походившее. Видел людей, которые давным давно умерли, о которых он годами не вспоминал. Однажды под вечер он — как будто во сне, хотя глаза у него были открыты — опять увидел Тициановского Неизвестного. На этот раз вышло по новому. Неизвестный назвал его Шопенгауэром с Шелковичной улицы, да еще вдобавок и сумасшедшим, посоветовал из подаренного женой халата сшить себе саван, а там будет видно, куда его отправят Минос с Эаком. «Остается только дом умалишенных!» — подумал он, придя в себя. Он встал и подошел

к зеркалу. В полусвете кончающегося дня оно отразило изможденное, почти безумное лицо с воспаленными глазами.

Однако больше такие сны не повторялись. Он перестал думать и о трех плоскостях, — в них, ему показалось, была как будто и литература невысокого сорта. Много позднее думал, что случившееся с ним несчастье не только его не прикончило, но скорее остановило развивавшуюся в нем душевную болезнь, — это особенно его удивляло полным расхождением с общепринятыми взглядами.

(Окончание следует)

М. Алданов

Когда-нибудь... о, я уверен в этом,
В глухую ночь окно открою я,
И вот увижу: серебристым светом
Как будто покрывается земля.

И в тишине, над городом сквозящей,
Чуть слышный занимается рассвет.
И это будет не от звезд сходящий,
Но к звездам поднимающийся свет.

К. Померанцев.

БОЛЬШОЙ ГОРОД

Посв. Е. А. Б.

Я приехал в этот город осенью. Ветер сильный и крепкий непрерывно мчался вдоль улиц, невидимый океан угадывался с трех сторон (город стоял на мысу); там лежал он, в порту, в доках, вместе с крейсерами и торговыми гигантами, и оттуда слал на город дождь и ураганы. Разорванное в клочья небо, утренние тяжелые, лежащие на крышах туманы, и люди, люди, люди.

Я остановился в гостинице, в нижнем городе, словно не мог еще решиться на то, чтобы подняться выше, словно собирался еще, может быть, вернуться туда, откуда приехал. Коридорный был одорукий, с большой медалью, качавшейся на груди. Медаль была за спасение погибающих. Каких именно? — всё собирался я спросить его. Но у меня стало сразу так много дел и забот, что я не успел этого сделать. Каких погибающих? И если обыкновенных, вроде меня, то как именно он это делал? Но не было минуты, чтобы спокойно задать ему этот вопрос: я искал работу, искал пристанище, денег было в обрез, время бежало и незнакомое марево вокруг меня, казалось, ничего общего не имеет со всей моей прежней жизнью и судьбой.

Для таких, как я, существуют чердаки и подвалы. Я прежде всего решил найти себе комнату. Долго ходил я по переулкам нижнего города, пока не увидел бумажку: «сдается комната».

— Берите хоть весь дом, — сказал мне дворник, и подвел меня к соседнему четырехэтажному зданию, подпертому толстыми бревнами по фасаду. — Спокойно проживете до лета, а летом его снесут.

Я отказался, главным образом потому, что в окнах не было ни одного стекла. Дыру в потолке первого этажа, через

которую виднелись веселые и грязные обои второго, можно было легко заделать. Выходя, я вспомнил обрывок каких-то стихов:

Хочу туда,
Где скрипкой забивают гвозди в стену
И флейтой топят вечером камин, —

т. е. я почувствовал себя на мгновение не то скрипкой, не то флейтой... Хорошо, что никто не узнал о том, что мне стало жаль себя.

Другая комната, куда я попал под вечер, была вся в крестоне — огромные зеленые цветы и розовые листья. Две кровати были покрыты им. Небольшого роста женщина, сложив руки высоко на груди, словно собираясь что-то пропеть, сказала, указывая на одну из двух кроватей:

— А вот тут я сама сплю.

Прежде чем это сказать, она умильно и даже как-то смиренно посмотрела на меня.

Я поклонился и вышел.

Зеленые цветы и розовые листья, и окно, выходящее на уровень улицы, и дождь, пошедший вдруг совершенно прямо и очень сильно, — не с заискивающей, танцующей косизной, а с уверенным звуком: во всё ударю, всё передавлю, — таким был этот вечер для меня. Но нельзя, нельзя, нельзя унывать, — говорил я себе, — скрипка ты, или флейта, или барабан, в который судьба бьет уже лет двадцать, — унывать воспрещается. Плевать на пол воспрещается. Разговаривать с вагоновожатым тоже воспрещается, — да и что ты можешь услышать от этого незнакомого человека? И высовываться из окна тоже не приведет тебя ни к чему хорошему. «Pericoloso sporgersi».

На следующее утро я отправился в верхний город.

На десятом, пятнадцатом, двадцатом этаже громадных домов, под крышей, иногда сдаются дешево крошечные клетушки. Внизу идет жизнь: возносятся лифты, лают собаки, звонят телефоны, пахнет духами; люди, живущие в просторных, теплых квартирах, играют в какую-то игру. А под крышей идет

коридор вокруг всего дома, смотрящего на четыре улицы, и двери с номерами тесно одна подле другой: 283, 284, 285, потом вдруг почему-то 16, 17 и опять, в тишине почти уже туч, — 77, 78, 79, площадка, поворот, «черный» лифт уносится вниз с чьими-то сундуками, мусорный ящик, как Царь-колокол с неотбитым куском, лампочка горит, коридор впереди — сто сажен. Пожарный кран, кишка, лазейка на крышу, в которую, если ночью ее приоткрыть, ворвется мрак в звездах, холод грядущих дней и ночей, всё тот же осенний ветер, всё тот же близкий океан, кольцом гудящий вокруг города, и грохот улиц, где-то внизу, огненный, непрерывный грохот.

Заплатив за неделю вперед, я переехал в тот же вечер. Я запер дверь. Я не себя запер в комнате, я собирался мир запереть от себя. И вот другой мир, во много раз больше первого, возник во мне самом, здесь, в этих четырех стенах. В этом мире тоже были: океан, город, небо, люди, без конца идущие мимо меня, дождь и ветер; но кроме того еще — память о путешествии, о солнце, об одном итальянском городке, где мы еще недавно жили с тобой, о благоуханном берегу, мимо которого вечерами шли увешанные фонариками игрушечные корабли, а розовый пар стоял над старым, как вселенная, вулканом. Сначала ты думала, что пальмы, стоящие в кадках, в саду отеля, искусственные, но однажды утром, с легким треском, распустился на одной из них цветок. Ты опустила на колени пеструю книжку, которую читала — историю городка. В ней рассказывалось, что Тассо родился и жил в нем, и был на обложке изображен его памятник — в хламиде и лавровом венке. Местное производство деревянных шкатулок с инкрустациями поместило в книжке цветное объявление. Цены в гостиницах были обозначены с большой тщательностью... Помню первую фразу, с которой начиналась книжка: «По последней переписи, произведенной в 19.. году, С. насчитывает 3656 жителей». Ты опустила книжку и с удивлением посмотрела на раскрывшийся цветок.

Всё это было мое, нужное только мне, любимое только мной, живое только для меня. То, что принадлежало всем, я

старался запереть. Издалека доносился его гул и грохот, но его можно было не слушать. Умывшись и съев кусок сыра, хлеб и яблоко, я лег на узкую, жесткую, но чистую постель, и вдруг в эту комнату, сквозь незанавешенное окно, стали струиться какие-то отсветы, — на меня, на всё вокруг.

В умывальнике отразился красный шпиль далекого небоскреба, голубой огонь упал на стекло моих часов. Замок двери заиграл чем-то оранжевым, потолок внезапно оказался прорезанным длинным лучом и что-то мерцало в углу, — я не сразу догадался, что это были пуговицы моей, брошенной на стул, куртки. Словно из стены в стену проплыл надо мной аэроплан, едва не задев меня пропеллером, четкий малиновый круг пробежал по потолку (это с далеким звоном где-то промчались пожарные) и Бог весть сколько раз отразился он прежде, чем мелькнуть у меня в глазах. Лиловая искра, перед тем, как уйти в стакан и там остаться, несколько мгновений пролежала у меня на груди. Я почувствовал тогда, что несмотря на то, что я поселился на восемнадцатом этаже, весь город бежит по моим плечам, лицу и рукам, что улица проходит не где-то внизу, а здесь, по мне и сквозь меня, и мигает мне в глаза десятками отсветов.

Проснувшись после полудня, я увидел, что комнату надо выкрасить. Я оделся и вышел в коридор, запер дверь, на которой была цифра 199, и вызвал лифт. Это был «черный» лифт, на который я только и имел право. Человек в серой ливрейной куртке и потрепанных брюках вежливо поздоровался со мной. Я спросил, не мог ли бы я, не беспокоя его, спускаться и подниматься самостоятельно. Он сказал, что это совершенно невозможно, но что я могу, если хочу, пользоваться еще двумя другими лифтами, в конце коридора, там, где стоят мусорные ящики.

— Какой большой дом, — сказал я, когда мы полетели вниз. — В нем наверно подъездов двадцать.

— Двадцать четыре подъезда, — сказал он, — сорок два лифта и 3656 жителей.

— Ровно 3656? — вскричал я: эта цифра напомнила мне расцветшую пальму.

— Так точно, — ответил он.

Прежде чем купить краску и кисть, я довольно долго ходил по улицам. Неделю тому назад я приехал сюда и уже многое начинал понимать, о многом догадываться. Разнообразие лиц, мелькавших мне навстречу, поразило меня. В этом городе не было большинства — все люди были особенные. Это было его отличием от городов, виденных мною когда-либо. И что было всего удивительнее, это то, что я не мог ни на секунду забыть, что все эти миллионы женщин и мужчин проделали тот же путь, что и я, — или их отцы... или их деды... Отсутствие большинства и равенство в прошлом, и еще одно обстоятельство, странно поразившее меня. Но о нем я скажу позже.

Я купил краску и кисть, вернулся к себе и начал красить в бледнозеленый цвет серую дверь, и сейчас же начал петь. Краска ложилась ровно, пахло олифой; стараясь не закапать пол и себя, я красил и пел. Мне начинало казаться, что здесь возможно будет жить, что я в этой комнате — один из 3656 жителей этого дома — на своем месте, и что после первой ночи, проведенной здесь, что-то заползло в меня, наполнило меня, легло со мной в постель и вот теперь бьется в моих жилах.

Я красил и пел, и думал, между прочим, о том, что если бы ты была со мною, то стояла бы рядом и говорила: неужели нет фартука, чтобы надеть, замажешься, единственные брюки испортишь! И вдруг, словно в отместку за эту мысль, я положил себе на колено длинную, красивую каплю, напоминающую формой листок ивы.

Я долго тер, пятно не сходило. Я бросил петь и растерянно царапал ногтем истончившуюся за долгие годы материю. Пятно увеличилось вдвое. Оно теперь было огромное, сухое, белое. И внезапно я вспомнил, что когда ходил днем за краской, то видел маляров, что-то красивших на лестнице, в конце коридора. У маляров, по моим понятиям, должен был быть скипидар.

«Возможно, что у здешних маляров, — сказал я себе, вытирая кисть, приглаживая волосы, — имеется даже не скипидар, но что-нибудь более усовершенствованное». Кстати: о скипидаре. С ним связано мое первое детское воспоминание, и у меня к скипидару на всю жизнь осталось особенное, и несколько странное чувство.

Мне не было еще трех лет. Однажды вечером обнаружилась у меня простуда. Мать (совсем молодая и всегда веселая) побежала в аптеку и дала мне вкусное, сладкое лекарство. Его надо было давать каждые четыре часа — от кашля. Ночью я проснулся и увидел, что румяная от сна, улыбающаяся, надо мной стоит мать, в длинной белой сорочке, обшитой кружевом, и протягивает мне полную ложку. Я глотнул сладкое, вкусное, задержав его предварительно на секунду во рту, и вдруг увидел, что видение с пустой ложкой в руке исчезает, тает... это был обморок: мать лежала на полу без сознания, поняв, что дала мне не лекарство, а скипидар, которым меня перед сном натирали.

Уснуть мне не дали. Доктор стоял надо мной, как высокая башня, и пытал меня: обожгло? болит? Поили горячим молоком... «Было очень вкусно, — сказал я, — дай еще». Если бы я не боялся быть ложно понятым, я бы сказал, что воспоминание о проглоченном скипидаре дало некий привкус всей моей жизни.

Наскоро приведя себя в порядок и застегнув рубашку на верхнюю пуговицу, я вышел, запер дверь и пошел влево, туда, где был выход: (198, 197 — двери все были одинаковые. Около 155-ой коридор поворачивал, и там были номера 12-ый, 13-ый, 14-ый. Действительно, на широкой площадке, где стояли громадные, сухие швабры, два маляра, негр и белый, широкими кистями гладили стену, и выходило ровно и хорошо, без всякого пения.

— Простите, — сказал я, — нельзя ли скипидару немножко. Я вот тут... нечаянно...

И я показал на пятно.

Негр и белый, оба посмотрели на меня, на пятно, и отвер-

нулись, продолжая ловко и равномерно оглаживать каждый свой угол.

— Скипидару, пожалуйста, — повторил я.

Негр потянул носом.

— Вот что, господин, — сказал он, будто вовсе ко мне и не обращался, — в комнате 274 живет человек, у которого есть то, что вам надо, так нам приходилось слышать, а у нас никакого скипидара нет. Правду я говорю?

Белый издал звук, в котором было сочувствие.

— Там живет человек, у которого несомненно бывает иногда то, что вам надо, так нам удалось однажды узнать, — продолжал негр, — и вот поэтому, скажу вам, идите к нему и стучите в дверь изо всей силы. Там вы найдете скипидар, если то, что нам сказали, верно. Правду я говорю?

Опять белый издал сочувственный звук и мне показалось, что всё это могло быть действительно правдой. Я поблагодарил и пошел дальше. Коридор скоро завернул еще раз, — он несомненно обегал вокруг всего здания.

Сколько раз я заворачивал вместе с ним, я уже не помню. Я искал дверь 274. Один раз мне показалось, что я нашел ее: замелькало 271, 272, 273, но потом сразу опять начались однозначные цифры. Я догадывался, что когда-нибудь таким образом я могу дойти и до своей комнаты, но когда? И что еще ожидает меня до этого?

В потолке горели лампочки. Время от времени за дверьми слышались то здесь, то там, звуки: бежала вода, кто-то спорил, шила швейная машинка; молоток бил по гвоздю. Заплакал ребенок. Прошло по моим расчетам не менее четверти часа, я всё шел и шел, и внезапно я уперся в тупик, точнее — в лестницу, которая винтом спускалась вниз. Я заглянул, перегнувшись через перила. И меня потянуло вниз.

То, что я увидел, ошеломило меня. Это была крытая улица, с магазинами, конторами, фонарями, почтовыми ящиками, чистильщиками сапог — только автомобилей не было, и шарканье ног по каменным плитам звуком напоминало тот небольшой итальянский городок, в котором... Но это не относится к

делу. Теперь, когда я ко всему привык и знаю, что в громадных домах этого города иногда, на одном из верхних этажей, устраивают нечто вроде улицы, я решительно не вижу ничего странного в том, что, для удобства живущих в доме, подо мной открыто почтовое отделение, торгует табачная лавка, парикмахер, сапожник, аптекарь и пекарь открыли свои заведения. Но в тот первый раз мне показалось всё это фантастическим сном, на минуту я усомнился, что сам снял комнату на 18-ом, а не на первом этаже... Но потолок ясно дал мне понять, что я нахожусь не на улице, а в доме; перед витриной книжного ларя стояла девочка, почесывая макушку; толстяк, развалившись в кресле, смотрел на то, как ему начищают башмак. Из магазина радио неслись звуки какой-то песенки и пахло пирожками из маленькой, голубой кондитерской.

Я не прошел, а пробежал всю эту улицу. Лавки чередовались с конторами; я заметил вывеску зубного врача. Здесь продавались дома и земли, прерии, берега рек и озер; там была контора для найма прислуги. Круглые фонари висели на чугунных кольцах, почтальон пробежал мимо меня, две женщины, тараторя и смеясь, заглянули мне в лицо. И внезапно опять передо мной была витая лестница — та ли, другая ли, я не мог распознать, но я взбежал по ней. Взбежал и узнал знакомый ряд дверей, мимо которого быстрым шагом пошел, читая цифры.

Минут через десять я начал замечать какое-то приближение нужной мне двери: номера шли теперь в обратном порядке: 277, 276, 275. Наконец-то! 274-ая дверь, ничем не отличающаяся от других дверей, была передо мною. Единственное ее отличие было то, что она была полуоткрыта.

Осторожно стукнув в косяк, я перевел дух. Ответа не последовало. Я стукнул еще раз и тихонько вошел. Комната, раз в два больше моей, была вся заставлена мебелью, а одно кресло было даже поставлено на шкаф. Из этого шкафа, открытого настежь, выпадали какие-то куски старых материй, видимо, мебельных, под самым потолком висели картины. На одной был изобразен корабль, плывущий на всех парусах по бурно-

му морю. В углу были навалены старые подрамники. Среди рухляди, стоял мраморный бюст какого-то римлянина. Всю правую стену занимал диван, широкий, старый, крытый клетчатой шотландской материей, а на нем, спокойно, в уютной позе, будто поджидая кого-то, сидел хозяин этой комнаты, человек лет под шестьдесят, и улыбался. Лицо его было приятно, когда-то красиво, но черты обрюзгли и глаза заплыли немного, темные, большие, несколько печальные и добрые глаза, умные глаза, под тяжелыми темными веками, на мягком и добром лице. Волосы его были в беспорядке и длиннее, чем носят обыкновенно. На нем был старый, очень старый, просторный пиджак, ноги были в туфлях. Я опять взглянул ему в лицо и слегка поклонился.

— Простите, — сказал я, почти не робея, хотя в это мгновение мой приход показался мне самому несколько странным, — мне сказали маляры, они там работают, про скипидар... Вы вероятно, художник? Вот тут пятно, и я бы хотел...

Продолжая спокойно и уютно улыбаться, он достал с полки какую-то бутыль. «Как удивительно живут люди, — подумал я, — и все по разному. Особенно днем. А ночью, наверное, и сюда добираются всякие светы...».

Человек намочил чистую тряпку скипидаром и, нагнувшись с легким кряхтеньем, потер мне колено. Знакомый запах защипал мне ноздри. Доктор тогда стоял, как башня, надо мной, в черном небе блестели его очки и тучей неслась борода. «Очень странно», — сердито сказал он, и, в который раз, пожал плечами. А мать, накинув какую-то юбку, держалась за стену, чтобы не упасть вторично. Я никогда потом не видел ее такой серьезной. «Совершенно непонятно. Какой-то чугунный ребенок!...». Я сидел на постели и жадно смотрел, не будет ли второй ложки? «Котик мой, ципочка, сладуля! Вытошни! Родной!» — умоляла мать. Я мотал головой. Я даже не понимал спросонья, чего это она у меня так униженно просит.

С легким кряхтеньем, человек выпрямился. Пятно пропало.

— Что же вам сказали маляры?

— Сказали: стучите изо всей силы!

— Вот дураки!

— А у вас дверь была открыта.

— Это они острили. Я ее никогда не закрываю. Так, когда кому-нибудь нужно, входят.

— А ночью?

— Ночью прикрываю.

— А окошко ваше куда выходит? Можно взглянуть?

Пока я пробирался к окну, он сказал:

— Только я не художник, а рамочник и обойщик.

Я взглянул в окно и увидел уже мне знакомые крыши и небоскребы. В сумерках раннего вечера всюду горели огни, сверкали рекламы, красный шпиль, мой малиновый ночной друг, уходил в ясное, высокое, чистое небо, прямо передо мною; над ним летел аэроплан с голубой звездой на хвосте, и мигало, и билось какое-то слово, далеко за мостом.

— Взгляните в бинокль, — сказал человек, подавая мне тяжелый, старый инструмент на ремне. — Чудный вид! Вон там, между этими двумя трубами, можно иногда разглядеть море, а правее бывает виден зоологический сад.

Я приложил бинокль к глазам, покрутил колесико, потом другое. И вдруг в освещенном окне, висевшем передо мною в небе, на расстоянии квартала, я увидел комнату и двух мальчиков в ней. Они стояли у стола, у каждого в руках был нож. Оба только что ранили себя в руку и старались капнуть кровью на лежащий перед ними лист бумаги. На голове у одного был пернатый шлем, у другого — сдвинутая на лоб мексиканская маска. Я взглянул выше. Какая-то женщина пыталась открыть запертый ящик высокой, узкой этажерки, подбирая ключ, она страшно торопилась, а в левом углу комнаты, неслышный мне, но явственно видный, играл граммофон — кружилась пластинка.

В соседнем окне какая-то туша, завернутая в меховую шубу, лежала на диване, а вокруг нее уныло бродила собака — печальная, изящная, породистая борзая, которая вдруг вздрогнула, и взглянула в окно, так что наши глаза как-будто даже встретились на минутку.

— Это что же за бинокль такой? — проговорил я, проглатывая набежавшую слюну. — Это что же такое?

Человек улыбнулся мне доверчиво и ласково:

— Это что! Бывает и лучше. Я однажды держал в руках штуку, в которую, говорят, один немец в сорок втором году Петербург видел, а потом, через год, Хеопсову пирамиду.

Я взглянул опять. Мальчики расписывались кровью, собака, как каменная, смотрела на меня, грамофонная пластинка вертелась. Этажом ниже шел класс черчения, еще ниже две пары танцевали в полумраке, а левей, там, где кончался фасад далекого дома, в пролете, сверкал огнями в порту белый пароход, уходивший в море. Темно-синяя вода переливалась сиреневыми отсветами, черный дым оставался висеть неподвижно, и за ним едва угадывался плоский остров с высокой радиовышкой (не ее ли зеленый глаз ночевал у меня на плече вчера?). Плоский остров мутнел, а за ним уже открывался настоящий, бескрайний океан.

Я нагнулся немного, и вот, далеко-далеко, под оголенными деревьями еще неведомого мне парка, где белые, круглые шары-фонари сияли сотнями свечей, в осенней мгле я увидел диковинных зверей за решетками клеток. Я увидел, как сторож делал тигру знак, чтобы он вошел в маленькую низкую дверь, и он вошел, и дверь опустилась. А на усыпанной песком площадке задумчивый двугорбый верблюд положил маленькую лохматую голову на спину другого.

Большая, тяжелая рука опустилась на мое плечо. Я опомнился. «Сейчас он меня попросит уйти отсюда», — подумал я.

— Это очень увлекательное занятие, — сказал человек и близко я увидел теперь его темно-карие, усталые глаза и не густые, но широкие брови, с мелькающей в них сединой. — Можно смотреть и смотреть, пока в глазах не зарябит. Я теперь этим не занимаюсь. Иногда разве что ночью, когда не спится, если у кого окна не занавешены.

«Может быть, он и меня видел вчера из этого окна?» подумал я в ту минуту. — Возможно ли это? Нет, конечно,

никак невозможно: нельзя увидеть того, что делается в нашем же доме».

— А вы не присядете?

За моей спиной оказался стул, засветилась лампа, передо мной появился стакан. И беседа потекла так, точно мы были давно знакомы, обо всем понемногу: о красоте и величии этого большого города, и о том, где искать работу, и как пользоваться телефонной будкой у лифта, и где покупать хлеб и молоко, — какие-то драгоценные слова о ничтожных вещах, — я никогда не знал, что я люблю драгоценные слова о ничтожных вещах, и тихий голос, и большую руку, наливающую мне вино, и внимательное выражение, с которым он слушал меня. Мне было хорошо, мне было легко и тепло. Я сказал ему, что я счастлив, что познакомился с ним, что у него удивительный, необыкновенный, умопомрачительный бинокль, что если постараться, то и в него, я уверен, даже отсюда, можно разглядеть Хеопсову пирамиду.

И я опять подошел к окну.

Собаки больше не было. Мальчики ушли. Корабль, обогнув остров, вероятно давно уже шел полным ходом. Но кое-какие окна, каких как будто-бы не было раньше, зажигались то тут, то там. Я стал смотреть. В узкой комнате в потолке горела лампочка. Стоял стул, стол. Какое-то ведро. На кровати спал человек, — что-то знакомое было в нем. Нет, это только так показалось.

Медленно открылась дверь и вошла женщина, остановилась, взглянула, подошла к спящему. Ведро стояло полное светло-зеленой краски и поверх него мною была положена кисть. Ты подошла ко мне, и положила мне руку на грудь, свою худую, всегда прохладную руку, а через минуту сняла ее и опустила мне на глаза. На тебе было то самое платье, которое было в день моего отъезда, оно было длинно тебе, но времени не было заняться его переделкой и зашить у ворота, там, где оно распоролось по шву. Прядь волос твоих упала мне на лоб, ты поцеловала меня, ты заплакала. Ты была со мной. Ты говорила мне что-то. Это было наверное про «мы».

Ты и я всегда говорили «мы». Не «ты» — счастье с тобою, но «мы»; не когда переходят на «ты», а когда переходят на «мы». «Ты» можно увезти в разлуке на край света, а «мы» нельзя, оно ломается в тот час, когда расстанутся.

— Допейте ваше вино, — сказал человек, у которого я всё еще был в гостях. — Я уверен, что вы очень скоро устроитесь при вашей профессии, и вообще я вижу, что вы воспитанный человек, умеете держать себя в обществе.

— Простите, — сказал я, спешно пробираясь к выходу, — я слишком долго засиделся у вас и пришел, не будучи знаком, и сразу с просьбой. Не знаю, как вас благодарить...

— Вот видите, — улыбнулся он, — я же говорю, что вы воспитанный, вежливый человек. Заходите, я всегда буду вам рад. По субботам я зажигаю камин, приходит моя подруга; я скажу ей, чтобы она привела какую-нибудь свою знакомую барышню. Она молоденькая, кассиршей служит. А камин мы истопим старой арфой, — вон лежит в углу, я уже распилил ее надвое.

Я вышел в коридор. Дверь моя оказалась почти рядом. Она, конечно, была заперта, как я ее оставил. И внутри, конечно же, не горела лампочка — когда я уходил, было еще светло и мне незачем было зажигать ее.

И теперь я скажу про то наблюдение, которое я сделал, когда днем выходил за краской: мне стало ясно тогда, что в этот большой город каждый человек привез с собою, что мог: один привез тень Эльсинорского принца, другой — длинную тень испанского рыцаря; третий — профиль бессмертного дублинского семинариста; четвертый — какую-нибудь мечту, мысль, мелодию; полдневный жар какой-нибудь долины, воспоминание занесенной снегом могилы; божественного величия математическую формулу или перебор гитарных струн... И всё это растворилось на этом мысу и образовало ту жизнь, в которой я собираюсь отныне тоже принять участие. Вместе с тобой, которой со мною нет, но которая жива в этом воздухе, которым я дышу.

БЕРЛОГА

Попробуйте разыскать на многих квадратных верстах, взъерошенных дебрями, заваленных снегом, ничтожную скважину — окно в медвежью берлогу. С утра через чашу, колодник, кочкастые согры*, через талые родники, по снежным надувам крутых косогоров бродил я и Власыч. Уже на исходе короткий таежный день, уже Буска попрыгивает трусцой и скучно колышится его серый султан — пушистый хвост. Ни признака близости медведя мы не нашли.

Я сметаю корону снега, убелившую углистый пенёк и сажусь. Рядом со мной валится усталый Власыч. — «Ну, и ходьба», — ворчит он, — «лыжи, язвы его, чуть не сломал. Ночевать что-ль будем?» — Я решаю, что место удобное. Под рукой сухостойник, и топливо на ночевку добыть нетрудно. Откуда-то глянуло солнце, ответно вечерним огнем вздохнули снежные сосны и сразу потухли, будто слиняли. Толпа фиолетовых теней бесшумно вошла под деревья. Кончился день...

**
*

Звонко цокает острый топор. Стальным зубом выкусывает желтые, скипидарно-смолистые щепки. Я рублю дрожащую сушину — долгая у нас ночь, крепкий у нас холод. Хрупнула, хрустнула, затрещала, запела, ломаясь и шурша ветвями, тяжело и глухо ухнула в снег. Хватит дров для ночлега!

В своей шапке с ушами Власыч похож на унылого лягаша, бронзово-огненного от костра. Пока я рублю, он уже выжиг широкое кострище и мостит на нем толстый подстил из пихтовых веток — нашу постель.

* Согре — сибирское название болотистой равнины с ельником.

Плавающий огонь отбрасывает нависшую над ним тьму, а когда его побеждает тяжесть ночи — забивается в переплеты обугленных бревен и скалит раскаленные клыки... Чайник вскипел. Мы разделись, разулись, развалились в ароматной мягкости пихты. Нет усталости, нет заботы, неудачи — есть только всепроникающее блаженство отдыха, тепла и насыщения. Очень просто, в сущности, устроен человек. Чай, после такого дня — целая поэма! Особенно с маслом. Пьем — одинаково: отколупываем ножом янтарный, зернистый комок, стряхиваем его в деревянную чашку, наливаем черный, от снеговой воды и густого заvara, кипящий чай, обмакиваем сухари в растопленный слой масла, пока не вычерпаем его до конца, а потом едим размякший, теплый, как шаньга, масляный хлеб.

Буска давно уж свернулся серой подушкой у самого огня, спит, только острые уши не спят — сторожат. Власыч тянет к костру босые пятки, крючит пальцы, отпихивает собаку.

— Отодвинься, дурной, сгоришь...

Теперь — сон. Закурить, молча смотреть на искры мерцающих звезд и сладко дремать...

**
*

Мы опять на лыжах — давим хрустящий наст тропой на авось. И попережнему захвачены одной целью — медведем, и попережнему уверены, что отыщем его. Часы и версты... часы и версты... в ровном шуршании лыж, мимо лохматых трав, осахаренных снегом, вперескочку путанных заячьих петель.

— А теперь куда? — говорит Власыч.

Мы уткнулись в обрыв. Глубоко под нами спряталась в горы синяя падь и белый спуск, из-под ног убегающей лентой, тоненькой нитью дотягивается до дна лощины. Я воткнул свою лыжную палку по-тунгусски — «таяк» — и остановился.

— Тут и шею сломать просто, — говорит Власыч, — и медведя найти возможно...

Мною овладевает хорошее, приподнятое, воздушное чувство. Я тут же увязываю «юксы» — ремни на лыжах, поправляю шапку и весело предостерегаю:

— Смотри, на поторочину не наткнись...

Несколько секунд я качаюсь на узком перевале, на грани между площадкой и сумасшедшим полетом вниз. Но вот наклонились остроносые лыжи и скользко поплыли вперед. Мне в лицо глянуло далекое дно провала, мелькнули деревья, свистящий ветер окутал уши. Инстинктом вильнул от острой рогули; птицей перелетел, взял пригорок и, пригнувшись, забитый снегом, упруго замедляя, вкатился в горло пади.

Здесь — безмолвие. Всё — в долгой зимней дрёме. Запорошенные кусты, как застывшие облачка пара, и ели, точно из серо-зеленого камня резанные стрелы. Даже Власыч проникся этой тихой торжественностью и разговаривает вполголоса. Только Буска нетерпеливо смотрит на нас и хватает пастью снежные клочья. Склоны пади изъедены ямами от вывороченных, когда-то сгоревших лиственниц. В хмуром, заросшем ущелье удобное место для медвежьего логова. Мы путаемся в ветках, увязаем в сыпучих провалах, из сил выбывается собака.

— Завтра Рождество, — вспоминает Власыч, — поди, перепьются чалдоны...

Нас встревожил Буска: глубоко залез в нору под елью, и только его пушистый хвост колышется над снегом. Сдержнув ружье, забегаю сбоку, настороженно заглядываю. Мерзлая нора, защищенная хвоей, с выметенным песочным спуском. Но собака молчит. Вот вылезла, отряхнулась, равнодушно побежала: — пусто.

— Леший те задави, — ругается Власыч, — а ведь медведь по осени рыл!

И опять утомительная дорога вверх на выход из обманувшей пади. Ноги начинают уставать, всё чаще останавли-

ваемся на отдых. Власыч не разговаривает. Вдруг, оттуда, с солнечного подъема, где видно голубое небо, какой-то необычный звук.

Я замер. Еще и еще — точно тенькает затерявшийся колокол. Собачий лай! Это серьезно: на птицу Буска не лает. Переглянулся с Власычем и с забившимся сердцем — туда, на подъем. Мешают кусты, путают лыжи, душит одышка от быстрого хода — всё равно, лишь бы во время добежать.

Выбрались. Ровный, редкий бор — лай замолк. С дерева кометой падает снежная шапка и осыпается гарусом. Слушаем и дышать боимся. Взлаял пёс совсем недалеко — разглядели. Тут же за кустами на пригорке, словно полевую мышь прижал — носом в сугроб уставился Буска на снег и гневно и вызывающе лает.

Власыч, бледнея, — ружье с плеча.

— Тише, тише, не потревожь...

Лыжи долой — сунул я ногу — держит наст на надуве. Эх, пёс проклятый, заливается как! И у самого выхода из берлоги. Как его отманить? Согнувшись, подбираемся разными сторонами. Весь мир для меня сошелся сейчас на пухлом, снежном горбе, на немой загадке. Минута пройдет, а может быть и меньше, и взрывом взломится мертвая неподвижная корка и косматое чудище черной бурей вырвется из земли.

Дыбом поднялся загривок у пса. Увидел меня, совсем озверел. Роем лапами снег, сунется мордой и мячиком отлетает назад.

Ступнул на бугор — увидел дыру, поменьше тарелки, обледенелую от пара. Только руку занес — оттащить от жерла собаку — обезумевший Буска хапнул меня за рукав, а рядом с ногами мягко просела глубокая воронка. Оттаскиваю от ямы, вижу как дно ее пучится снежной кашей. И вдруг выстрелы — два раскатистых выстрела дымом кроют берлогу. Слышу, как Буска треплет остервенело кого-то в яме, а Власыч торопливо стучит — заряжает шомпольную

двустволку. Дым расходится. Неужели всё? Как будто бы — да. Добились, чего хотели, сокровище — наше и я кричу этому фартовому чорту Власычу:

— Ура! Убил, убил... ах, ты, старый хрен...

Насилу я выгнал Буску из рывины. Он долго отплеывал шерсть застрявшую в зубах. Власыч сам не свой. Прыгает, как журавль на току, и в радости, забыв разделяющее нас служебное положение, хлопает меня по плечам, поздравляет.

Живо снимается опояска — веревка, Власыч спускается в яму. Припал на корточки, увязывает. Встал, бросает мне конец веревки.

— Тащите!

Я сверху, он снизу и... из отверстия вытягивается мертвая голова медвеженка. А в следующее мгновение резко лопается веревка, навзничь затылком, мне в ноги, опрокидывается Власыч и громадная, лобастая башка с прижатыми ушами, яростно фыркая, вырывается из берлоги.

Я тянусь наведенным ружьем, и на мушке мелькают ноги Власыча, откуда-то взявшийся Буска и бешено мечущаяся медведица, по-плечи застрявшая между стенками выхода и убитым детенышем. Я ловлю на блестящую мушку своего штуцера, в крутящемся снеге, коричневый лоб и стреляю в меж-глазницу. Кордитный патрон моего Голанд-Голанда делает дело... покорно ложится огромная голова, и только широкая лапа судорожно гребет снег...

Редким столбом поднимается дым из обваленной берлоги и с недоуменной, молчаливой улыбкой выкарабкивается оттуда Власыч...

Игорь Красуский

ТЕМНАЯ СОВЕСТЬ

В нашем городе жил святой. Но прежде надо рассказать, что это был за город.

Далеко в Сибири, за Байкалом, повелел его основать наш великий любитель строить — Царь Петр Алексеевич. Были у него, очевидно, какие-то особые планы и намерения относительно этого города. Крестиком обозначил местоположение при слиянии двух рек, где городу стоять, и стали по его приказу возводить здания: собор большой, двухэтажный, домов огромных каменных с полдюжины и гигантскую, как крепость, тюрьму, «острог», как тогда называли. Но царь умер, а преемники его городом этим уже не интересовались. Достроилось начатое, да так и осталось. И стал город, как карлик, мал, но стар; не рос, не развивался.

В городах непременно появляются купцы. Наши купцы торговали с бурятами. Тогда это было и легко и выгодно. Богатели купцы. Стал наш город богатым.

Не все, конечно, были богаты, но и бедным приходилось не так уж плохо. По-настоящему никто не голодал. Жили люди с удовольствием, и всем хотелось жить подольше.

Не то, чтоб как-то особенно были хороши отдельные лица, или очаровательны взаимоотношения, или необычайны события, — скорее наоборот, — нет, жизнь сама по себе имела какой-то увлекающий ритм. Она текла по руслу мира; она не была страшна; чувство жизни было легко, как медленный задумчивый полет куда-то, к тому, чего желало сердце, полет прелестный, без спеха, без точно означенной цели.

Но это радостное ощущение жизни приходило извне, от природы, от тысячелетних лесов, от тех вековых ароматных кедров и елей, что окружали город, от прозрачных вод реки, от островов, весной превращавшихся в сплошные букеты

душистой черемухи. Из этой, тогда еще никем не тронутой природы и лилась ее таинственная сила, дававшая здоровье и радость. Человек же, поскольку мог, всё это портил.

Дух города был коммерческий, тяжелой хватки. Четыре простых арифметических действия регулировали все гражданские отношения.

Пустым стоял собор и еще три больших каменных церкви. К религии относились совсем равнодушно. Говели раз лет в десять, а то и в двадцать, и то преимущественно женщины, да и те подчас потому, что к говенью шилось новое платье, по обычаю из тяжелой тафты или переливчатого шелка, сверху набрасывалась самая парадная шаль и надевались все золотые украшения, какими только владела причастница. Так рядиться больше никуда не полагалось. Из таинств церковных безусловно соблюдалось одно только крещение. Пары жили «невенчаны» по двадцать лет, а потом казалось даже как-то неловко венчаться, «вроде, как молодые». Часто состарившаяся застенчивая жена отказывалась именно по этой причине. В церковь ходили в большие праздники и обязательно в царские дни, потому что полагался парад. Военный оркестр тогда был единственной музыкой, известной городу. Играла, конечно, и «гармонь», но ей местожительство было в деревне.

Внешний мир?

Весной прилетали к нам птицы, гости из Индии. Иногда проносилась волна горячего ветра с песком — из Монголии, из пустыни Гоби. Иногда приходила почта — из России. Раз в год бывала ярмарка. Еще реже заезжал какой-либо гость, семья из Украины — на поселение, одинокий поляк — «политический» — в ссылку. Железная дорога тогда еще не дошла до нашего города, да и приближение ее никого не волновало. Город жил, не зная гудков, свистков, дыма и пара, каменноугольной пыли, гостиниц, носильщиков, суматохи.

Воздух был светел, и небо сине. Снега глубоки, горы высоки, реки прозрачны. Жизнь казалась отлитой в немудрую форму Творцом, раз навсегда, нерушимо.

И был в нашем городе «святой». Все его знали. Ежедневно ходил он в церковь и к утренней и к вечерней службе. Говорили, что за двадцать пять лет не пропустил ни одной. Соборный отец протопоп подтверждал это, да и жители все были свидетелями, как шествовал он в собор и из собора — высокий, мощный, тяжелый и темный. Он был совершенно слепой; «темная вода», как тогда говорили. Водил его поводырь, мальчишка из бедных, и эта личность часто менялась: служба была нелегкая. К мальчишке предъявлялись строгие требования, а рядовой мальчишка, как известно, этого не любит. Впрочем, требования эти касались исключительно внешности, но и это для мальчишки довольно несносно. И как ни заманчивы были условия: выдавался костюм (рубашка сатиновая, штанишки из плиса, сапожки, поясок, гребешок) и две копейки в день (не говоря уже о куске пирога в воскресенье), редкий мальчишка выдерживал даже полгода. Он «сбегал», перенося героически следствия этого: упреки матери и побои отца. Нанимали другого мальчишку (выбор всегда был), чтоб по величине подходил к костюму, так что поводырь у «святого» хоть разнился лицом, был всегда одного и того же размера.

Что же гнало мальчишек прочь от «святого»?

Неподвижное стояние в церкви было свыше сил. В нерелигиозном городе детей не учили пониманию церковной службы. Единственно, что местные мальчишки постоянно слышали о Боге, это — что их «накажет Бог», небесная полицейская сила. А кто же, где и когда любил полицию, если он сам не состоял в ней на службе? Даже увлекательный момент профессии — шествие по городу — не мог вознаградить ее тяжкую часть. Шли же так: впереди поводырь. На плече у него конец палки, за который он держится рукой; другой конец палки в руке «святого». Шли медленно, всем на посмотрение. На некотором расстоянии шествовала «шайка», то-есть друзья-приятели поводыря, обмениваясь не только наблюдениями и комментариями, но нередко толчком и подножкой. Не то, чтобы мальчишки эти были какими-то особенными циниками, нет, они лишь отражали

дух города. Из всех человеческих чувств благоговение наименее понятно сибиряку.

Ждали, когда выйдет поводырь уже в своем собственном платье. Созерцали его заработанные две копейки. Иногда, впад в искушение, поводырь тратил их тут же на угощение «шайки», а уж домой потом шел уныло, один, чтоб стать лицом к лицу с возмездием за проступок.

Немудрено, что в таком городе Парамон Михайлович Синицын голосом горожан был канонизирован при жизни. И имя и отчество его постепенно забывались. «Святой» стало его имя и утвердилось за ним, так что и псаломщик, и дьячек, и сам церковный староста так его и в глаза и за глаза называли.

— Погодите, — обнадеживал косоглазый дьячек, — как помрет, свои мощи у нас будут!

— Чудеса, поди, мертвый-то станет творить, — размышлял псаломщик — и оба втайне думали:

— Помирал бы скорей. Интересно.

Желающим старожилы могли рассказать «житие».

«Втапоры», — начинался рассказ, — с Ленских приисков народ шел с золотом. Золотой песок зашивали в одежду, как подкладку. Специалисты их грабили. «Втапоры» жил Парамон Синицын на заимке, тут же, за городом. Жена у него была и сыночкой двое. Человек он был бедный.

Раз вечером постучался прохожий, просился переночевать. «Втапоры» не водилось в Сибири спрашивать: кто таков? куда идешь? Но тут дело было ясное: шел человек с золотом; и ноги у него заплетались, да и одежда обвисла.

Ночевать пустили. Подсыпал Парамон, чего следует, в пищу, и заснул прохожий мертвым сном. Парамон с женой взялись за работу и ребятишек разбудили помогать. Сняли со спящего одежду, распорол, высыпали золотой песок, взвесили, насыпали столько же простого песку, зашили одежду, всё, как раньше было, и опять надели ее на спящего.

Утром прохожий встал, тут же ощупал свою одежду, поблагодарил хозяина и ушел.

А дня через два он вернулся, и произошло страшное дело.

Прохожий плакал, на колени падал, бил себя кулаком в грудь, прося вернуть золото. А Парамон с женою клялись и божились, что знать ничего не знают, а если и подменили золото, то не у них.

— Веди полицию! Ищи, обыскивай, если не веришь!

Парамон был огромный мужик, славился силою. Путник был в конец изнурен и тяжкой жизнью на приисках, и долгим путем, и теперь своим горем. Драки не было.

Но прохожий потребовал:

— Клади правую руку на образ. Клянись страшною клятвой.

И Парамон поклялся:

— Если я взял твое золото — ослепни глаза мои!

И стало тускнеть у него в глазах. Туманом заволакивался уходящий прохожий, неба не видно было в открытую дверь, дом постепенно погружался во тьму. И ослеп Парамон. Золота же, однако, не отдал.

II

Отсюда и начинается «житие».

Парамон оказался на высоте своего трудного положения. Не растерялся, не испугался. И мучений совести не было: человека он не убил, а что «маленько пограбил», то не попадйся, голубь, с золотом под руку. А что ослеп, того и ждать надо было: Бог-то, ведь, всё видит. Слепотою же с Богом и расплатился, а если что еще там греха и осталось — отмолить можно. Лечить же глаза он и не подумал: грех с Богом лукавить; с Богом за богатство надо честно рассчитаться. Про глаза люди говорили — «темная вода» — ну, и пушай!

Он установил для себя закон и держался его нерушимо: всю жизнь, до самой смерти, обещался ходить в собор на все церковные службы, не пропуская ни единой. Именно этим он и поразил воображение сограждан: таких молельщиков доселе в городе не было, ну, а грешники-то случались и похуже.

И семья Парамона оказалась на высоте положения, то есть жена и старший сын Карп; младший же — Павел — был еще «совсем парнишка», и от него, пока, ничего и не требовалось.

Переехали в город. Купили дом; в рядах купили лавку. И во всем везло. Множилось богатство. Народ валил в лавку. Тогда вывесок еще не было, по рядам шли покупатели, заглядывая и спрашивая, тут ли. Карп и обмеривал и обвешивал, жена Парамонова за кассой обсчитывала, но делалось это с такой любовью к покупателю, такие высказывались ему пожелания здоровья за каждой покупкой, такой живой интерес выражался ко всем его жизненным обстоятельствам, что покупатель уходил красным и вспотевшим от удовольствия. Сам же «святой» в лавку и не заходил даже, говаривал, что и не знает, где это она находится, ибо — «мирское это дело». Он из дома руководил советом и «наблюдал» барыши.

А когда ясно стало, что дело шло солидно, ширилось, богатели Синицыны, — Парамон ежегодно, «в день», поддерживаемый женою и сыном, «воздвигал» пудовую свечу в соборе, перед образами. Он был единственным в городе, кто ставил пудовую свечу. Для него она специально и выписывалась из монастыря из Иркутска. Собирался народ глядеть на пудовую свечку. Завидовали. Старушки истово вздыхали: «всякому бы лестно!».

Началась дружба с соборным отцом протопопом, с купцами, кто поважнее, с высшими чинами местной полиции, и даже с самим господином воинским начальником.

После первых десяти лет хождения в церковь Парамон знал наизусть и обычные церковные службы и кое-что из Писания. Любил и желающим толковать непонятное. За службой следил строго, замедлений в подаче возгласов не терпел, случалось, что — в негодовании — и сам за дьякона громко, на всю церковь «возглашал» должное. А если псаломщик, читая на клиросе, пропускал или сглатывал какое слово, то Парамон поправлял и сердито стучал палкой по каменному полу. Только отцу протопопу замечаний от него не было:

из уважения и по знакомству. С годами стал Парамон несколько даже и пророчествовать, но тут успеха большого не имел, не предвидел никому ничего хорошего: больным предсказывал смерть, беднякам — горе, а всем вообще: «погоди, хуже будет!» На пророчества спрос был небольшой. По слепоте Парамон никакой работы делать не мог, и главным занятием его сделалось судить человечество и мир. Судил назидательно и строго; выходило, что люди — грешники и кругом виноваты. Ему видней это было, ибо сказано: «Господь умудряет слепцы».

Между тем в личной жизни «святого» шли большие перемены. Надорвавшись в работе, умерла жена. В суете жизни она позабыла, что есть смерть, и до последней минуты о ней не думала: за полчаса до своего конца поднялась с постели.

— А ну-тко, сбегая, посижу за кассой! Как-то там Карп сдачу сдает!

Без хозяйки дом не стоит. Не то Парамону, не то Карпу надо жениться, взять кого для домашней работы, не прислугу же нанимать в самом деле! Но сына женить Парамон опасался: какая-то будет сноха, да еще и родня — обокрадут! Уж лучше самому жениться; жену легче держать в повиновении, чем сноху. Да и взять надо кого без родни.

Без родни в городе невесты не нашлось, но была в городе Катя. Жила она в пригороде, за рекою. У матери-вдовы был огород, этим они и существовали. Летом, рано по утру, бежала Катя с лукошком на голове, по улицам города, звонко покрикивая:

— Брюквы, капусты не надо-ли?

Особенно хороша была ее брюква. Сладкая, как сахар, слаще всех других брюкв. Были у Кати и другие замечательные свойства: она была как-то могущественно красива, чем-то напоминала природу Сибири — тайгу.

Была в ней какая-то глубокая ароматная свежесть, безболезненность жизни, бездумность и, вместе с тем, таинственная глубина, непостижимая, скрытая, своя внутренняя ра-

доть, какая-то своя, независимая жизнь, что-то от вечности. С нею больной забывал о болезни, трусливый — о страхе, хитрый о своих кознях. Радостное в человеке и беззаботное вдруг подымалось, просилось на свободу при одном ее появлении, при первых звуках ее голоса.

Парамон Михайлович частенько слышал Катин голос, выходя из собора от ранней обедни. Если хотелось брюквы, покупал исключительно у Кати. Не торговался.

Вот к Кате-то он и послал сваха.

Издаелека начала сваха: о дороговизне жизни.

— И как ты, вдова, живешь? Как управляешься?

Катина мать живо откликнулась на эту тему:

— Не говори, не спрашивай! Керосин — слыхала? — подорожал: восемь копеек фунт! а мне на зиму надо не меньше, как четыре фунта. А сейчас: сахару фунт, чаю осьмушка — ты считай, матушка, считай, — мыла опять же кусок, спичек коробок... эх, и вот горе! — Кате к зиме обутки!

Тут сваха стратегически двинулась к цели своего посещения:

— Про Катю, милая, не плачь, не сетуй, про Катю другой разговор будет, и заговорила о женихе.

Поняв, в чем дело, Катя ахнула.

— Да я... да за слепого... — и залилась слезами. — Да лучше в воду!

— Про воду погоди, успеешь! — прикрикнула мать. — Тут она, река-то, близко!

И стали над плачущей Катей мать и сваха, две Парки, и в один голос воскликнули: «Дура!»

— Не пойду! не пойду! — рыдала Катя.

— Не хочешь, ну, и не иди! — топнула мать. — И не иди! только помни, я тебе за это косы-то твои повыдеру.

— И не иди, — притворно сладко соглашалась и сваха. Уж чего-чего, а невесту богачу-то такому я сыщу. А ты пока в девках посиди: чего дождешься? Может, и молодой тебя возьмет, и любовь у вас будет, — да надолго-ли? Годок всего и погуляешь. А там рожать начнешь — и пропала любовь и

красота! Муж-то, конечно, как все, — пить будет. А, выпивши, бить тебя станет под пьяную руку.

Перебивала мать:

— Ой, правильно говоришь! Да и не пьяный, так, ни за что бить будет. По погоде. Плачь тогда, жалуйся! Ты, Катя, вспомни, как твой отец и меня и тебя бивал. Смертным боем! — пояснила она даже с какой-то гордостью в голосе.

Это помнила Катя. Сколько лет она — от этой памяти — и на могилу к отцу ходить боялась.

— И будешь ты копать на этом самом твоём огороде, — пела сваха — всю твою жизнь, а в дому детишки заревут-завоют, голодные. А ты работай да оглядывайся: не пьян ли муж, твое горе, домой идет.

— Ой, и тут твоя правда! — вырвалась мать. — А там и помрут которые детишки-то, а хоронить, как водится, не на что. А гробы и то в цене поднимаются. Пятерых схоронила, знаю!

— А тут-же, девушка, слушай, — сладко понизила голос сваха, даже глаза зажмуривая от представлявшейся ей картины великолепия: — дом-то какой! Камень! Не кирпич, девушка, твердый камень. Внутри-то что! В зале мебель «мявкая». Ковер с рисунком. Лампа — новый сорт — «молния». Картина в раме: павлин с хвостом. Зеркало — в полчеловека. И везде — фикусы. Эх, и дом! а еще же — лавка!

— А тут керосин восемь копеек фунт, — горячилась мать.

— Ну, керосин! — рукою отмахивалась сваха. — Керосин у них — бочкою, сахар — мешком, чай — цыбиком. Бери — не отчитывайся.

— Слушай, Катя, последнее мое слово, — топнула мать, — не пойдешь за него, помни, каждый день тебя бить буду!

— А наряжать он тебя начнет! — подхватила сваха. — К венцу — сам сказал — платье палевое муаровое, с шелковым кружевом; на летний престольный праздник — малинового шелку, на зимний — амарантовый бархат, как Бог свят! Ботинки — и не хром даже, шевро! На пуговках, на круглых.

А то и прыонель для лета. Босиком забудешь бегать. Тебе еще мало? Пить-есть — хоть до бесчувствия.

— Да он старый!

— Того лучше, рожать не будешь!

— Да он слепой!

— А тебе зачем глаза его? Ты свои береги. Твои бы были целы.

Колебалась и плакала Катя. У Катиной матери огнем пылали глаза:

— Подружки-то твои, босоногие! От зависти, поди, хворать будут! Стайкой побегут смотреть, как ты в палевом-муаровом к венцу пойдешь.

Ворковала сваха:

— Да и о лавке опять же надо подумать. Весь товар свой — собственный. Ты, поди, сладкое любишь?

— Люблю, — сверкнула Катя белоснежными зубами.

Врывалась мать:

— Не один товар, ты про деньги тоже думай: деньги-то всегда — богатство!

— А как тоска меня возьмет?

Тут, на минутку, замолкли Парки. Обе вздохнули.

— Ну что-ж, врать не буду, — честно согласилась сваха, — тоска возьмет, это уж само собой. Без тоски не прожить. Ну, ты про то помни, что в богатстве тосковать легче. Вот в бедности от тоски лекарства нет — запьешь разве или руки на себя наложишь. А в богатстве лекарство найдется. У окошка сядешь, кедровые орешки шелкать начнешь, на проходной народ, если кто случится, смотреть будешь. Не поможет, чаю с пастилой выпьешь. А то ротонду накинешь — и пошла погулять.

— Ротонду? — ахнула Катя.

— Как же! Сам сказал: «...и ротонду зеленую, под изумруд. Воротник — лисий, по плечам отделка — аграмант».

— Ей Богу? — вспыхнула Катя.

— Ей Богу.

— Сватай. Иду.

Опытная была сваха, ловко действовала. Добилась согласия на брак со «святым человеком». Кате было всего восемнадцать лет.

III

Как ветка ароматной ели, внесенная в душную, закоптелую комнату, вошла Катя в дом Парамона Синицына. С ней — как будто всегда было Рождество. С ней неразлучно было ощущение свежести, прелести жизни.

Природой Катя была задумана хорошо — честной. На удивление городу, из нее вышла заботливая, верная жена.

Пораздумав, «святой» взял в дом и вдову, Катину мать, в должность «стряпки», на кухню. Рассуждение было такое: если Матвевна что и стащит, всё тут же в доме останется, а после смерти ее пойдет Кате.

Но вдова и не думала красть. Натерпевшись в жизни, а теперь потрясенная изобилием, она рабской верностью платила хозяину, она «душу свою отводила» на кухне, и вскоре слава о пище в доме «святого» гремела в городе и окрестностях. Какие шаньги, пироги, оладьи, лепешки! И отец протопоп, и воинский начальник, и полицейская аристократия часть жизни своей теперь проводили у Парамона Михайловича, угощаясь и назидательно беседуя, сокрушаясь о грешном мире — между двумя блюдами.

Управляла же Матвеевна и домом и всем в доме, как губернатор, то-есть деятельно, представляя и осуществляя всяческую власть, но исключительно на одной своей территории, так как к деньгам и к лавке не подпускал ее хозяин.

— На то ты не обижайся, Матвеевна, — говаривал он. — Тебе же так легче. Искушение в деньгах-то!

— Понимаю, Парамон Михайлович, — отвечала вдова почтительно, — понимаю вашу мудрость.

И опять мирно катились дни «святого». Вдова следила за порядком и уютом, Катя веселила сердце, сын наживал богатство. Ему оставалось лишь молиться Богу, да наблюдать барыши.

Немного странным был этот старший сын, почтительный Карп. Наружностью походил на отца. Поведения был самого примерного: не пил, не курил, жениться не собирался, про дела свои коммерческие никому, кроме отца, не рассказывал. В уме же всё подсчет держал, что ему достанется, когда все помрут, и будет он единственный наследник. Предвиделась к тому полная возможность, ибо младший сын Павел постепенно «сходил с пути». Возлагал на него некие тайные надежды Парамон Михайлович. Задумал сделать его адвокатом. В коммерческом деле необходим адвокат. Был в городе частный поверенный Шохов, вел он кое-какие синицынские дела. И с болью в сердце платил ему гонорары Парамон Михайлович. Задумав сделать из Павла адвоката, отец учил его сначала в Иркутске, а потом в Томском университете. Результат же от всего этого вышел непредвиденный.

Ожидалось — будет Павел, как и Карп, сыном почтительным и благодарным, а вышло совсем иное. Не мог отец постигнуть причины.

Помнил Карп и ночь, как родители золото грабили, и он помогал, и как отец на образ поклялся и как ослеп — и вынес из всего этого вековечную благодарность отцу за богатство и почтительнейшее преклонение перед силою отцовского характера. И Павел видел всё то же самое, а вырос из него бунтарь с горькою обидой и ненавистью в сердце. К тому же он еще и пил запоем.

В университете льнул Павел к «политическим», но те не очень его принимали. Всё же на втором курсе — близко к 1905 году — удалось ему примкнуть к чему-то «политическому» и быть за то арестованным. Полиция выслала его к отцу на поселение и исправление, но исправиться Павел категорически отказывался. Отцу он грубил непомерно, вдову называл «рабой», как будто бы у нее и имени своего не было; над мачехой молча подсмеивался, а с братом Карпом никогда не разговаривал: между ними давно росла безмолвная, ядовитая ненависть.

— Благословения лишу! — угрожал отец.

— А мне благословение ваше ни к чему, — отвечал Павел дерзко. — Вы его для братца приберегите. Ему в коммерческих делах оно может сильно пригодиться.

В конце концов Парамон не выдержал: Павел был проклят и изгнан из отцовского дома.

Он прямо и пошел в кабак. Пил и кричал:

— Поджечь надо этот город! Город, где Парамон идет за святого, не имеет права на существование!

— А как же дом твой и лавка? — подзадаривали собутыльники.

— И дом чтоб сгорел, и лавка, вместе с родителями и домочадцами!

— А собор?

— И собор чтоб сгорел, и отец протопоп, полностью, со всем семейством!

— А воинский начальник?

— Воинского начальника повесить на каланче!

Побушевав, Павел ушел из города и исчез навеки.

Вскоре умерла и Катина мать. Умерла, как жила, верной рабой хозяину. На смертной постели кое-какие деньжонки свои, оставшиеся от продажи огорода, целиком отдала не Кате, а Парамону Михайловичу, — из горсти в горсть.

Единственный теперь наследник, почтительный Карп, стал еще почтительнее. Говорить он стал еще меньше и тише, всё с большими остановками между фразами, глубже вздыхал, чаще кланялся.

Но, гонимый страстью к наживе, он в половодье поехал в деревню с товаром — и утонул.

Удары судьбы Парамон Михайлович переносил — всем на удивление — стойко. Вспомнит библейского Иова, помолчит и добавит: «Господь мя избра!» — и отдаст нужные распоряжения. Не горевал. Печаль не имела над ним власти. Вокруг жизнь менялась, а ему — ничего. С годами он, как будто, даже крепчал, деревянел как-то, каменел в своей внутренней крепости, в каком-то нерушимом своем благополучии.

Поверенный Шохов привел дела в порядок. Лавку пришлось закрыть: «поторговали — и будет! Да и прибыли ноне не те!» Деньги «поместили» — и опять мирно стали катиться дни «святого». Казалось, конца им не будет.

Только Катя стала меняться.

— Ох, скучаю я! бесконечно скучаю!

Отчего бы? Ничего не изменилось. Дом — полная чаша. Для работы взяли прислугу. У Кати только и занятия, что свои наряды носить да за ними присматривать. Зимой Катя ротонду носит, летом Катя ротонду сушит, табаком пересыпает, в сундук укладывает. Чего же проще, чего же легче — но угасает Катя, не смеется, не улыбается, без аппетита пьет чай с пастилой, забывает полить фикусы, не слышит, если ее что спрашивают, не отвечает. И опять вдруг скажет:

— Ох, скучаю я! бесконечно скучаю!

Грибы сушить, грибы мариновать, варенье варить, тесто заварное ли, слоеное или рубленое — ей что! Махнет рукой и скажет прислуге: «Делай, что хочешь, меня только не спрашивай!»

Тускнела Катя. Ее голос потерял ароматную свежесть. Стала она вялая, сонная — притихла. Часто и к столу не садится: «Сами кушайте, Парамон Михайлович!»

Спросив совета у адвоката Шохова, сделал Парамон Кате подарок: из Иркутска выписал граммофон и две пластинки. Как заиграл оркестр балалаечников «Камаринскую», то Катя вздрогнула, засмеялась, руками всплеснула и воскликнула:

— Какие они, должно быть, молодые, балалаечники-то!

Но полюбила она больше всего вальс «Над волнами» в исполнении тех же молодых балалаечников. Склонясь к граммофону, как к любимому существу, часами слушала Катя этот вальс. Слушала и плакала тихонько.

И вдруг однажды...

IV

Случилось это в самую Троицу.

Отошла обедня в соборе. Был и парад. Солдаты в белых рубахах и бескозырках, лихо сдвинутых «на одно ушко», прошли бравым маршем, с песней:

«Пишет-пишет король прусский
Государыне французской
Мекленбургское письмо...»

Насладившись зрелищем, расходились горожане по своим домам. И «святой» вернулся, отпустил поводыря и сел к столу. Кухарка вынула из печки пирог с осетриной, и он исходил жирным рыбьим паром на столе перед «святым». Разлив кирпичный чай, Катя собиралась резать пирог.

Вдруг кто-то тихо и настойчиво постучал в дверь.

В нашем городе в дверь не стучали, шли прямо в столовую, «подавая голос». Катя в изумлении подняла нож, которым собиралась взрезать пирог, да так с поднятым ножом в руке, другой рукой, и открыла дверь.

На пороге, склонив голову, стоял небольшой, невзрачный монашек.

Пришлый был монашек. Поблизости у нас о монастырях и не слышали.

Хотя одетый — начиная от остренькой скуфейки и кончая сапожками на высоконожках каблучках — во всё тускло-черное, монашек казался желтеньким. Глазки, волосики, кожа — всё было какой-то мерцающей желтизны. Сильно пахло от него монастырским, должно быть, запахом, вроде как бы особым каким-то сортом дегтя.

Покосившись на нож, монашек помолился на образа, поприветствовал поклонами хозяев и смиренно спросил:

— Наслышан, что в граде сем и в дому сем подвизается некий святой человек. Пришел в поисках. Тут ли он пребывает?

И, показав ножом на Парамона, Катя с готовностью ответила:

— Этот вот, пожалуйста! Слышь, Парамон, тебя спрашивают.

Вид «святого» до того поразил пришельца, что пальцы рук его, только что сложенные для креста, вдруг растопырились и прижались к груди его, как бы в движении самозащиты.

В огромном, широком ковровом кресле сидел «святой». В черной сатиновой рубашке, темный, тучный, тяжелый, огромный, лоснящийся — он пожирал пирог.

— Кто таков? — спросил Парамон, не переставая жевать своими мощными, тяжелыми челюстями.

Монашек вздрогнул всем телом при первом звуке этого гулко баса. Он оглянулся, было, на дверь, но потом, как бы вобрав в себя всё увиденное, съежился, поник головой и заговорил:

— Наслышаны о подвигах... — и он замолчал, беззвучно шевеля губами, творя молитву «во ограждение устен». Закончив ее, он пояснил:

— Простите Христа ради: любопытствую о святынях российских. Странствую в поисках оных. Желая знать «житие»...

— Постой, брат, — перебил хозяин, — давай закусим сначала, а потом и о святынях... Пирог же нынче необыкновенный. Закуси, ибо сказано: «Возвеселится праведник о Господе»... самодовольно шегольнул он цитатой из Писания.

Монашек опять вздрогнул.

Закланялась, заулыбалась Катя. Наряжена была: в малиновом шелковом платье, с малиновым же платочком, повязанным вокруг головы. Колыхались большие дутые серьги, звенели золотые браслеты.

— Жена! — круто рявкнул хозяин — «рыжиков!».

При слове «жена» вздрогнул монашек и даже приподнялся со своего места, но потом сел опять, лишь еще ниже поникнув головой. Каким-то особенным было в нем это «поникновение главы». Что оно скрывало или что выражало? Почему

скрывалось это лицо именно тогда, когда хотелось его увидеть?

Несмотря на приглашения Катины и уговоры, съел он мало: огурчик да рыжик да ломоть ржаного хлеба. Воды горячей выпил стакан. До остального же не прикоснулся.

Поев, перешли в залу. Там стояло другое такое же ковровое кресло, как и в столовой, для хозяина.

Разморенный сытным обедом, чрезвычайно всем довольный Парамон спросил:

— Чего хочешь знать? О чем допытываешься?

— Расскажи мне, брат, как со дьяволом борешься, чем побеждаешь, чем мниши спастись?

«Святой» охотно рассказывал свое «житие», были бы слушатели. И тут, усевшись поудобнее, крякнув от полноты чувств, он поведал монашку всю о себе правду. Рассказывал обстоятельно, сочно. О грехе — покороче, о спасении души — подробнее, о пудовой свече — с гордостью. Лица монашка он видеть не мог, а тот головой поникал всё ниже и ниже, и к концу рассказа сидел так странно скрючившись, как бы и не живой совсем.

Рассказ был закончен. Наступила тишина. Затем монашек всплеснул руками и горестно воскликнул:

— Погиб ты, брат! У тебя — темная совесть!

V

Так началось разрушение крепкого, годами державшегося душевного благополучия «святого».

Первым движением Парамона было просто выгнать нахала. Но потом захотелось сначала «доказать», а выгнать уже потом, опозоренного, за дерзость. И между ними начался разговор, длившийся два с половиной месяца. Парамон поселил монашка у себя. Тот избрал темный чулан для «жительства». Поводыря уволили. Уже монашек водил Парамона в церковь. В жарком споре они часто останавливались по дороге, продолжая диспут. Сердился Парамон, стучал палкой. Оправ-

даться же никак не мог. С кем он, собственно, спорил? Кто возражал ему? На длинную речь монашек часто отвечал одним словом, невразумительно, невнятно. Так, на повторный рассказ о ежегодном «воздвижении» пудовой свечи он ответил одним только словом: «Вотще!» — и чувствовал Парамон, что не оправдан. В ответ он часто ругал монашка, грозился прогнать. Но было задето в душе его что-то живое, чем-то постепенно прирастал к душе его этот пришелец, и оторвать его от себя было уже невозможно. Он впился в духовное тело Парамона, как клещ, и уже невозможно было вынуть его оттуда без какой-то операции с кровью и болью.

Чего же хотел Парамон?

Он чувствовал, как болезнь, необходимость доказать пришельцу праведность своей жизни, а потом выгнать его и позабыть. Но это не выходило. Теперь уже Парамон поникал головой. А монашек шептал над ним горячим шопотом:

— Кайся, брат! Кайся. Ибо погибла душа твоя. Истинным подвигом подвизайся, ибо сочтены и твои дни.

Меняли жизнь. Стали посты соблюдать по-настоящему, как затворники в монастырях. Уже не пекли в доме пирогов, не варили пельменей.

Беспокоилась Катя, шептала кухарке:

— Кто таков монах этот? Не человек, по всему вижу — не человек. Откуда явился?

И кухарка шептала в ответ:

— Ни-ни, не человек. Подглядывала в чулан-то: сидя спит, не ложится. Одежды не снимает. Сапоги-то, должно, к ногам приросли давно. Ты бы, барыня, кой о чем его порасспросила да и выгнала.

Но вслух напрямик о чем-либо спросить Катя боялась. При Кате же монашек мертвенно молчал, никогда на нее не глядя, как будто бы мыслью где-то там прикованный, откуда Кати не видно.

— Волшебство это, — ужасалась Катя. — Да разве когда в жизни так бывает (по сибирски произносят — «бывают»):

пришел неизвестный, незванный, поселился в чулане и стал посвоему весь дом ворошить...

— От себя скажу, — отзывалась кухарка, — тебя-то, барыня, ни в грош не ставит.

— Не пьет, не ест — а шустро бегаёт...

Казалось Кате, увидеть бы монашка, когда он думает, что никто его не видит, — и загадка разъяснилась бы. А так, на людях, он выглядел, как бы вне законов бытия. Какого он возраста? Как-будто, не мог он ни помолодеть ни постареть, и одежда его не могла ни изменить вида ни износиться. Это был какой-то таинственный извечный облик, но сути его Катя не понимала.

Унылая пошла жизнь. Худел, изнемогал Парамон. Треть суток проводили в церкви, другую треть — в домашней беседе и молитве, остальное уходило на сон и еду. Еда! Уже не чавкал, не причмокивал, не сопел над едой Парамон. Сидел, вздыхая, над своей пищей. «Пяток же — еженедельно — пребывали в алчбе», как полагается на Афоне, то-есть совсем не ели ничего.

Пусть Кати это не касалось, ее никто ни к чему не принуждал, — но она уже не решалась надевать малиновое шелковое платье, не заводила граммофона, не шелкала кедровые орешки.

Желая понять, в чем же суть, Катя деятельно подслушивала. И не скоро, но, наконец, поняла, к чему сводились споры.

— Недалек ты был, брат, в духовном различении вещей, — горестно и грозно шептал монашек. — Дела эти все твои ты считаешь житейскими, мелкими, а они, в сущности, неземного свойства. Замечай: чада твои тебя покинули, нету тебе земного будущего. Не приемлешь посылаемых тебе знаков. Ты — упавший уже лист — почто зеленеть чаешь? Опомнись и утрашись! Не было тебе от Бога прощения, сам ты себя судил, сам и оправдал. Грех великий — твое запанибратство с Богом. Высокомыслишь о себе. Торопись отомстить, может, еще и успеешь.

— Да что делать-то, брат? — уже плача спросил Парамон.

— В рассуждении места — тебе в Киев надо идти.

— В Киев? Идти? Ишь, куды!

— В рассуждении трудности — другие ходили же. И ты иди. Там тебя научат.

— Чему научат-то?

— Познаешь совести своей горечь.

«Киев» звучал всё чаще и чаще в разговорах.

— Уткнул ты внимание свое на ложный путь. Меняй дорогу. Иди в Киев. Не будет на тебе хоть греха непобывания ради. Там и научат тебя, как рассчасться с душою своею. После скорбно будет тебе и вспомнить о нынестекущем образе жития твоего.

— А как еще в Иерусалим пошлют?

— И пойдешь.

— А есть куда и дальше?

— Того не знаю. Сам не умею тебе сказать решительно-го слова, в Киеве научат.

«Святой» вздыхал. Жаловался горестно на трудность под-няться, уйти с места.

— Тут я родился. Сроду нигде не бывал, никуда не ез-живал.

— Чего жалеешь? Беги. Что тебе место? Что тебе люди? Ты сам своя ноша. Взвали душу на плечи твои и беги. И обря-щещи иную отчизну душе твоей. Ныне земля страстьми осо-бенно волканна. От людей испаряется грех. Беги. Кричи от терзания сердца твоего. Молитвою вечернею дневные грехи отряхай.

— Да как идти? Слепой же я.

— Ну, я тебя поведу, как цепью к тебе прикованный, в разумении того, что не даром же мы с тобой встретились. Ска-зано: «буди вожжа заблудшему».

— А себя зачем не жалеешь?

И тише прошептал монашек:

— Я себя не люблю. В бытии моем человеком никак не мог себя полюбить.

И Катя услышала крик «святого»:

— Веди! Пойду!

Больше не могла Катя вынести. Накинув полушалок, побежала она за советом к Шохову.

VI

Частный поверенный Шохов был вдов и богат. Жил в хорошо обставленном доме. По слухам, умело и ловко наслаждался всеми благами жизни. Он-то и вел все финансовые дела «святого» Парамона Синицына.

Задыхаясь и плача, рассказала ему Катя о событиях двух последних месяцев и о решении идти в Киев.

Шохов выслушал очень внимательно, не торопя, не перебивая. При слове «Киев» он тихо свистнул: «Вон куда!» Подумал, помолчал, задал несколько вопросов.

— Ну, а при разговоре... денег монашек не просит?

— Нет.

— Шельма! — решительно определил адвокат. Еще помолчал, подумал — и вдруг заговорил совсем уже другим голосом:

— Катерина Ильинична, не плачьте и успокойтесь. Придумаем, что надо сделать. На то и профессия наша, чтобы вывести человека из затруднения.

А голос его с каждым словом делался всё заботливее и мягче, доходил прямо до нежности.

— Утрите глазки! — и он из шкафчика вынул белоснежный платок (Катя слезы свои вытирала концом полушалка). Затем из того же шкафчика он вынул пульверизатор и слегка вспрыснул платок духами. Комната наполнилась благоуханием.

— Царский вереск! — сказал он торжественно. — Брокер и Компания, Москва.

Катя же доньше знала только одеколон «Свежее сено», да и пользовалась им лишь по большим праздникам.

А адвокат — уже из другой половины того же шкафчика — достал тарелочку с розой, нарисованной посредине, хрустальную рюмочку на тоненькой ножке и бутылку мадеры.

Катя залюбовалась тарелочкой.

— Мальцевских заводов, — сказал адвокат. — А рюмочка — Баккарá, заграничная. — И он наливал уже Кате мадеры:

— Укрепите силы, Катерина Ильинична!

— И как это у него всё тут-же, под рукой, — с удивлением подумала Катя.

А адвокат уже стоял перед нею с большой бомбоньеркой.

— Из Москвы, — сказал он торжественно и кратко. — Абрикосов и Сыновья.

Взглянула Катя — и ахнула. Она не знала, что бывают бомбоньерки на свете. Несмотря на свое богатство, Катя доныне ела конфеты только из бумажного кулька. Бомбоньерка была из бледно-розового плюша, на золоченых коротеньких ножках, с опалом вместо замка. Внутри она была белая атласная с золотом. Конфеты, причудливо разнообразные, лежали каждая в своей отдельной ажурной постельке. Катя застыла в изумлении.

— Возьмите конфетку, — сказал адвокат даже несколько строго.

Катя не двигалась. Адвокат взял серебряные щипчики, лежавшие у края коробки, и сам выбрал несколько лучших конфет, положив их аккуратно в ряд на Катиной тарелочке.

— Подкрепляйтесь, Катерина Ильинична, а я пока по комнате похожу, подумаю.

Ела Катя конфеты, запивала мадерою, и сердце ее смягчалось, забывалось горе. Адвокат же ходил и думал.

Наконец, он остановился около Кати, совсем близко, взглянул на нее ласково и начал негромким голосом:

— Ну, и пусть он идет себе в Киев, Катерина Ильинична! Совесть требует, душа просит — отпустить его надо. И задерживать грех. Пусть идет.

Не этого ожидала Катя. Она испугалась, круто повернула головку и не то икнула, не то всхлипнула. Но адвокат уже нежно держал ее за руку:

— Надо отпустить. Совесть его гонит. Против этого нету лекарства.

— Да почему же раньше-то он был такой спокойный?

— Эх, что знает человек о себе? — заговорил вдруг адвокат вдохновенно. Он выпустил Катину руку и быстрыми шагами заходил по комнате. — Кто в себе не обманывался? Сколько церквей, монастырей по России — так что-ж вы думаете, Катерина Ильинична, это так, из удовольствия построено? Нет-с, от мучения, от позднего раскаяния. Да, совесть, я вам скажу, большой архитектор! Пришел момент и Парамону Михайловичу с совестью своею расщестья. Хочет в Киев — пусть идет в Киев. Не пустите — на вас ляжет грех. Только я думаю, теперь пустите ли вы его или не пустите — он всё равно уйдет. Что идти? Были случаи — ползли люди в Киев.

Катя рыдала. Адвокат подошел к ней поближе и заговорил уже негромким голосом:

— Не там видите беду, где она вас поджидает, Катерина Ильинична! Дело это не обойдется одной Парамоновой молитвой. К другому будьте готовы. Грехи ему всеконечно простят — кается, ведь, человек, горько кается! — но деньги-то — все деньги, Катерина Ильинична — велят отдать на монастырь. Скажут: сюда клади, в свечной ящик, — а сам иди с миром!

— Не отдаст! — воскликнула Катя.

— Отдаст, Катерина Ильинична! И в с ё отдаст. Раньше не отдал бы, а теперь отдаст. Дозрел.

— А я-то как же? — прошептала Катя.

— Вот, вот, дорогая моя голубушка, умница вы моя, — вы-то как же? Это и есть главный вопрос. Не то, что он в Киев идет — это пусть бы! — а чего в а м из Киева дожидаться. Дела синицинские я веду, всё знаю. Всё имущество на Парамоново имя, у вас же, голубушка, нет ничего.

Пораженная сидела Катя на диване. Кровь отливала от ее лица, она бледнела до синевы. Выходя замуж, она как-то раз и навсегда уверилась в своем богатстве, в нерушимом благосостоянии — до самого конца жизни. И вот картина хорошо ей знакомой — по прежнему — бедности встала перед ней.

Адвокат же подливал масла в огонь.

— Напрасно, выходит, и замуж-то шли. Не вышли бы, то сейчас у вас огород маменькин имелся бы для нищенского хотя бы прожития. А то, ведь, маменька-то ваша покойница, на смертном одре лежа, деньги за огород тому же Парамону Михайловичу отдала, я тому был свидетель: не дочери деньги-то, а зятю, — редчайший случай в нашей практике. Теперь и выяснилась ваша-то судьба: Парамон кается, деньги — в Киев, а вам где кусок хлеба искать? Разве в стряпки идти наниматься? Да и то — не возьмут тут в городе-то. Зависти богатству вашему много было, смеяться теперь над вами начнут.

— Господи! — всплеснула Катя руками, — что же мне делать?

— Вот тут-то я и дам вам х о - р о - ш и й совет, — сказал адвокат. — Дело поправим.

Катя схватила его руку и жарко поцеловала. Он погладил ее по головке.

— Только сначала всё мне скажите — и откровенно, чтобы правильно дело ваше устроить, то-есть, на ваше имя всё перевести, вашей собственностью в с ё имущество сделать. Скажите: кроме дома и денег, про что я знаю, не припрятано ли где еще чего у Парамона Михайловича, ну, в роде клада что ли, в доме, скажем, секретно? — и он присел близко около Кати на диван.

— Есть — пригнувшись к нему зашептала Катя. — Есть, в доме спрятано.

— Золото? бумаги?

— Деньги золотые, в монетах, то по пять, то по десять, а то и крупнее, — шептала она всё тише, всё ближе к нему наклоняясь.

— Ну, а сколько же всего?

Катя боязливо оглянулась по сторонам и потянулась губами к уху адвоката. Он с готовностью подставил ухо. Она что-то пошептала. Адвокат тихо свистнул.

— А вы, Катерина Ильинична, сами-то знаете, где всё это находится?

— Как-же! сама же всё и прячу, он, ведь, слепой. Зимой, как ночи длинные, не спится, то я вальс на граммофоне слушаю, а он деньги пересчитывает.

— Так вот-что, — заговорил адвокат, вставая, уже чисто деловым тоном. — Надо, чтоб до ухода в Киев он всё имущество на вас отписал. Это я для вас устрою. Вы, Катерина Ильинична, кажется, неграмотны? — спросил он как бы в скобках.

— Подпись свою ставить умею.

— Этого вполне достаточно. Но дело ваше обделать надо тонко. Вы — ни слова. И что у меня сегодня были — молчок. Я к вам приду, монаха вышлем, и я так Парамону скажу:

— В Киев идешь? Хочешь каяться — кайся, твое дело. Да ты душою кайся, не карманом. Имущество как оставишь? Пока ходишь — дом без хозяина. Это не по закону. Ты всё переведи на жену, только ей ничего не сказывай, а я за всем понаблюду. Какие твои будут оттуда распоряжения — сюда пиши. Я дело устрою, жена подпись поставит — самый законный будет порядок. — Я уж сумею ему объяснить, не первый год знакомы. Вот он и покается, — а деньги целы, потому без вашей подписи рубля нельзя взять будет.

— А ему-то как же?

— Катерина Ильинична, дорогая, конечно же, мы ему пошлем: на свечу там, в кружку, на простой, на билет — всё вышлем. Я о капитале говорю. Капитал сохраним. Поняли?

Катя хорошо поняла. Сидела молча. Что-то двинулось у нее в душе.

— Старый он, слепой. А как помрет там-то?

— На это, Катерина Ильинична, единственно Божия воля. Такие мысли гоните. И опять же скажу вам: и этой мыслию

не смущайтесь. Греха на вас не будет. Вы его в Киев послали? Я — свидетель: видел ваши слезы. На вас нет греха.

Вздохнула Катя.

— А вдовства не бойтесь, Катерина Ильинична! Эх, цены вы себе не знаете! Прожили молодость со слепым — мог ли он красоту вашу оценить! Такого ли вам мужа надо! Да что о мужьях говорить, вы о том подумайте: в случае то... и деньги у вас и свобода! Выбирайте себе жизнь!

При слове «свобода» вздрогнула Катя. Какой-то новый послышался ей в этом слове звук, какой-то новый смысл, как бы зов, что летом манит в леса из душного дома, бежать, без оглядки, — на простор. Она смотрела на пышную бомбоньерку — и не только ее глаза, душа ее широко раскрывалась.

— Ладно. Согласна. И спасибо, — сказала она, согревая адвоката и улыбкой и голосом.

VII

Быстро и ловко адвокат Шохов оформил синицинское дело. Устроил всё, как Кате обещал. Впрочем, Парамон Михайлович ничему не подымал возражений. Он со всем соглашался, как бы даже и не вникая в суть дела. Что-то в нем как бы перегорело, перекипело — и стал он слабый человек. Он уже находился в состоянии какого-то горячечного нетерпения: уйти, уйти!

Для виду поговорил Шохов и с монашкой. Спрашивал строго:

— Откуда рождением?

— Из вятских мест, — ответил монашек, замолк и главой поник, испуган же, видимо, не был.

— Зачем сюда пришел?

— Подобаает бо нам ревновати и дивитися...

— Почто старика в Киев сбиваешь?

— В рассуждении смысла...

Помолчали оба: адвокат — строго, монашек — смиренно.

— Какого же такого «смысла»?

— Покаянного... ко спасению стезя... — и низко-низко поник головою, так что и лица его не стало видно.

Это и был весь разговор. Адвокат не искал узнать больше; при возможных в будущем осложнениях ему выгоднее было именно знать поменьше и о планах «святого» и о качествах спутника.

И вот, плача и причитая «на голоса», сшила Катя мужу холщевую котомку. Уж по ее горячей просьбе решили хоть до Урала ехать, а оттуда — пешком. Сам отец протопоп отслужил в соборе напутственный молебен. И пошли.

Впереди шел, даже не шел, а как будто порхал монашек, сияя своей желтизной, как светом; за ним, как темное облако, шатаясь, шагал слепой. Их соединяла палка.

За ними, задыхаясь от слез, семенила Катя. На почтительном расстоянии, вздыхая от чувств, следовала толпа горожан. За околицей ожидали лошади. Как прощаться стали, обмерла Катя, но сам господин Шохов ее поддерживал.

Поклонившись до земли родному городу, а потом народу — на все четыре стороны, отправился Парамон в Киев. И больше уже не вернулся в наш город.

Тут и заканчивается «житие».

ЭПИЛОГ

Но Катя, Катя? Что же с Катей случилось?

Желающие могли услышать от горожан и Катину историю. Рассказывалась она со вкусом.

После отбытия Парамона Михайловича ко святым местам на вопросы о нем Катя отвечала неохотно и неуверенно. Обычно скажет всего два слова: «Нету известий». Ей возражали, что почтальон, привозивший почту, другое рассказывал: были де письма на имя Катерины Синицыной, Мокрослободская улица, собственный дом. Из Челябинска было письмо, а потом другое, потолще и штемпель ясно обозначал — «Киев». «Да кто пишет?» возражала Катя, «может, жулики какие. Сам-то слепой. Адвокат Шохов дело ведет и письма читает. Его спросите».

Адвокат же — «на законном основании» — объявил Парамона в безвестном отсутствии. О письмах твердо заявлял, что писали жулики, грозился на этот счет снести даже с самою киевской полицией. От Парамона же Михайловича, по его словам, совсем никаких известий не было. В городе о «святом» позабывать стали. И вдруг слух прошел, что «сподобился» Парамон: «представился» в Киеве, в ограде церковной, среди нищих. Шохов слух этот всемерно подтверждал и обещал показать бумагу, «свидетельство», но в городе народ жил больше малограмотный, и читать официальные бумаги охотников не находилось. Катя же вскоре вышла замуж за Шохова.

Тут — на удивленье всему городу — переменялся сам Шохов: вроде как бы с ума сошел, такой ревнивый стал. Держал Катю взаперти. Одевал, правда, роскошно: весь город волновала Катя своими нарядами. И похорошела очень. Пройдет, бывало, в изумрудной ротонде, качаясь, как колокол — у встречного дух захватит. Звезда! Только видели ее редко. А с Шоховым дальше — хуже: не только мужского полу, из женского даже никого не допускалось к Кате. Видала она только мужа, да еще две старухи-прислуги в доме жили.

Прежняя сваха очень зла была на Шохова, что не удалось ей самой Катю во второй раз замуж выдать, так вот она одна умела через прислуг узнать и рассказать, что в доме у них происходит. Ревновал Шохов Катю. Пластинку граммофонную «Над волнами» сам нарочно разбил за то, что Катя ее каждый вечер слушала. Правда, другие пластинки он ей купил, но тех Катя слушать не стала, и своими руками поломала весь граммофон. И у окошка на улицу Кате сидеть не позволялось, и гулять он ее без себя не пускал, гостей тоже совсем не приглашали. Сам он делами очень занят был, — дорогу железную через город наш стали строить — и тут много дела адвокатского было, — так чтоб Катя не скучала, он ей купил канарейку в клетке, может, петь будет. А Катя канарейку выпустила: «Пушай лучше на воле помрет!» — а сама заплакала: «Живу я без воздуха!» И опостылел ей дом. Ничем в доме не интересовалась. Прислуга поливала фикусы, прислу-

га и за ротондой присматривала. Раз была у них большая ссора. Катя негромко, но сердито так сказала: «Взял ты все деньги мои, то купи ты хоть мне лошадь. Я кататься буду».

Купил Шохов к зиме рысака и саночки, да саночки-то на одну персону, чтоб не могла Катя никого подсадить покачаться. К рысаку кучера нанял. Кучеру приказ: дальше кухни — не смей, потому что кучер был молодой, лихой, с золотыми кудрями. Кате же сказано и повторено, чтобы в кухню не хаживала. Прислуге велено на стороже быть — за отдельную плату. Кате он сшил новую ротонду — бархат алый, воротник соболий и шапочка.

Волновали эти Катины катанья весь город. С утра у окон караулили — поедет ли сегодня: ротонда ли была так хороша, сама ли Катя или же кучер и саночки. Только доступа к Кате никому нет: запрещено было кучеру останавливаться. И еще: ему только на лошадь смотреть, не оглядываться. Куда ехать? Раз навсегда одна дорога была приказана: на людях, по Главной улице — и не менять маршрут, не сворачивать.

От воздуха стало Кате еще хуже. Так она загрустила, что петь начала. Сядет вечером на коврик у печки, колени руками обхватит, на огонь смотрит и поет:

«Чудный месяц плывет над рекою,
Всё в объятых ночной тишины,
Ничего мне на свете не надо...»

Тут оборвет песню, заплачет и скажет:

— Скучаю я, бесконечно скучаю.

А так хорошо пела, что обе кухарки на кухне, бывало, слезами зальются, плачут.

К весне попросила Катя Шохова шарабанчик купить. Купил он ей, как просила. Но самый маленький шарабанчик всё-таки строится на две персоны. Летом с кучером сбежала Катя.

Псаломщик тому главный рассказчик, он раньше всех в городе встает, всё и видел.

Выбежала Катя из дома, не оглядываясь, дверь даже за собой не затворила, и скоро так пошла по улице. Против со-

бора на минутку приостановилась, скоренько перекрестилась, и дальше побежала.

Остальное же татарин Тизатулин видел. Он за городом живет, у реки, на большой дороге. Чем занимается — неизвестно. Ждал Катю у реки сам кучер в шоховском шарabanчике. Увидев, Катя бежит, он кликнул татарина:

— Эй, князь, поддержи коня, пока я целоваться буду!

Обнял кучер Катю и горячо поцеловал. Потом бросил татарину рубль — и укатил с Катей.

Татарин же, конечно, побежал прямо к Шохову — рассказывать.

— Даешь рубль, — говорит, — нужное тебе слово скажу.

А там уж хватились, что Кати нет. Кричит Шохов, грозился убить прислугу за то, что не досмотрела. И на татарина Тизатулина кричит:

— Говори, собака, скорей!

— Нет, — говорит татарин, — ты сначала рубль дай. Как я тебе мое слово скажу, от тебя большая опасность будет! — а сам дверь приоткрыл, на пороге стоит, чтоб убежать скорее.

Бросил ему рубль Шохов. А как услышал новость, то и крикнуть не мог, схватился за сердце, упал на пол и умер.

Кати же с кучером больше в городе никогда не видали.

— А деньги-то куда, деньги?

— А деньги пропали.

После смерти Шохова родственники его за наследством съехались. Много их было и всё народ странный, сомнительный, никому не известный. Тут же между собой они страшно ссориться начали, до драки доходило. А в городе новый адвокат явился — Жилин (подляшка человек!), он и повел дело о шоховском наследстве. Рассудили так: без Кати деньги делить — не по закону, она же — в безвестном отсутствии, потому и высудил Жилин всё имущество на себя, в роде как бы на хранение. Родственники же Шохова из-за этого между собою помирились и решили Жилина за мошенничество до смерти убить. В городе убить неудобно — поймать могут.

Решили на большой дороге караулить, знали, боится Жилин, бежать будет, да он уже и готовился: что закладывал, что продавал, чтобы деньги с собой увезти. Вот и ждали они его, и квартировали тут же, у Тизатулина. Но про то, что железная дорога кончала строиться, и не подумали. А Жилин подкупил, кого следует, да и укатил на рабочей вагонетке. С деньгами, конечно.

И, заканчивая повесть, старожил добавлял от себя:

— «Да — бывáт, и так бывáт, как никогда не бывáт. И «бывáт» на «бывáт» не приходится».

Нина Федорова

Розу мне прислала
Красную, сухую,
Тетя из России —
Я письмо целую.

Я целую в розе
Степи и поляны,
Белые березы
И тулупчик рваный,

Землю всю целую.
Сердцу легче стало.
Я страну родную
Никогда не знала.

Людмила Яковлева.

БРОДЯГА ГЛЮК

С ц е н а I

(Ночь. У театрального подъезда. Критик и театральный слуга).

Слуга: Осмелюсь доложить — сплошной провал.
Какой-то гробовщик в цилиндре рыжем
Иль сочинитель виршей перед носом
Перехватил последний экипаж
И укатил, бесчувственный к угрозам
И доводам учтивым. За углом,
Да и подальше — никого.

Критик: Досадно,
К тому же — дождь.

Слуга: Ничуть, — простая сырость;
Лишь кое-где еще стекают капли
С деревьев мокрых.

Критик: Побреду пешком.

Слуга: Вы слишком задержались. Музыканты
И те уж разошлись.

Критик: Концерт не стоил
Всех осложнений.

Слуга: Спора нет, — тоска.
Театр не дал и половины сбора.

Критик: Партер — молчек, и в ложах ни хлопка.

Слуга: Да и галерка зла на дирижера.

Критик: Естественно. Не даром знатоки
Бранят его, не слушая. Вельможи
На этот раз не поддержали тоже.

Слуга: Однако, есть на свете чудаки,
Которые болтают втихомолку,
Что знатоков — давно пора на полку.

Критик: Сброд неучей.

Слуга: Я, кстати, не таков,
И в меру сил стою за знатоков.

Критик: Вполне логично. Опера, балет, —
Он и не смел писать в подобном роде,
А симфонический весь этот бред

По счастью у нас еще не в моде.
 Что натворил он в зале сгоряча!
 Запутал счет, смахнул с пюпитра ноты,
 Загнал оркестр. Рубил, рубил сплеча —
 И всех довел до пота иль зевоты.
 Я сам творю. Последний мой этюд
 В кругу друзей был признан образцовым
 И с честью принят в ведомстве дворцовом.

Слуга:

Там без причин отличий не дают.

Критик:

Он сам в своих несчастьях виноват.

Слуга:

Он на́ ухо, я слышал, туговат.

Критик:

Не утверждаю, но вполне возможно.

Он слушает чрезмерно осторожно,

Внимательно, но странно свысока.

Вдруг — переспросит.

Слуга:

Глух наверняка.

Критик:

До крайности придирчив. Весь колючий.

Где ни коснись его, повсюду иглы

Торчат наружу.

Слуга:

В песенке поется:

Брюзга несносен и в гостях, и дома.

Критик:

Вы разгадали, неудачник глух.

А в музыке (простая аксиома)

Всё дело в ухе. Музыка — есть слух.

Слуга:

Осмелюсь, сударь, предложить вопрос:

Как рассудить изволите вы ныне?

Я разумею — будет ли разнос,

И если нет — то по какой причине?

Критик:

Ответ несложен. Впрочем, кое-где

Он проявил и блеск, и пониманье.

Там был мотив, не помню, две-три ноты

Пронзительных и страшных... Долго ль он

Там будет бегать в темных коридорах?

Слуга.

Осведомлюсь немедля.

(Исчезает за дверью).

Критик (один):

Ненавистен

Мне этот род отшельников. Угрюмый

Самолюбивый взгляд. Сухая бледность

Не в меру острых скул с налетом желчи —

Всё в нем молчит. На пыльных сундуках

Валяются наброски черновые,

На подоконнике — подсвечник медный

В зеленых пятнах. На столе овальном —

Гусиное перо. Один рояль
 Сверкает холодом. И в каждом дюйме
 Убогой комнаты, в заплатках старых
 Заношенного сюртука, и даже
 В свисающей обильно паутине —
 Предчувствие необъяснимой славы —

Слуга (*вбегая*): Идет, идет!

(*Он широко распахивает дверь. С непокрытой головой, волоча по земле свой плащ, стремительно проходит Композитор*).

Критик: Львом бросился к порогу!
 Седая грива дыбом. Бровь — кустом —
 Весь мрак залег на лбу его крутом,
 Вся ночь за ним рванулась на дорогу —

Слуга: По совести — чужак не очень стилин.

Критик: Как черный плащ он проволока во тьму!
 Лишь ветер свистнул —

Слуга: Недобитый филин
 С одним крылом.

Критик: Я подойду к нему,
 Не скрылся бы.

(*Исчезает в темноте*)

Слуга: Вприпрыжку, через лужи —
 Уж эти мне писаки. Всюду их
 Насеяли. А что до чаевых —
 То нет и не было на свете хуже.

С ц е н а II

(*Городской парк. Ночь. Критик и Композитор*)

Критик: Я не унижусь до сведенья счетов;
 Но есть вопросы общего значенья
 Есть выводы, которыми не вправе
 Мы пренебречь. Искусство для немногих,
 Искусство для себя — нелепость. Мы
 Окружены средой, как рыба влагой;
 Вода определяет форму рыбы,
 Наружный мир обтачивает формы
 Живого творчества. Наш скромный гений —
 Лишь каменщик, усвоивший задание.
 Искусство — есть прекрасная полезность.

Полезно всё, что нравится. Я знаю, —
 Вы скажете, что мир еще в зачатке,
 Он неустойчив; что придут другие,
 С иными вкусами; что время
 Совсем не то, что отмечают стрелки
 Часов карманных, — может-быть, не спору.
 Но где критерий? Всё непостоянно,
 Всё зыбко и текуче. Лишь успех,
 Один успех, являет нам опору
 В неясных опытах. Что, право, толку
 В суждениях глупого студента, в том,
 Что через двести лет поэт голодный
 На чердаке своем, в кругу таких же
 Бездельников, сболтнет меж двух глотков,
 Что этот, мол, был крот, а тот, забытый,
 Был соколом, орлом, был важной птицей,
 И не взлетел затем лишь, что не мог
 Сквозь узкие проломы тесной клетки
 Проволочить крыло? Куда как жалко!
 О, правнуки! Сомнительная честь, —
 Судачат вслух, а судят много тише;
 Пора понять, что публика — и есть
 Народный суд, и ничего нет выше.
 Ваш неуспех (в том разногласий нет)
 Лишь подтверждает истину. Газеты
 Давно уже давали вам советы.
 Порой полезно слушаться газет.

(Раскат грома).

Вы дремлете? Быть-может я некстати
 Ломаю копьа? Между тем туман
 Сгущается. Уж поздно в ресторан,
 Но самый час добраться до кровати.

Композитор (как бы просыпаясь):

Послушайте, как странно. В темноте,
 Там, за деревьями, играет скрипка.

Критик:

Не может быть. А впрочем — точно. Кто-то
 Пиликает на скрипке. Дикий случай.
 Но нет, пустое. Здесь не разобраться
 В нагроможденьи разных звуков. Слух
 Ваш утомлен. Я утверждать готов,
 Что и меня вам слушать не под силу.

Композитор: Один лишь звук, но райской чистоты,
 Но нежности такой, что нет названья.

Вот он умолк, и эхо не посмело
 За ним последовать. Из сфер иных
 Он пал на землю, но не умер. Корни
 Дубов и елей бережно впитают
 Его в себя, и по стволам могучим,
 Как по органным трубам, он взнесется
 В высокую небесную лазурь.
 И будет музыка. Исчезнет всё.
 Всё станет легким и летучим. Камни
 От быстрых птиц в полете не отстанут.
 На утренней заре, вослед туману,
 Вдруг уплывут щебечущие рощи,
 И полный медленного шума лес
 Отдаст свою прохладу синим звездам —
 Вы шутите?

Критик:
Композитор:

Послушайте, — опять.

Когда б не ночь, не этот зябкий ветер,
 Что с голых прутьев отряхает брызги,
 Я думал бы, что некий светлый дух
 Наполнил мир своей певучей дрожью.
 А может быть и правда. В этот час,
 Когда за низким облаком незримо
 Летят обид крылатые рои,
 Когда земля безмолвно предается
 Невыразимой горечи и тленью, —
 Там где-нибудь, у темного пруда,
 Среди опавших листьев по дорожкам
 Неузнанный проходит Ариэль,
 Мечтатель светлоокий. Он играет
 На легкой скрипке; шевелит струну
 Из водоросли тонкой и беспечно
 Ночную стужу заклинает.

Критик:

Полно, —

Не стыдно ли так нервы распускать?
 Вас этот день злосчастный утомил,
 Вы здесь во власти грез и лихорадки,
 Как женщина. Живые спят давно,
 А мертвые пугать живых не смеют.
 Верней всего, какой-нибудь бродяга
 Шатается вокруг...

(Из-за деревьев показывается Глюк).

Да вот и он,
 Ваш Ариэль. Его весь город знает:

Пропившийся столярный подмастерье
 Без имени, безродный попрошайка,
 Он ходит там и тут, слегка ворует
 И развлекается за стойкой. В шутку
 Его прозвали Глюком. Вероятно
 За склонность к музыке.

Ну, как, приятель, —
 Зачем ты здесь?

Глюк: Пришел взыскать должок.

Критик: Недурно, право. Кто же твой должник?

Глюк: Да вы, хотя бы.

Критик: Ты не пьян?

Глюк: Нисколько, —

Два крейцера за вами, и давненько.

Критик: Не помню что-то.

Глюк: Где же всё припомнить?

А между тем, тому, пожалуй, с месяц

Вы пили пиво в «Золотом Бычке».

И я был по соседству. Выпил кружку,

Другую, третью, может-быть, и вышло

Два крейцера. Хозяин по привычке

Пристал ко мне, но я не растерялся

И указал на вас. Итак, за вами

Два крейцера.

Критик: Послушай-ка, приятель,

Вот мой совет: проваливай.

Глюк: Не смею

Мозолить вам глаза.

Критик: Пошел, пошел!

(*Глюк уходит*).

На каждый час всему есть объяснение.

Вы мистик? Фокусы столоверченья

Теперь повсюду в моде. Бургомистр,

Поспоря с кем-то, выписал из Рима

Костлявого певца, в широкой шляпе

С пером высоким, с профилем таким,

Что женщины заранее готовы

Поверить в ад. И все заговорили

По-итальянски.

(*Композитор встает*).

Вы домой? Пожалуй,

Нам по дороге?

Композитор: Добрый вечер.
(Неожиданно уходит в другую сторону).

Критик: Славно, —
Урок учтивости. И ночь какая!

С ц е н а III

(Городской парк. Ночь. Скамья над озером.
Глюк и Композитор).

Композитор: Как ваше имя?

Глюк: Подмастерье Глюк.
Я по земле гуляю там и тут,
Считаю птиц, ночью где придется.

Композитор: Не правда ли, есть странная отрада
В ночных скитаньях.

Глюк: Знаю. Влажный ветер
Смычком широким водит по верхушкам
Деревьев голых. Выцветший фонарь
Скрипит мечтательно в ключе скрипичном,
А вы да я — мы слушаем прилежно.
И спутник ваш.

Композитор: Нет, это тень.

Глюк: Конечно, —
Я и сказал — ваш спутник. С ним я дружен.
Бывало ночью, в поздний час, при звездах,
Он свесится в окно, падет на площадь,
Замрет и слушает. Слепой прохожий
Его ногой небрежно попирает
Иль сонная телега переедет,
А он молчит и слушает. Сегодня
Он дирижировал в концерте. Я
Сквозь мутное окошечко на крыше,
Забывтое билетным контролером,
Внимательно следил за ним весь вечер.
Рожденный в пламени и взятый мраком,
Он был тогда, как кормчий в бурю;
То выросал под купол величаво,
То накренился вдруг и падал в пропасть.
Всё было в нем гроза и совершенство.
Он дал вступленье, и взлетели скрипки,
Задумчиво взошла виолончель

Звездой прозрачной в сумерках кларнета...
 Он поднял руки медленно, — и гром
 Обрушился, — и кончики волос
 Затрепетали вдруг и ужаснулись.
 Он хмурился. Качая львиной гривой,
 В шумящий ветер обращал лицо,
 Вздыхал до звезд бунтующие волны
 И, одичалый, в океане звуков
 Гнал яростно свой челн. Под ним оркестр
 Уж надрывался. Где-то в глубине,
 Разбившись вдребезги о черный камень,
 В водовороте погибали скрипки.
 Всё рушилось. Истерзанный оркестр
 Не выдержал ужасного полета,
 Рванулся и умолк. И захлебнулся.
 Растерянно смотрели музыканты.
 В немую пасть пустынного партера;
 С высокого утеса, шелестя,
 Испуганные ноты соскользнули
 И пронеслись над заревом барьера,
 Как стая птиц, гонимых зимней бурей...
 А он, в своей священной глухоте,
 Отдавшись тайнам нового звучанья,
 Уже вступал в запретные миры,
 Где наше солнце робко затерялось
 Как нотный знак в обширной партитуре...

Композитор: Я слушаю. Как непривычно внятен
 Ваш голос. Будто плотная завеса,
 Отъединявшая меня от звуков,
 Разорвалась, раздвинулась, взвилась
 Как театральный занавес. Но странно
 Мне темное значенье ваших слов.
 Вы музыкант? Искатель тайный славы?
 О, берегитесь. Тяжкая свобода
 Дана художнику. Не всем под силу
 Тащить ярмо высокого искусства.
 Как часто в хоре тайных голосов
 Мы слышим истины враждебный голос, —
 Ревнивая и строгая хозяйка,
 Она не терпит буйных постояльцев,
 Ночных глашатаев с душой строптивой.
Глюк: Что истина и что есть ложь? Не раз
 И спрашивали мы и отвечали,

И на полях тетрадей отмечали
 О близнецах запутанный рассказ.
 Но грубый опыт выяснил, что нам
 Уже с рожденья ненавистны обе, —
 Мы ключ искали к темным письмам,
 Но как-то сбились на простые дробь.

Композитор: Я слушаю. И кажется мне, право,
 Что мне знаком ваш голос. Он иль очень,
 До крайности, похожий, где-то
 Позвал меня однажды. В раннем детстве
 Иль ночью, иль в толпе. Во сне быть может.
 Зачем вы здесь? В каком краю далеком
 Вы изучали речь косноязычья?

Глюк: Давно, в пустыне, в зареве песков,
 Среди камней, расколотых сомнением,
 Я формулу вершин и облаков
 Объединил крылатым уравнением.
 Я взял число. Таинственно звуча,
 Оно легло основой вдохновенья, —
 Я вымысла ликующие звенья
 Скрепил винтом скрипичного ключа.
 И было всё гармония и смысл,
 Прекрасное влекло и волновало,
 Но в музыке фантазии и числ
 Чего-то мне еще не доставало.
 Быть может слез. Иль мутных истин зла,
 Иль бреда совести недоуменной, —
 Иль глухоты, в которой бы могла
 Вновь зазвучать симфония вселенной.

Композитор: Еще одно ночное наважденье, —
 Как ваше имя?

Глюк: Множество имен
 Есть у меня, но все они чужие.
 Я — поздний гость, зашедший ненароком,
 Бессонницы случайный собеседник.
 Когда меня бранят, я не сержусь,
 А тем, кто темным шорохом взволнован, —
 Я говорю: покойной ночи...

(Исчезает за деревьями).

Вл. Корвин-Пиотровский

С Т Р Е Л А

Лети, стрела. Тебя из лука
Пускаю в ночь. Навек прости.
Сквозь пустоту, быстрее звука,
Быстрее молнии, — лети!

Тебя берёг я не случайно,
Конец твой узкий заострял.
И от врага и друга тайно
Отравой горькой напитал.

Чтоб ты — не древнего пифона,
Густой окутанного мглой,
Средь оглушительного звона
Пронзила огненной иглой, —

Но в сердце гордое вонзилась.
О, как в нем пусто и темно!
Лети же, чтоб оно раскрылось
Хоть на мгновение одно...

С Ч А С Т Ь Е

Просил о силе, не о власти.
И не об истине — о счастье.
Просил и было мне дано.
Как будто узкое окно
Раскрылось в сад нездешне-здешний,
Невиданный, но вместе с тем,
Такой знакомый, ну, совсем
Как тот, где, полон силы дикой,
Один, на берегу Великой
Я рос...

И так же, как тогда,
Сияла нам в окне звезда
И счастье, наплывая тенью,
Жасмином пахло и сиренью.

РОЖДЕНИЕ ВЕНЕРЫ

Три дня он дул, без перемены,
Мистраль, стремя за валом вал.
Ты вышла на берег из пены,
Легко ступая между скал.

Не прерывался рёв пучины
Иплыли весело назад
Тебя примчавшие дельфины,
Дразня насмешливых наяд.

И боги радовались чуду
Блаженной радостью богов.
И доносился отовсюду
Их смех с ликующих холмов.

А ты средь скал еще стояла,
Ты косы влажные плела.
И до тебя не долетала
Богов певучая хвала.

**
*

На голых ветках пели птицы,
Но пенью птиц я не внимал.
Учитель ставил единицы
И головой седой качал.

А я мечтал о вечной дружбе,
О вольной жизни удалой,
О славных подвигах, о службе,
О том, что буду я герой.

Великий Цезарь Победитель,
Державший мир в своей руке.
А бедный ангел мой хранитель
Тихонько плакал в уголке.

Владимир Злобин

**
*

Как больно утром забывать
Всё то, что ночью мне приснилось,
Как больно видеть, что опять
Совсем напрасно сердце билось...

Оно взглянуло за черту,
В неизреченную безмерность,
Но где-ж ему поверить в ту
Прекрасную недостоверность?

Как с гибнущего корабля,
Оно с собой спасло оттуда
Не то, чего ждала земля —
Не откровение, не чудо,

А только несколько скупых,
Косноязычных обещаний,
И вот на отмели, в тумане,
Изнемогаем возле них.

**
*

Нет, конечно, это не пророчество,
Это лишь подслушанная весть,
Та, что боль земного одиночества
Помогает легче перенести.

Ангелы ко мне не наклонялись
И созвездия меня не жгли,
Как и всем, мне зори улыбались,
Пели ветры и поля цвели.

Но из этой каждодневной малости,
Этой скудной милостыни я
Сделал песню — пригорошню радости —
Песню о бессмертии бытия.

Хорошо в моей вечерней комнате,
Всем, всегда открою дверь мою,
И быть может обо мне вы вспомните
В мною вам подсказанном краю.

**
*

Вот она идет со мною рядом,
Девушка с «Онегиным» в руке.
Мы заброшенным спустились садом,
Мы выходим к дремлющей реке,
Растянулись на ковре весеннем,
Оба в золоте и в синеве...
И пока презрительный Евгений
Возле нас скучает на траве,
А вокруг крылатым аллилуия
Тополя и яблони звучат —
Родинку лукавую целую,
Ту, что возле правого плеча.

Миновалось всё, переменилось,
Дразнит лишь порой издалека,
И одна бессмертной сохранилась
Пушкинская легкая строка.
Та, что в то сияющее утро,
Той неповторимую весной,
Не нужна была совсем как-будто,
А теперь — одна еще со мной.

Д. Кленовский

Р И М

Saget, Steine, mir an, o sprecht
ihr hohen Paläste! Goethe

Ольге Александровне Шор

И з д а л ё к а

Как ярок — ослепительно! Но странно:
он издалёка светит весь туманно,
и кажется, что с неба эта мгла
сияющая на него сошла.

Дома, дома и, островами, парки,
а выше — звонницы, столпы и арки.
Присмотришься: монастыри, дворцы
и стен полуразрушенных зубцы,
Сан-Пьетро, и — похожие на скалы
изглоданные — термы Каракаллы.
О, дивное покоище миров,
богохранимый вертоград Христов!
Заворожен прошедшим вечно-сущим,
каким векам внимаешь ты грядущим?

S a n P i e t r o

Когда метет по Риму трамонтана,
выплескивая в небо непогоду,
и клонит кипарис и морщит воду
бормочущих на площади фонтанов —
прозрачнее от света и от ветра
вкруг обелиска мрамор чудотворный,
таинственнее в заводи соборной
колончатые неводы Сан-Пьетро.
Плывем, воистину, в ладье рыбачьей
у берегов обещанного рая,
откуда мы когда-нибудь, взирая
на этот мир, увидим всё иначе...
Да будет! Не повергнуть, не увлечь нас

течению к губельным водоворотам!
В тиши, страстям далекой и заботам,
уносит к ослепительным высотам
река земных времен, впадая в Вечность.

С а д К о р с и н и

Уж были сумерки, когда привратник
впустил меня в пустынный сад Корсини, —
темнели призрачные кущи пиний
и пахли ароматней.

Куда-то в гору повела аллея:
всё лавр, дубы, магнолии, каштаны.
На перекрестках — смолкшие фонтаны,
обломки мавзолея.

Крапивой густо поросли боскеты,
заброшенные клумбы одичали,
по прежнему одни ручьи журчали
журчаньем вечной Леты.

Как в царстве мертвых, я бродил по саду, —
с площадок лестницы монументальной
безлюдю аллею внимал печально
и шуму водопада.

И всё казалось мне таким знакомым —
гигантских пальм стволы с корой косматой,
и в заросли увечный мрамор статуй,
и с тиной водоемы...

Т и в о л и

По разному здесь воды плещут:
то серебристым говорком,
то льются песней, то кругом
глуша все звуки, буйно хлещут.

С Т И Х О Т В О Р Е Н И Я

Вода, вода! На горный склон
спешат потоки отовсюду,
и внемлет их живому гуду
молчание былых времен.

Ключом, сверкая, струи бьют,
плюются сказочные гады,
грохочут пенясь водопады
и дымной влагой обдают.

Из зевов мраморных фонтаны
взлетают дугами везде,
и отражаются в воде,
двоясь, и кедры и платаны...

Но есть аллеи: глухо в них.
Там кипарисы вековые
о мертвых думают, чужие
тревогам и словам живых.

С. Маковский

**
*

В аптеке продается вата
Одеколон и аспирин.
В аптеку входит бесноватый
И покупает апельсин.

Он получает по рецепту,
Прописанному Сатаной,
И заплативши фармацевту,
Идет из лавочки ночной.

Луна, сквозь облачную вату,
Мерцает в зеркале витрин.
И ест поспешно бесноватый
Свой ядовитый апельсин.

**

На вокзале, где ждали пыхтя паровозы,
Вы спеша уронили три красные розы.
Ваш букет был велик и отсутствия роз
Не заметил никто, даже сам паровоз.

На асфальте прекрасные красные розы,
Синий дым, как вуаль, из трубы паровоза.
Я отнял у асфальта сияние роз
И забросил в трубу — похвалить паровоз.

Это редкость: прекрасную красную розу,
Ожидая отход, проглотить паровозу.
И по вкусу пришлось сияние роз,
Как разбойник в лесу засвистел паровоз.

На стеклянном, огромном, бездонном вокзале
Мне три красные искры в ладони упали.
Зажимая ладонь было больно до слез —
Мне прожгло мое сердце сияние роз.

**

Идут поэт и попрошайка
В обнимку через красный мост,
За ними едет таратайка
И зазывает на погост.
Поэту холодно и зябко,
Он ходит в летнем пиджаке.
На попрошайке — просто тряпка
И две дыры на башмаке.
От смерти низкие перилы
Их отделяют в эту ночь,
Но у поэта нету силы
Предсмертный ужас превозмочь.
А друг его на таратайке
Уже умчался на погост...
Идет поэт без попрошайки
В сияньи через красный мост.

Юрий Одарченко

СОВРЕМЕННОКАМ

1

«Да, я знаю, я вам не пара,
Я пришел из другой страны»...

Н. С. Гумилев

Я вам тоже не пара, конечно.
Не случайно и я — акмеист.
Для меня лучше мастер заплечный,
Чем собой упоенный артист.
Мне близки Иудей, Элладу
Научившие в первый же век,
Что искусство дает лишь отраду,
Но без Бога ты не человек.
Уцелел прорицатель патмосский,
Искажавший Платона язык,
А не вычурные недоноски
Поздней Греции. Наш материк
На великих устоях построен:
С совестью говорит Иудей,
С честью — законодатель и воин,
С сердцем — женщина, мать матерей.
Оттого я люблю Гумилева,
Что, ошибки и страсти влача,
Был он рыцарем света и слова
И что вера его горяча.
У другого певца и солдата,
У католика Шарля Пеги,
Есть черты гумилевского брата:
Трус и лжец для обоих — враги.
Как они огненно-плотояден,
Я веду очистительный бой,
К фарисеям любви беспощаден,
С вами, ближние, но и с собой.

Получил я такую подмогу
В зоркой мудрости светлой жены,
Что созрел наконец понемногу
Для труднейшей — духовной — войны.

2

Добрые люди, поспешная рожь
Зреет, чтоб, желтую, срезала жница.
Так подрастающая молодежь
Замуж торопится или жениться.
Стебель окреп, а у нас позвонки
(Столько-то в спинах и столько-то шейных).
Хлеб из ржаной выпекают муки,
Дети рождаются в муках семейных.
Людам не терпится жизнью владеть.
Спелыми стать не терпелось колосьям.
Надо стареть и созреть и сгореть:
Смерть приближается... Милости просим!

3

Цикад вибрация (всё на одной и той же ноте)
В предчувствиях — грядущей ночи тишь,
И черной бабочкой в хромающем полете
Летучая
На светлом фоне — мышь.

Послезакатное (еще без звезд) такое,
О чем в любви своей нередко двое
Догадываются, но что не им
Раскрыто полностью, а лишь немолодым...

Жизнь в сумерки вступила, в их покое
Мы на пороге вечности стоим.

Николай Оцуп

ХОЛОД

I

Он мерзнет в воротах парка,
Просит на рюмку
И греет облачком пара
Другую руку.

От снега намокли ветки.
Ветер — сильнее;
Краснее мокрые веки,
А рот синее.

О, нет — без надрыва, просто:
Слезы — от ветра..
Никто не слышит вопроса,
И нет ответа.

II

Дали как будто во льду.
Ветер даже дубы оголяет.
Вслед за последним лучом
Медленно меркнут поля.

Веток не рвут находу
Те, кто осенью в роще гуляет.
Ветки висят под дождем,
Мертвой листвой шевеля.

Зыбь серебрится в пруду.
Помечтай, будто в водах бесцветных
Ветки деревьев иных
Сыплют невянувший цвет,

Будто в незримом саду
Расцветают нездешние ветки,
Будто мерцает сквозь них
Нежный немеркнувший свет.

Игорь Чиннов

АЛЕКСАНДР ДОБРОЛЮБОВ

В феврале 1894 года в Москве вышла в свет тоненькая книжка «Русские символисты. Выпуск I. Валерий Брюсов и А. А. Мировольский. Москва, 1894». Образцы «нового искусства», помещенные в сборнике, очень развеселили критику. Русский символизм рождался при дружном смехе читателей. Но вот происходит удивительное явление. На клич, брошенный Брюсовым, отзываются неведомые голоса. Новые символисты вырастают как из-под земли. 19 июня Брюсов записывает в дневник: «Неделя символизма... Минувшая неделя была очень ценна для моей поэзии. В субботу явился ко мне маленький гимназист, оказавшийся петербургским символистом Александром Добролюбовым. Он поразил меня гениальной теорией литературных школ и выгрузил целую тетрадь странных стихов. С ним была и тетрадь прекрасных стихов его товарища Вл. Гиппиуса. В понедельник опять был Добролюбов, на этот раз с Гиппиусом и я опять был прельщен. Добролюбов был у меня еще раз, выделявая всякие странности, пил опиум, вообще был архи-символистом. Два новые символиста взялись просмотреть другие стихи, подготовленные для второго выпуска. В результате они выкинули больше половины, а остальные переделали до неузнаваемости. Мы не сошлись, и поссорились. Союз распался — жаль».

Александру Михайловичу Добролюбову было тогда 18 лет (он родился в 1876 году). Издательница «Северного Вестника» Любовь Гуревич описывает его наружность: «Станным

* В прошлом году исполнилось 77 лет со дня рождения ныне почти забытого поэта Александра Добролюбова. Печатаемая ниже статья о нем найдена среди неопубликованных рукописей покойного К. В. Мочульского, который последние годы своей жизни посвятил изучению русских поэтов-символистов. Плод этих занятий — книга об Александре Блоке, вышедшая в 1948 году, вскоре после смерти автора, и две монографии, об Андрее Белом и о Брюсове, еще не напечатанные. Очерк о Добролюбове — как бы краткая дополнительная глава, естественно уместяющаяся в цикле работ, имевших целью осветить «трагедию русского символизма». — РЕД.

казался мне этот мальчик, с удивительными, огромными черными глазами, в которых какая-то затуманенность и возбужденность наводили на мысль, что он — морфинист, и которые вдруг поражали остротой и глубиной взгляда некоторых фигур Врубеля. В обществе он чудил и любил говорить пифически, иногда выражая нарочито дикими словами серьезную человеческую мысль».

Добролюбов — один из самых ярких представителей эпохи раннего символизма. Он хотел быть «poète maudit», пережить бурную жизнь Рэмбо, побывать в «искусственных раях» Бодлэра и в извращенном аду Верлена, испытать все соблазны демонизма. Ему пришлось оставить университет, где он страстно предавался проповеди самоубийства. Комната, в которой он жил, была обита черным сукном и обставлена различными символическими предметами. О нем ходили темные слухи: говорили, что он пьет опиум, занимается магией, служит черные мессы. Он «чудил», оригинальничал, подражая герою романа Гюисманса «Наоборот». Но под позой дэнди и сатаниста скрывалась большая культура и глубокая любовь к поэзии. На Брюсова влияние его было решающим. «Из знакомства с А. Добролюбовым, пишет автор «Chefs d'oeuvre», я вынес многое. Он был тогда крайним эстетом и самым широким образом начитан в той «новой поэзии» (французской), из которой я в сущности знал лишь обрывки. Он был пропитан самым духом «декадентства» и, так сказать, открыл передо мной тот мир идей, вкусов, суждений, который изображен Гюисмансом в его романе «Наоборот». Истинную любовь к слову, как к слову, к стиху, как к стиху, показал мне именно Добролюбов. Его влиянию и его урокам я обязан тем, что более или менее искусно мог сыграть навязанную мне роль «вождя русских символистов».

В 1895 г. Добролюбов выпускает первую книгу своих стихов: «Natura naturans. Natura naturata». Декадентски-манерные и технически-беспомощные, его стихотворения проходят незамеченными. Даже «странность» их никого не поражает. Юный автор трагически переживает свою неудачу. В 1896 году Брюсов приезжает в Петербург и встречает Добролюбова. «Увы, записывает он в дневник, это — развалина прежнего Добролюбова, это — днокорный, заискивающий юноша. Жизнь смяла его, и я люблю его. Но читателей у него не будет».

И вдруг Добролюбов исчезает. Проходит два года. В июле 1898 года на дачу в Останкино является к Брюсову странный гость. Тот не сразу его узнает: Добролюбов одет в крестьян-

ское платье; он в сермяге, красной рубахе, в больших сапогах, с котомкой за плечами, с дубинкой в руках. Почернел, огрубел, оброс бородой, глаза стали задумчивые, звериные. Добролюбов рассказывает Брюсову о своем «опрощении»; он жил в Олонецкой губернии, ходил на охоту на медведя, собирал народные сказки и песни. «По его рассказам, пишет Брюсов, он в отрочестве был страшно застенчив. Лет двенадцати он не решался смотреть на женщин... Но уже тогда посвятил себя искусству. Писал по-французски. Поклонялся искусству, верил только в этот мир и не считал ничего запрещенным... «Я никому не перескажу некоторых своих грехов, сказал он, ибо боюсь, что такое покаяние введет в соблазн. И я уверен, что иного вы и представить не можете, не можете помыслить». Брюсов продолжает: «Первая его книжка детская. Вторую решил не печатать и уехал из Петербурга. Рукопись погибла в типографии, тогда он сжег всё, что у него оставалось. И вдруг — уверовал. И тоже не остановился, а пошел до конца. Хочет раздать имущество и пойти на год в монастырь. «Прошлое было не лишним, сказал он. Я должен был узнать всю меру греха. Не лишним было и мое занятие стихами. Может, это было затем, чтобы я сложил потом два или три мотива». Добролюбов часто возвращается к словам, что он Антихрист и приводил пророчества в подтверждение. Его теория, что воли умерших предков превратились в скалы, растения, животные. Одной девушке он пишет: «Когда вы будете достойной, я приду и скажу вам истину, ради которой стоит жить». Через два месяца Добролюбов явился снова. Брюсов рассказывал Перцову: «Вдруг со словами: «Я помолюсь за вас», он вставал и падал ниц. Мы были в волнении. Х. совсем побледнела. Я спросил у него: «Кому вы молитесь?» Он отвечал: «Всем чистым духам, земным и небесным, и вам — ангелам». Со словами: «Если не поцелую ноги вашей, не будете со мною в раю», он поцеловал нам ноги. Потом говорил о смерти своего духа».

Неудавшийся поэт стал юродивым, странником, одержимым религиозной манией. Самые крайние и острые мистические состояния сменяются в нем с болезненной быстротой и напряжением. Как героев Достоевского, его «Бог мучит» — и он борется с Ним, то молясь и истощая плоть, то кощунствуя и распутничая. По всем путям идет он до конца, заглядывает во все пропасти, предается всем соблазнам, ищет опасности и постоянно играет со смертью — и телесной и духовной. В декабре 1898 года Брюсов получает от Добролюбова письмо из Соловецкого монастыря. «Днем ужас некий владеет

слабым телом», пишет тот. Потом он снова надолго исчезает. В 1900 году друзья издают вторую книгу его стихотворений: «Собрание стихов, со статьями Ив. Коневского и В. Брюсова. Москва, 1900 г.».

Стихи Добролюбова вне литературы. Их тяжелое косноязычие — бормотанье юродивого. Автор с мучительным напряжением ворочает глыбы слов, пытается найти выражение своим бредовым душевным состояниям. Что-то необычное, таинственное и темное упорно рвется к свету сознания. Душевное расплавлено, сожжено, принесено в жертву какой-то новой духовности; но и она поражена роковой немотой, погружена в тьму. Покаявшись в своей грешной жизни «демонического эстета», Добролюбов прошел через период суровой аскезы. Одно стихотворение посвящено веригам.

Прощайте, вериги, недолгие спутники грусти,
Холодным железом живившие члены,
Как жезл чародея меня под одеждой хранившие,
Со мной победившие столько несчастий.
В мгновенье вериги меня оживили.

Но это увлечение продолжалось недолго. Вериги не оживили его, а только растравили ржавеющим железом его раны; от гниения, тлена и смерти они его не спасли. Добролюбов решает всё бросить и уйти странствовать. Он уже видит себя каликой-перехожим на больших дорогах — и, подражая слогу народных песен, прощается с друзьями:

А и знаю я, братцы,
Что у вас в головах.
А и у меня, братцы,
Завелась болезнь.
А и с той поры, братцы,
Гвоздь в голове.
А и нету силы, братцы,
Кречетом летать.
Но недолго мне, братцы,
С вами говорить.
Солнце ждет меня, братцы,
И я знаю, кто.
Распрощаемся, братцы,
Только навсегда.

Уходит он от той жизни, которая стала для него смертью, уходит ослепший и оглохший, с «немотой в сердце», с болью

в душе. Идет к какому-то неясному свету, мелькнувшему ему во тьме. Беспомощно силится что-то объяснить.

Зачем в созвучьях я услышал
Удары рук, их стук глухой?
Зачем в напевах так ловил я
Безумно-странную струю?
Мертвы теперь навеки звуки...
Для мира я глухонемой,
Но, как Бетховен, мир грядущий
Творю глубокой глухотой.
Вдруг сердце плачет в новой боли...
Кто объяснит в чем горе то?
И отчего так сухо чувство?
И сердце немо отчего?

После долгих скитаний на Севере, он приходит в Соловецкую обитель и поступает послушником. Верит, что в монастыре ему открылся «мир грядущий». Исступленно молится, умерщвляет плоть, выстаивает долгие службы, исполняет все обряды, мечтает о постриге. И вдруг всё бросает, уходит из монастыря и отрекается от православия. Об этом периоде его жизни сохранились самые скудные сведения. В книге «Не мир, но меч» Д. С. Мережковский посвящает Добролюбову краткую заметку. Он пишет: «Александр Добролюбов, гимназист-декадент, подражатель Бодлэра и Свинборна, проповедник сатанизма и самоубийства, вдруг покаялся, бежал, был послушником в Соловецком монастыре, потом отрекся от православной церкви, исходил всю Россию от Беломорских тундр до степей Новороссии; служил в батраках у крестьянина, сходился с духоборами, штундистами, молоканами; за совращение двух купцов, которых уговорил отказаться от присяги и военной службы, приговорили к арестантским ротам, но помиловали и посадили в сумасшедший дом — выпустили».

В феврале 1902 года Брюсов приезжает в Петербург и навещает семью Добролюбовых. В дневнике записывает: «В четверг утром был у Добролюбовых. А. М. Добролюбов обвиняется в оскорблении святыни и величества. Ему грозит казнь. Отец Гиппиуса хлопочет, чтобы его послали на поселение. Мать, негодуя, хочет спасти его сумасшедшим домом. «Гиппиус всегда был злой гений Саши», говорит она. Потом позвали ко мне Александра. Он вошел или явился как-то неслышно; вдруг встал передо мной. Всё такой-же. Лицо исполнено веселья или радости. Тихо улыбается. Глаза светлые, радостные. Говорит тихо, мало. Перед тем, как отвечать, скла-

дывает молитвенно руки, словно размышляет или выпрашивает поучения от Бога. Говорит на «ты», называет «брат», говорит умно и, конечно, вполне складно. Прощаясь, целовал меня. Мать рассказывает, что один, он часто поет, импровизируя стихи. «Только бы записывать», — говорит она». Матери Добролюбова удалось спасти сына от каторги: он был помещен в психиатрическую больницу; в декабре того-же года Брюсов с женой его навестили. «Ездили к Добролюбову, — записывает поэт, — он в сумасшедшем доме. Но уже и доктора согласны, что он здоров. Добролюбов рассказывал мне свою жизнь за последние годы. Ушел он с намерением проповедывать дьявола и свободу. На первом пути встретил некоего Петра, человека неученого, но до всего дошедшего. Он многому научил Добролюбова. Когда же тот открыл ему свои тайные мысли, Петр соблазнился и оставил его. В Соловецком монастыре Добролюбова совсем увлекли. Он сжег все свои книги и уверовал во все обряды. Только при втором пути он немного стал освобождаться. Многому научили его молокане. Когда его арестовали, он на суде не был осужден. Его только обязали подпиской не выезжать. Он долго жил в Оренбурге, наконец понял, что больше нельзя. Пошел и заявил, что уходит. Ушел. Но через два дня его арестовали и отправили в Петербург. Теперь Добролюбов пришел опять к уверенности своих первых лет, что Бога нет, а есть лишь личность, что религия не нужна, что хорошо всё, что дает силу, что прекрасны и наука и искусство... Добролюбов намерен вернуться в жизнь интеллигенции...».

«Еще Добролюбов мне рассказывал, что его первоначально очень томил «бес сладострастия». Но после это прошло. А еще после опять вернулось. И он стал размышлять, почему соединение с одной женщиной — не блуд, а со многими — блуд? Ибо всё — одно; телесность, множественность тел — призрак. И пришел к убеждению, что соединение со многими — не грех. Отсюда началось его разочарование в своем учении».

Эта полоса безбожия продолжается в 1903 году. Снова Брюсов встречается с Добролюбовым в Петербурге: он уже выпущен из сумасшедшего дома и живет у матери. Поэт разочарован в своем друге: «Та же трезвая проповедь любви и мира», записывает он. «Читал он нам свои новые стихи и рассказы — в старом стиле — немного разве проще. Стоило ли уходить в Соловецкий монастырь и на Урал, чтобы через 5 лет придти к старому».

Но возвращение к безбожию не было завершением стран-

ного пути Добролюбова: он преодолевает искушение и снова возвращается к Богу. Осенью 1903 года он появляется в Москве и приходит к Брюсову. Тот записывает в дневник: «Был у меня Добролюбов. Лето он провел в Самарской губернии. Теперь едет в Петербург. Дни, когда мы видели его в Петербурге, он называет своим искушением. Тогда его ободряли сомнения, теперь он верит. Он вновь служит Богу. Говорит он самоуверенно, хотя кротно. Говорит: братья, сестрицы, но поучает и всё предупреждает: «Может быть мои слова и не будут вам вразумительны». А говорит разные плоскости. Повторяет учение духовоборов... А я спросил Добролюбова, что он думает о Христе. Он отвечал: «О ком ты говоришь? Если о сыне Мариам, я о нем ничего не знаю».

На этом записи Брюсова обрываются. О дальнейшей судьбе Добролюбова мы знаем мало. А. Белый в книге «Начало века» кратко рассказывает о новых скитаниях юродивого поэта на Севере. «Потом, пишет он, Добролюбов объявился на севере, как проповедник, почти пророк собственной веры; учил крестьян он отказу от денег, имущества, икон, попов, нанимания по деревням в батраки... После его секта: хлысты от радений отрехшиеся, притекали к нему и толстовцы, к которым был близок; учил он молчаливой молитве, разгляду Евангелий, «умному свету», слагая напевные свои гимны, с «апостолами» своими распевая их».

Всегда неожиданно появлялся в Москве и жил в квартире у Брюсова. Тот очень тяготился его посещениями и побаивался своего странного друга. Белый живописно изображает одно из таких появлений Добролюбова. «Раз, придя к Брюсову, пишет он, я уселся с семейством за чайный стол: вдруг в дверях появился высокий румяный детина; он был в армяке, в белых валенках; кровь с молоком, а — согбенный, скрывал он живую свою улыбку в рыжавых и пышных усах, в грудь вдавив рыжекрасную бороду; и исподлобья смотрел на нас синим, лучистым огнем своих глаз; никакого экстаза! Спокойствие. Смешку усмешливую в усы спрятал, схватился рукою за руку, их спрятавши под рукава. Брюсов: «Брат Александр, возьми стул и садись». Нос — длинный, прямой, губы — сочные, яркие, тонкий профиль — не тощий, а продолговатый; усы, борода — лисий хвост. Ни тени юродства».

Знакомство Белого с Добролюбовым было недолгим. Однажды «пророк» написал ему странными каракулями письмо «о брате Метерлинке». Потом к нему явился. Долго сидел молча. «Вдруг, пишет Белый, подняв на меня с доброй и нежной улыбкой глаза удивительные, он произнес очень громко

и просто: «Дай книгу». Имел в виду Библию. Я дал; он раскрыл, утонувши глазами в первый попавшийся текст; даже не выбирая, прочел его. «Теперь помолимся с тобой, брат». И глаза опустив, он молчал.

В 1905 году друзьями Добролюбова был издан третий сборник его стихов; «Из книги невидимой». В них мы находим те «напевные гимны», которые он распевал со своими «апостолами». Они напоминают народные духовные стихи и сектантские песнопения. Чем-то древним, таинственным и сильным веет от этих вольных размеров и ломанных ритмов. «Пророк» заключен в темницу, но он знает: скоро раздвинутся стены и небо преклонится к земле. О преображении мира поэт радостный пленник.

Брат, возрадуются стены темницы
И расцветут и оживут,
И покроются тысячами земных листьев
И облаками золотых цветов.
И победит храм нерукотворный
Храм рукотворный
И весь видимый мир.
И раздвинутся стены
И откроется небо.

О мистическом браке души с Богом Добролюбов говорит экстатическими словами, напоминающими гимны Св. Симеона Нового Богослова:

«В бесконечной любви, как любовник перед первой невестой своей, как сын пред отцом, как друг перед друзьями, упадет Он к ногам моим, как женщина, отиравшая ноги Его волосами и покрывшая их лобзанием святым, так будет рыдать Он в любви бесконечной».

«Кто дал мне этот закон смерти? Я хочу жить, потому буду жить. Вы говорите, есть закон смерти. Я искал его в себе и везде и не нашел. Есть только бессмертие потому что есть воля...

...Тогда я говорил тебе, плоть: я хочу любить тебя, сестра, любовью нежной и могущественной, хочу обнять тебя в благоволении, чтобы ты преобразилась в бессмертии».

Я покрою тебя золотым одеяньем,
Возвратит мне блистанье сестрица весна,
Я оденусь навек белизной и блистаньем,
И весеннего выпью с друзьями вина.

И поэт обличает грехи «города».

Этот город боролся с моей чистотою.
С моей верой боролись и лучшие их,
И потом же они посмеялись надо мною,
Заключили меня в тесных тюрьмах своих.
За то выслушай, город, — я тебе объявляю:
Смертью дышит твой мрак и краса твоих стен.
И тюрьму и твой храм наравне отвергаю,
В твоём знании и вере одинаков твой плен.

«Собственная вера» Добролюбова, легшая в основу созданной им секты, с наибольшей полнотой раскрывается в «духовном стихе» «Восстановление прав плоти». Нового в ней немного: это — своеобразный пересказ учения Григория Нисского об «апокатастасисе» — о восстановлении всего сущего в Боге, о целостном преображении мира. Добролюбов вносит от себя призыв к активности, к человеческому участию в деле создания нового неба и новой земли. Его неуклюжие строки поражают своей убедительностью, силой, сдержанным восторгом. В них есть подлинное религиозное творчество.

Я вернусь и к тебе, моя плоть,
Я построил мой храм без тебя,
Я змею тебя называл,
Но я верю пророчествам древних:
В храм войдет поклониться змея.
Она будет лишь пылью питаться,
И не будет вредить на горе,
Дети будут играть со змеями,
И младенец протянет рученку
Над гнездом ядовитой змеи.
Все поганые, низкие звери
Воссияют в могуществе сил.
Не погибнет земное строенье,
И строитель его не умрет.
Дождитесь и нового неба
И бессмертной и новой земли!
Где живет без строения строитель?
Он построит бессмертную плоть.
Без конца возвышаются стены,
И не дрогнет нигде и кирпич.
Сам ли веришь достигнуть свободы
И глубоких незримых небес?
Это гордость — мечтанье ребенка!

Но сначала иди среди братьев,
 Но трудись с каждой тварью в ряду!
 Только если весь мир озарится,
 Если каждый цветок заблестит,
 Воссоздастся бессмертное небо
 И духовная чистая плоть.
 Вот небесный закон неизменный!
 Небо будет бесплодной пустыней,
 Неба нет и не будет вовек,
Пока мир весь в него не войдет.

Вот и всё, что мы знаем об «учении» Добролюбова. История секты «добролюбовцев» еще не написана. За скудостью материалов духовный образ «пророка и проповедника» для нас двусмыслен и неясен. Самый близкий его друг — Брюсов — явно его не понимал. Белый пишет о нем со скептической насмешливостью. В ином — неожиданном — освещении представляет нам Добролюбова Мережковский. В книге «Не мир, но меч» он описывает посещение «брата Александра». Добролюбов явился к нему на кухню, в сопровождении какого-то татарина, смотревшего на него, как на пророка. «Самый обыкновенный русский парень, пишет Мережковский, в тулупе, в рукавицах и валенках, с красным от мороза, очень здоровым и спокойным лицом.

— Не узнаешь меня, брат Дмитрий?

— Не узнаю.

— Я твой брат Александр.

— Какой Александр?

— В миру звали меня Добролюбовым.

— Александр Михайлович! Это вы? Неужели?

...Они остались у меня обедать. Оба не ели мяса и для них сварили молочную кашу. Иногда во время беседы брат Александр обращался ко мне со своей детской улыбкой:

— Прости, брат, я устал, помолчим...

И наступало долгое молчанье, несколько жуткое, по крайней мере для меня; когда он опускал глаза свои с длинными ресницами и простое лицо, как будто изнутри освещенное тихим светом, становилось необычайно прекрасным. Я не сомневался, что вижу перед собою святого. Казалось, вот-вот засияет как на иконах золотой венчик над этой склоненной головой, достойной фра Беато Анджелико. В самом деле, за пять веков христианства, кто третий между этими двумя — Св. Франциском Ассизским и Александром Добролюбовым?

Один прославлен, другой неизвестен, но какое в том различие перед Богом?»

Сатанист, богоборец, послушник, сектант, агитатор, юродивый, святой — столько ликов у этого загадочного человека!

Вскоре он снова исчез. Никому не писал. В литературных кругах его забыли. Но через несколько лет Мережковский получил с Урала письмо от одного сектанта-молоканина. Вот что он писал о Добролюбове: «Живет он в рабьем зраке, занимается поденными работами, землекопом; проповедует свою истину тайно; более скрывается в банях и кухнях. Смотришь — придет в дом, войдет в кухню, и потом к нему туда водят, по одному человеку на беседу. Около 900 душ отколол от собрания нашего (молоканского). Последователи брата Александра находят лишним и моления, и песни видимые. Прежде много пели, а потом брат Александр сказал, что «граммофон ни к чему» — и перестали петь. И молиться никогда не молятся, а вот их обряд: сидят за столом, и хоть бы показали вид, что сердечно вздыхают; сидят поникши, кто где сел, пока кто-нибудь что-нибудь скажет или запоет, тогда поют, но нехотя; а чтобы кто помолился, этого совсем нету».

Картина — страшная; умирает религиозное чувство, огонь гаснет, сгущается ночь; сидят поникши, без слов, без пения, без молитвы, неподвижные, опустошенные, печальные...

По слухам Добролюбов погиб во время гражданской войны 1918 года.

Александр Добролюбов — воплощение трагедии русского символизма: он сгорел в мистическом пламени внезапно вспыхнувшем на грани нового века. Его судьба таинственными нитями сплетается с судьбою Блока и Белого. Все они —

Слишком ранние предтечи
Слишком медленной весны.

Размышляя над участью Добролюбова, Мережковский справедливо подчеркивает исторический смысл русского «декадентства». «Декадентство в России, пишет он, имело значение едва ли не большее, чем где-либо в Западной Европе. Там оно было явлением по преимуществу эстетическим, то есть от реальной жизни отвлеченным; в России — глубоко жизненным, хотя пока еще подземным. Русские декаденты — первые русские европейцы, люди всемирной культуры, достигшие тех крайних вершин ее, с которых открываются не-

ведомые дали будущего... Они спустились в страшное «подполье» Достоевского; и то, что грезилось ему в «человеке из подполья», воплотилось в русских декадентах... Русские декаденты — первые в русском образованном обществе, вне всякого предания церковного, — самозародившиеся мистики... Художники такого классического совершенства, как Брюсов, Сологуб, З. Гиппиус — единственно законные наследники великой русской поэзии от Пушкина до Тютчева. Но их искусство — больше, чем искусство; это — религиозный искус; их стихи — дневник самых упорных и опасных религиозных исканий».

Александр Добролюбов был первым из «самозародившихся мистиков» эпохи символизма. Никакое «предание» не связывало его с церковью. Задохнувшись в позитивном мире интеллигенции, он бежал в народ, искал мистического воздуха среди молокан, духоборов, штундистов. Этот трагический путь привел его к религиозному нигилизму.

К. Мочульский

О, этот город, этот холод,
Осенний ветер, вечер, мгла...
«Блажен, кто с молодю был молод»,
Блажен, кто верил в силу зла,

И разуверился под старость.
И вот не верит ничему;
И нежно смотрится усталость
В его светлеющую тьму.

К. Померанцев.

Н. А. К Л Ю Е В

(1887-1937)

В самом конце прошлого столетия, в нашей отечественной литературе, появился необычайный прозаик. По происхождению, внешности и образу жизни, его никак не могли уложить в установившийся образ писателя. Тематика, стиль и персонажи его произведений были так же необычны. Это был А. М. Горький. Его личная и творческая оригинальность сразу же обратила на себя внимание литературного мира и широких кругов читающей публики.

В короткий срок оригинальный писатель стал популярен, не только у себя на родине, но и в зарубежных странах. О нем и по поводу его произведений поднялся горячий спор. Во всех высказываниях, приходили к одному и тому же выводу: А. М. Горький открыл новый мир, мир «бывшего человека».

Не прошло и десяти лет после открытия «нового мира» М. Горьким, как произошло открытие второго «нового мира» (хотя он был самым старым из миров). «Колумб» этого «нового мира» поражал своею оригинальностью может быть еще больше, чем М. Горький. Это был тихий деревенский юноша — то-ли послушник, то-ли заветник-богомolec древнего монастыря. Явился он воплощенной кротостью. Сквозь его деревенский, старообрядческий облик «струился несказанный свет» религиозной и поэтической одухотворенности. Он пришел в Петербург, как маляр-подмастерье, шпатлевать и белить городские квартиры. За работой, с кистью в руках, в квартире поэта Сергея Городецкого, юноша запел (именно запел) свои стихи. Это была песенная старинная русская мелодия, почти былинный сказ, полный изумрудов настоящего русского слова. Сергей Городецкий, услышав это пение из соседней комнаты, замер от изумления. Когда пение оборвалось, поэт вышел к маляру. Разговорились. Юноша назвал себя Николаем Ключевым. Выяснилось, что песни он сам «складывает». Но когда Сергей Городецкий попытался их записать, Ключев отказался диктовать. «Может быть, это большой грех», отговаривался он.

С тех пор поэт и маляр стали друзьями. Без преувеличения можно утверждать, что маляр оказал большее влияние на

поэта, чем поэт на маляра. Именно, под влиянием клюевской поэзии, С. Городецкий обращается к изучению русской языческой мифологии, что и получает отражение в его дореволюционных стихах (сборник «Ярь»).

Прошли годы, но Н. Клюев не появлялся в печати. Что он делал в это время? Говорят, учился в Духовной Академии. Он был старовер-единоверец. В единоверческой церкви, на углу Николаевской и Кузнечного, до закрытия ее большевиками в 1932 или 1933 году Н. А. можно было видеть на каждом богослужении. В Духовной Академии будто бы было сколько-то мест для учащихся единоверческой церкви с особой для них программой. Прекрасное знание Клюевым церковной истории, русской старины и письменных памятников нашей древности заставляет нас этому верить. Во всяком случае Н. А. Клюев был образованным человеком. В жизни он всецело ушел в «монастырь» своих поэтических образов и в его «кельях» прожил всю свою жизнь одиноким. По народному обряду носил только русскую одежду (фуражку, поддевку, русские сапоги, рубашку косоворотку...).

— Я не ношу немецкого платья, — говорил он. Стригся Н. А. «под кружок» и никогда не брил своей бороды — «филина».

До отъезда в Москву (1932 или 1933 г.), Н. А. жил на улице Герцена (Раньше Морская), № 25. Прежде чем принять у себя кого-нибудь, спрашивал у доверенных лиц: «А он не комиссар?..». Комиссарами называл коммунистов. В 1929 году мы зашли к нему с поэтессой М. На стук он открыл нам дверь своей «кельи». Мы очутились в настоящей деревенской избе. В левом углу — треногая лохань. Над нею висел чугунный рукомошник. В другом углу стояла кровать под пологом. Третий угол занимала божница. В ней — ценнейшие образцы русской иконописи.

С большой скорбью Н. А. жаловался нам на свою тяжелую нужду. Она заставила его отнести и продать музею уже не одну икону. Перед иконами висели три лампадки. Стол был накрыт деревенской скатертью. На столе стояли простые старинные подсвечники. Электричеством — этим «огнем в пупыре», он не пользовался. На маленьком столике у стены, лежали толстые, рукописные, старообрядческие книги в кожаных переплетках. Н. А. подвел нас к книгам и ласково проговорил: «Это мои университеты».

Разговор о поэзии у нас не клеился. Время было тревожное — развертывалась во всю коллективизация. Судьба народа

глубоко волновала Н. А. Он понимал, что большевики собираются закрыть, открытый им, мир народа, а с ним и его поэтический «монастырь». Еще в самый расцвет НЭП'а, он отчетливо угадывал будущее. Еще тогда, в 1926 и 1927 годах, в поэмах «Плач по Есенине» и «Деревня», он в ярких образах вещал: «К хлебушку с новым раем, посошку пути не легки»... «От полавочных изголовий неслышно сказка ушла»... В наступлении большевиков на деревню, ему чудилось опустошение крестьянской души, катастрофический распад народного духа. «По горбылям железных вод Горыныч с Запада ползет». Горыныч выбросит иконы из красного угла, разгонит «запечных богов», убьет сказания, поверья, песни, сказки, всё, что было скоплено народом в тысячелетиях.

Поговорили о деревне, о надвинувшемся на крестьян горе. Когда мы уходили, Н. А. почти шопотом несколько раз сказал: «Будет гарь... Ох, будет гарь»... Насильственная коллективизация у него ассоциировалась с насильственным никонианством. Вскоре после этого, когда крик о коллективизации в прессе и журналах стал истошным, Н. А. принес в редакцию журнала «Звезда» стихи. Они начинались так: «Кто о чем, а я о дуперстии»...

В начале 1930 года, группа крестьянских писателей задумала устроить вечер, посвященный поэзии Н. А. Клюева. Всем хотелось услышать его новую поэму «Погорельщина». Знали, что она к печати никогда не будет допущена большевиками. Предприятие было рискованное. Легальное проведение вечера требовало страховки в форме критического доклада. Доклад поручили сделать критику Г. Р. Вечер состоялся на Стремянной улице № 10, в Доме деревенского театра. Большой зал был полон народа. Присутствовали поэты, писатели, студенты, педагоги. Чтобы не обижать поэта, перед началом доклада, его увели в отдельную комнату и стали угощать чаем.

Н. А. пил чай, а критик его «критиковал»: поэзия Н. А. Клюева несозвучна политической современности; при всей яркости ее образов и глубине чувств, она несет на себе печать старообрядческого духа; говоря о новом в образах прошлого, она мешает нормальному восприятию нового; говоря о деревне, она противопоставляет ее городу. «Вы железные бетонные — Мы ржаные толоконные»... пишет в стихах Н. А., обращаясь к пролетарскому поэту Кириллову. Так говорил критик.

Когда кончился доклад, Николая Алексеевича привели в зал. Присутствующие встретили его аплодисментами. Не снимая поддевки, поэт сел у стола и стал читать «Погорельщину».

Зазвучал, окающий по олонецки, его былинный сказ. В воображении, как в театре, пошел вверх занавес, раскрывая перед слушателями народный мир, в его полном убранстве. Начиная этот мир где-то далеко за историческим рубежом. Неустанно развиваясь в себе, он приводил нас к настоящему. В «Погорельщине», в образе Настеньки-пряжи Русь тянет с «кудельной бороды» непрерывную нить народной жизни. Короткие словесные мазки поэта окружают Настеньку нимбом благословенного труда, памятью о народных походах и битвах, сказкой и горестной былью. Ломается прялка под гибельной новью, рвется нить, умирает Настенька. Сгорает духовный дом народа — «Погорельщина».

Поэма вызвала у слушателей восторг, смятение перед «новью» и тяжелую тоску по «Настеньке». «Маята как змея одолела»...

После «Погорельщины» Н. А. читал «Деревню», менее сильную поэму, но зато уже с дерзкой надеждой:

«Будет, будет русское дело, —
Объявится Иван Третий
Попрать татарские плети,
Ясак с ордынской басмою
Сметет мужик бороною!...».

За «Деревней» следовал «Плач о Есенине» (поэма на смерть Есенина). Это действительно плач. Огромная скорбь вложена в эту поэму по погибшем «побратиме». Побратим не только ушел из жизни, но еще — самоубийством — лишил себя погребения и поминовения по народному обряду (православному). Это воспринималось Н. А., как одновременный уход и от народа, как «измена запечным богам и зыбке».

«Пришел ты ко мне из Рязани платочком нестираным, немыленным, Звал мою пазуху улусом татарским, а бороду филином. Лепил я твою душеньку, как гнездо касатка»...

Особенно сильны два места поэмы — надгробная колыбельная и собственное ощущение предсмертья. Колыбельная положена на музыку и широко распространена в СССР.

«Сон Сереженьки пригож
На гусеньша похож.
Баю-баю, баю-бай, как проснется невзначай...»

А потом о себе:

«Падает снег на дорогу
Белый ромашковый цвет
Может дойду понемногу
К окнам где ласковый свет»...

Но в советских окнах для народного поэта не было ласкового света.

Когда кончился вечер, Николаю Алексеевичу долго аплодировали, искренне, с любовью. Расходились с грустью, понимая его правду и предвидя предстоящую за нее гибель. Однако, в 1930 г. еще вышел его сборник избранных стихов. Конечно, избранных не им, а кем-то, по принципу политической безобидности. Это было последнее слово Н. Клюева в печати.

В 1932 году партия решила покончить с полусоветскими литературными объединениями — попутчиков, крестьянских писателей. «Социалистический реализм» был объявлен единственно законным направлением.

Николая Алексеевича, видимо, думали подкупить. Ему предложили переехать в Москву и даже назначили пенсию. Верный своим народным песням, он не переходил на оды в честь антинародной власти. Его арестовали и сослали в Сибирь, в село Колпашево, Нарымского округа. Здесь, мы встретились в последний раз. Это было в самом начале 1935 года. Встреча была короткой. Екатерина Павловна Пешкова, вероятно, не без помощи А. М. Горького, выхлопотала Клюеву перевод в город Томск — в более культурное место ссылки. Там он и оставался до конца срока приговора, почти совпавшего с концом его жизни. Считают, что он умер в 1937 году по дороге из ссылки. Дата устанавливается по рассказам и мы не уверены в ее точности.

Нам не известно, что делал и что писал Н. А. в Томске. В Колпашеве он писал мало — быт, тяжелая нужда убивали всякую возможность работы. Кроме того, у ссыльных несколько раз в году производились обыски. Отбирали книги, письма и тем более рукописи. Запись открытых мыслей была исклечена. В Колпашеве Н. А. была начата поэма — «Нарым». Пока это были композиционно не слаженные, отдельные строфы. Записаны они были на разных клочках бумаги (от желтых кульков, на оберточной бумаге). Видимо, поэму он записывал только на время, пока не выучит наизусть, а затем уничтожал записи. Написанное он читал некоторым ссыльным. Талант

его не угасал, хотя поэт и чувствовал себя морально подавленным.

Критические статьи, заметки и письма о творчестве Н. Клюева составили бы не менее трех объемистых томов, если бы они были собраны. В них вошли бы статьи Андрея Белого, Н. Гумилева, Торова, Иванова Разумника, Льва Рогачевского, Сиповского, Евгеньева-Максимова, Гусмана, Л. Троцкого, Лелевича, Воронского, Полонского...

В чем же оригинальность творчества Н. А. Клюева?

Почти вся доклюдская поэзия о народе представляет собою как бы фотоизображения на фоне казенного полотна российской государственности. Мужика брали «то крупным, то малым планом» в социальной обиде, в бедности или горе, за трудом у сохи, в тоске у кабацкой стойки, как богоносца, как погорельца, как голодающего от неурожая, но не в комплексе его духовного мира. У народа своего особого мира как бы не было. Его убогую жизнь видели на самом краешке русского (пусть вольного и переработанного) перевода западной культуры. За пределами этого перевода предполагалась темнота. Эту «темноту» Н. Клюев осветил своей поэзией и там оказались несметные духовные богатства, целый мир.

Умеющие видеть, увидели этот мир.

«Олений гусак сладкозвучнее Глинки,
Стерляжи молоки Верлена нежней
А бабкина пряжа, печные тропинки,
Лучистее славы и неба светлей...»

Через Н. Клюева к творческим источникам народного мира пришли: Блок, Бальмонт («Жар птица», «Свирель славянина»), Пришвин («Город Неведомый»), А. М. Ремизов... Шли по-разному — один к русскому фольклору, другой к демонологии, третий к преданиям и верованиям. Но один Н. Клюев видел этот мир целиком, в том целостном образе, в каком его видит и знает народ.

Вскоре у Н. Клюева появились последователи. Из них возникла клюевская школа (Есенин, Клычков, Орешин, Ширяевец и десятки оставшихся в неизвестности). Их называли «мужиковствующими», «крестьянскими поэтами», «неонародниками». Насколько точны эти наименования, нет смысла спорить, но то, что «неонародники» на этот раз не были «варягами», а вышли из самого народа — неоспоримо. И главное: эти неонародники, по своей культуре и положению в литературе не уступали представителям других направлений.

Другая особенность Н. Клюева-поэта: он подчинил книжные знания народности, свое поэтическое слово искал не в книгах, а в народных песнях, былинах, сказаниях, в живой народной речи. Клюевские поэтические образы так же неизменно народны и историчны:

«Осеньет словесное дерево,
Избяную дремучую Русь»...

Или:

«Нам любви Бухары, Алтай, —
Не тесно в родимом крае,
Шумит Куликово поле
Ковыльной залетной долей»...

Путем перекрытия локального образа историческим, поэт достигает высокой динамики, вызывая наглядные представления широкого обобщения и исторической глубины. Его метафоры почти всегда непосредственно народны и чаще перенесены нетронутыми из живой речи или фольклора. Этот прием придает поразительную отчетливость представлениям и сохраняет безупречную правдивость выражаемого. Потому в поэзии Н. Клюева и выступает наш народ в таких полных и законченных очертаниях, на всем его историческом пути и во всем его духовном объеме.

Из всего сказанного, конечно, не следует, что поэзия Н. Клюева никогда не испытывала на себе чьих-либо влияний. Влияния в его первый творческий период были и А. С. Пушкина и А. Блока. Это особенно заметно в первой книге «Песно-слова»:

«Зима изгрызла бок у стога
Но вдомек —
Буренке пегая дорога
И грай нахохленных сорок»...

Однако, это влияние не было длительным.

Скажем несколько слов о Н. Клюеве — гражданине. Кригики поэзии Н. Клюева очень часто принимали поэтическую технику за политическое кредо. Его сложные образы — выразители народного духа, истолковывались, как личная клюевская социальная программа. Исторические образы принимались за настоящее. Но в основном критика всё же была права: к большевистскому коммунизму Н. Клюев относился резко враждебно, настолько же враждебно, насколько весь наш народ. Вместе с народом он ждал земли и свободы, вместе был обманут боль-

шевиками и вместе шел на бунт против поработителей, в своей поэзии принимая облик былинного богатыря и возбуждая героические чувства, ведущие к подвигам за общенародное счастье. За волю :

«Пробудился народ богатырь,
Ставьте свечи мужицкому Спасу...»

За землю :

«Обожимся же, братья, на яростной свадьбе
Всенародного сердца с Октябрьской грозой, —
Пусть на полке Тургенев грустит об усадьбе,
Исходя потихоньку бумажной слезой...»

За народную власть :

Есть в Ленине керженский дух
Игуменский окрик в декретах,
Как будто истоки разрух
Он ищет в Поморских Ответах...»

Не царь, не диктатор, а игумен — пример народного благочестия, казначей народной правды. Не террористическая власть, а денисовский безвластный авторитет. Не искусственный интернационал, а органическое развитие народной самобытности. Не никонианское насилие, а свободные денисовские ответы (Поморские) на сто вопросов Неофита...

Отгремели пушки гражданской войны. Земля у народа. А воля и власть?.. Власть большевики не собираются передавать народу, вместо воли насильственная организация совершенно чуждых духу народа социальных форм. Бунт народа (Кронштадт, Поволжье, Сибирь, Воронежская область, Северный Кавказ...) и голос народного поэта:

«Уму республика, а сердцу — мать Русь,
Пред пастью львиною и то не отрекусь!
Пусть камнем стану я, корягою иль мхом —
Мой плач, мой клич о Китеже родном...»

Поэт, как и народ, не принимал большевистской интернационализации России. С. Есенин, почти в то же время, сказал еще прямее:

«Жалко им, что Октябрь суровый
Обманул их в своей пурге —
И уж точится удалю новой
Крепко спрятанный нож в сапоге...»

С тех пор нож не раз пускался в дело против антинародной власти — за «Русь», за народный Китеж. Борьба не закончена. Погибли народные поэты, погибли миллионы людей из народа, но

«Будет, будет русское дело...
Ясак с ордынской басмою
Сметет мужик бородою»...

Р. Менский

Тепло в курятнике. Помет.
В соломе — стебельки бурьяна.
А в лужах, перед дверью, лёд
И листья ломкие каштана.

Петух горланит, подскочив
На ящик боком, неуклюже,
И ветра шалого порыв
Его надменный хвост утюжит.

В бадье продрогшая вода
И леденит, и обжигает.
Заря, сквозь сосны, как всегда,
Пурпурный веер раскрывает.

И бодро так, и хорошо.
Простая радость неделима,
Соединяя, словно шов,
Два мира: внутренний и зримый.

Екатерина Таубер

ЛИТЕРАТУРА НЕЗАВИСИМОЙ ПОЛЬШИ

Мы с удовольствием печатаем интересную статью известного историка польской литературы и литературного критика Виктора Вейнтрауба, написанную им для «Нов. Журнала» и переведенную с польского Зоей Юрьевой. В настоящее время В. Вейнтрауб читает польскую литературу в Гарвардском Университете. РЕД.

Даты больших политических событий не всегда совпадают с хронологическими границами литературных периодов. Но завоевание Польшей независимости в 1918-м году совпало с появлением в ее литературе новой поэтической группы «Скамандра», произведшей революцию в поэтической традиции Польши и положившей начало новому периоду в истории польской литературы.

Группа «Скамандра» называлась так по ежемесячнику, в котором молодые поэты печатали свои стихи. Едва ли можно видеть в членах этой группы представителей одной поэтической школы или сторонников какой-нибудь общей программы. «Скамандритов» объединяла прежде всего реакция против традиций так называемой «Молодой Польши» — польского варианта западно-европейского символизма. Поэт «Молодой Польши» непременно стилизовал себя под мага и ясновидца тайн духовной жизни. «Благородная душа», «внутренний жест» — были типичными самоопределениями поэтов этого времени. Поэт же «Скамандра» наоборот часто стилизовал себя под весельчака, шута, комика. «Зелено в голове моей и в ней цветут фиалки», — заявил Казимир Вежинский в одном из своих первых стихотворений. В соответствии с их позицией, видные поэты «Скамандра» часто бывали сотрудниками юмористических журналов и авторами текстов для кабаре (почему уровень последних и поднялся до небывалой перед тем в Польше высоты). Кое-кто этим возмущался, но, в общем, после ходульности «Молодой Польши» (которая успела уже духовно выдохнуться к 1918-му году) это ощущалось, как освежающая новизна. От первых стихов «Скамандритов» веяло молодостью,

жаждой приключений, — пусть иногда даже немного хулиганской веселостью и весной.

Такая поэтическая позиция «Скамандра» не могла не привести к революции в традиционном поэтическом языке. Возвышенная лексика «Молодой Польши» была сдана в архив. В поэзию бурной струей влились обороты разговорной речи, арго, даже технические термины, которые раньше были немыслимы и недопустимы. Поэты «Скамандра» создавали поэтическую атмосферу прежде всего путем более смелой и сгущенной метафоры, а также при помощи другой метрической оркестровки поэтического языка. Тонический стих, вернее силлабо-тонический, который и раньше появлялся в польской поэзии, теперь стал господствующим. Здесь особенно сильно сказалось русское влияние. Группа «Скамандра» — первая в истории польской литературы, при оценке которой можно говорить о серьезных русских влияниях.

В 19-м веке влияние русской литературы в Польше носило несколько парадоксальный характер. Русская школа насильно привила большинству польской интеллигенции хорошее знание русского языка и литературы. Но это знание, приобретенное недобровольно, рассматривалось как нечто унижительное, с чем нужно было бороться из патриотических соображений. Средний польский интеллигент знал русских классиков несравненно лучше, чем средний интеллигент в Германии, Франции или Чехии. Однако в польской критической литературе об этих классиках говорилось гораздо меньше, чем в других европейских странах. И русские литературные влияния проявлялись только тайком, стыдливо, не принимая никогда программного характера. С завоеванием же независимости огромное большинство поляков, особенно представителей молодого поколения, быстро излечилось от этого комплекса. И лучшим доказательством этому явилось большое количество переводов из русской литературы и развитие русской филологии и литературоведения, в котором роль пионера сыграл профессор Вацлав Ледницкий. А Юлиан Тувим, один из крупнейших поэтов «Скамандра», прославился как превосходный переводчик русской поэзии, особенно Пушкина.

«Скамандриты» быстро добились признания и заняли в польской литературе господствующее положение, в сущности, без борьбы. Поэзия «Молодой Польши» к этому времени пережила свою славу. Уже в годы войны самый видный поэт прошлого поколения, Каспрович, закончил свой творческий путь сборником прекрасной религиозной лирики в «Книге убогих».

Последний сборник стихов Каспровича, появившийся в двадцатых годах, свидетельствовал об упадке его таланта. Другой знаменитый поэт «Молодой Польши», Казимир Тетмайер умолк еще раньше. Продолжал писать только Леопольд Стафф, здравствующий и поныне. Однако на его поэзии, всё больше тяготевшей к классицизму, лежала мертвенная печать академизма. Пользуясь всеобщим признанием, считаясь поэтическим метром, Стафф никого уже не мог увлечь, между тем как Скамандриты покоряли своим пылом, темпераментом и размахом.

Господствующее положение Скамандритов в литературе Польши особенно укрепилось в 1924-м году, когда редактор «Скамандра», Грыдзевский, основал еженедельник «Литературные Известия», который быстро приобрел популярность, став главным польским литературным журналом. Этот журнал был задуман по образцу парижских «Nouvelles Littéraires». Политически либеральный и антиклерикальный, с космополитическими европейскими интересами, он редактировался живо и с темпераментом. В нем писали лучшие критики — Пивинский, Стемповский, Заводзинский, прекрасный знаток современной русской поэзии, и др. В этом журнале Скамандриты приобрели трибуну, которая обслуживала не только любителей поэзии. Таким образом их доминирующее положение в литературной жизни Польши было канонизировано в сознании культурной польской общественности.

В первый момент Скамандриты казались и хотели казаться революционерами и разрушителями прошлого. «Буду я первым в Польше футуристом», — писал в одном из своих программных стихотворений Тувим. Но со временем, когда с одной стороны эти поэты «костепенились» сами, — а с другой — их общий поэтический капитал был уже достаточен, стала очевидна и их сильная связь с традицией. Трое из ведущих Скамандритов Слонимский, Лехонь и — с некоторыми оговорками — Вежинский эволюционировали в направлении своеобразного нео-классицизма, который проявился в культе *le mot juste*, в предпочтении ясной, однозначной поэтической дикции и прозрачной конструкции, в сохранении канонов традиционной поэтики. Дальше всех в этом направлении пошел Ян Лехонь в книге «Серебряное и черное» (1924 г.), небольшом сборнике лирики, написанном традиционным стихом, поражающим единством настроения. С другой стороны, поэма Лехоня «Мохнацкий» была данью эпохе романтизма. Близкой к классицизму и традиционной по экспрессии была риторическая поэзия Слонимского. Только с оговорками можно отнести это определе-

ние к Вежинскому*. Однако его стихи на спортивные темы (сборник «Олимпийский лавр»), сравнительно легко поддаваясь переводу, получил международное распространение именно благодаря своей классической структуре.

Поэтическое развитие Тувима шло иным путем. Уже в первых своих стихах он проявил себя певцом всего стихийного, иррационального, поэтом биологических сил, инстинкта. Эта стихийность вместе с прекрасным чутьем конкретности и фонетической стороны слова с самого начала придала поэзии Тувима далекую от классицизма, своеобразную окраску. Со временем, когда первые волны подъема его поэзии спали, в его творчестве стало появляться всё больше стихов о мистерии творчества, о языке. Поэзия Тувима, очень эгоистическая, совершенно чуждая всякой социальной тематике (ни у одного польского поэта презрение к массам, к «хаму» не нашло такого сильного выражения), всё больше замыкалась в себе. Проявлением этой же тенденции явились его «Словопения», своеобразная проба создания «заумного языка» с очень неясным семантическим элементом, но с максимальным использованием всех эвфонических возможностей языка. Одно из стихотворений этого цикла — «О русском языке» — таково:

Тёвная певунница
Милой ми радуны!
Звонесте, загористе
Светолады струны!

Въяркоти журчалово,
Въюница плачевно
Грустливе печалово
Тевная слопевна.

Та же тенденция отразилась и в страсти Тувима к собиранию всяческих поэтических курьезов, что впрочем уже выходит за границы поэзии.

Говоря о крупных поэтах «Скамандра» надо назвать еще Марию Павликовскую (позже печатавшуюся под фамилией Ясножевская), прославившуюся прекрасными поэтическими миниатюрами, поражающими изяществом, остроумием, точностью выражения и умением сгустить лирическое содержание. В поль-

* О поэзии К. Вежинского в «Нов. Журнале» будет помещена отдельная статья. РЕД.

ской литературе поэтессы известны уже начиная с 17-го века, но ни одна из них не была так женственна, как Павликовская.

К Скамандритам причисляют обыкновенно и коммуниста Владислава Броневского. Отчасти это неверно, т. к. Броневский, как поэт выступивший лишь в 1925-м году, не принадлежал к основателям группы. Однако в своем творчестве он действительно пошел по следам Скамандритов, усвоив их лексику и метрику. Его поэзия носит мужественный, энергичный, боевой характер. Некоторое убожество и простоватость мысли искупаются силой и непосредственностью. Молодость свою Броневский провел в легионах Пилсудского. С тех пор у него осталась некоторая стилизация под солдата и любовь к военной метафоре. В более поздних его стихах есть несомненные отзвуки Есенина, особенно Есенина «Москвы кабацкой» и «Черного человека».

Как это хорошо известно, в польской поэзии 19-го века, в поэзии народа, боровшегося за свою независимость, почетное место принадлежало национально-патриотической тематике. Поэзия Скамандритов нарушила эту традицию. «А весной пусть увижу весну, а не Польшу» — писал молодой Лехонь. Но позже из-под пера того же Лехоня вышли прекрасные патриотические стихи. В 30-х годах патриотические мотивы стали преобладать и в поэзии Вежинского.

Певцом польской независимости и созидающегося польского государства стал писатель старшего поколения, крупнейший прозаик «Молодой Польши», Стефан Жеромский. Жеромский был единственным из выдающихся романистов «Молодой Польши», продолжавшим творчески развиваться и в 20-х годах. Автор «Мужиков», Реймонт, в 1924-м году получивший Нобелевскую премию, после войны не создал уже ничего ценного. Пшибышевский был только своей собственной тенью; более ранние его романы к этому времени были также забыты. Берент умолк на долгие годы, только в 30-х годах напомнив о себе рядом биографических повестей конца 18-го и начала 19-го века, написанных прекрасной, но вычурной и довольно трудной прозой. И только Жеромский, из прозаиков, не сложил оружия. В истории современной польской литературы он занимает исключительное место. Ни один из польских писателей 20-го века не вызывал такого сильного эмоционального отзвука и не был причиной стольких споров, как Жеромский. Его горячий патриотизм, социальный радикализм, страсть «тревожить незажившие раны», его этический максимализм —

всё это сильно действовало особенно на молодежь, действовало и потому, что писатель располагал богато инструментованной лирической прозой, достигавшей порой высокого мастерства. Своеобразные проблемы молодого польского государства также нашли полное и сильное выражение в его творчестве. После 1918-го года две темы особенно занимали писателя. Одна из них — возвращение Польше морского побережья и проблема вековой польско-немецкой борьбы за него. Польская литература до этого была исключительно «сухопутной». Маринистические мотивы появлялись в ней редко. Жеромский наверстывал потерянное.

Другого рода теме посвящен был последний роман Жеромского «Предвесеннее» (1924 г.). Основная проблема этой книги выражалась в полном беспокойства вопросе: каким идейным содержанием сумеет молодая польская республика наполнить жизнь своей молодежи, какими идейными лозунгами сможет охранить ее от большевистской пропаганды? Книга кончается сценой, в которой герой романа, представитель молодежи, Цезарий Барыка, присоединяется к коммунистической демонстрации, атакующей дворец Бельведер. Этот роман, в котором несомненно есть критика существующих общественных отношений, но который проникнут прежде всего жгучей заботой об охране Польши от влияний большевистской пропаганды, был ложно обвинен враждебной писателю правой публицистикой в большевистской тенденции.

В течение последних семи лет, какие он прожил в независимой Польше (он умер в 1925 году), Жеромский не только находил для своего творчества новые темы, но также искал и новые средства их выражения. Он углубился в серьезные занятия историей языка и диалектологией, которые очень обогатили его словарь. Однако результат был не всегда художественно убедителен. Первых страниц его «Ветра с моря— (изображающего раннюю средневековую стадию польско-немецкого конфликта) нельзя читать без старопольского словаря. Другим интересным экспериментом Жеромского (но в иной области) была его комедия «Убежала перепелка...» Тема ее — конфликт в душе общественного деятеля между его личным счастьем и успехом его общественной работы, конфликт, в котором побеждают общественные интересы. Этот конфликт давно и страстно занимал Жеромского. Но в то время, как раньше он выражался в патетической, полной лиризма, символической прозе, теперь писатель нашел для него другую форму выражения, сдержанную, избегающую непосредственного ли-

ризма при помощи гордой, но не лишенной смущения формулы: «потому что таков уж мой обычай...»

Когда Жеромский умирал, он был почти общепризнанным национальным польским писателем: *cor cordium Poloniae*. И писатели старшего и писатели младшего поколения одинаково перед ним преклонялись. Но со временем всё-таки раздались критические голоса о его запутанной, неровной, спазматической прозе. Дух времени не пощадил и Жеромского.

Одним из ярких представителей этого «духа времени» был замечательный польский прозаик Тадеуш Бой-Желенский, личность интересная и необычная. Он завоевал свое место большого писателя прежде всего многочисленными переводами из французской литературы. Многие говорили, что Бой перевел «всю французскую литературу». В действительности он перевел больше ста томов, начиная с «Тристана и Изольды», через Раблэ, Монтеня, всего Мольера, очень много из Бальзака и Стендаля, и кончая Марселем Прустом и А. Жидом. Один объем этой переводческой работы уже внушает к нему уважение, но только качество ее окончательно решает вопрос о его значении. Бой располагал необычайно богатым и гибким польским языком. Он прекрасно чувствовал все нюансы различных стилей и без труда переключался из одного в другой. Талант передачи литературных стилей у Боя граничил с магией. Индивидуальность Боя отразилась и в выборе материала для переводов. Он не любил патетических, выспренних писателей. Трудно было бы представить, чтобы Бой взялся за перевод Корнеля или Виктора Гюго. Его прежде всего привлекала французская ясность, остроумие, игра интеллекта, смелость анализа, отсутствие преклонения перед авторитетами. Его переводы, получившие широкое распространение, сыграли большую роль в окончательном преодолении поэтического стиля «Молодой Польши», настроенного на торжественный лад.

Позже Бой занялся театральной критикой, эссеистикой, публицистикой. В своих театральных рецензиях, озаглавленных «Флирт с Мельпоменой», Бой проявлял интерес прежде всего к отражению социальных сдвигов в театральных пьесах. В этой области он был очень наблюдательным и изобретательным критиком. Его публицистика носила несколько вольтеррианский характер, отличаясь либеральностью и антиклерикализмом. В статьях Боя много мастерски рассказанных анекдотов. Не избежал он однако и некоторых менее положительных черт, определяющих вольтеррианство; иногда он бывал неглубок, особенно, когда дело касалось вещей, не поддающихся рационалисти-

ческой оценке, а порой не брезгал и демагогией. Но Бой был одним из самых блестящих стилистов, каких знала история польской прозы. Он писал удивительно ясным и вместе с тем живым языком, искрящимся остроумием. Бой пользовался большой популярностью особенно в кругах польской интеллигенции левого толка. После последней войны коммунисты усиленно выдвигали его, как «прогрессивного» и антиклерикального писателя. Однако со времени воцарения в Польше ортодоксального марксизма, они отвернулись от этого сугубо буржуазного писателя, и больше не переиздают его произведений.

Другим выдающимся прозаиком двадцатилетия независимости был журналист и эссеист (а также и драматург) Адольф Новачинский. Националист, антисемит и страстный враг Пилсудского и его режима, он писал на самые разнообразные темы, гордясь своей всесторонностью и эрудицией, которая однако очень часто оказывалась дутой. Его творчество очень неровное, не без демагогических оттенков, привлекает великолепным писательским темпераментом, психологической проницательностью, даром инвективы и исключительной языковой изобретательностью. Новачинский славился каламбурами. Так творчество Боя которого он терпеть не мог, он называл «бойшевизмом», а патетически-трагического Жеромского окрестил Жеремией.

Писателем, который начал писать еще до войны, но получил полное признание лишь в 20-ые годы, был «пилсудчик», главный певец Легионов, Юлиуш Каден-Бандровский. Это был писатель с своеобразным, неприятным и узким ощущением мира. О нем говорили, что при чтении его романов читателю кажется, что автор постоянно обнюхивает, ощупывает и облизывает своих героев. В его романах ощущается чрезмерно повышенное внимание по отношению к человеческому телу, его непривлекательности, его физиологическим потребностям. Каден обладал сатирическим талантом с несомненной склонностью к каррикатуре. Атмосфера его романов напоминает немецкие каррикутуры Георга Гросса. Сатирическая струя была так сильна в творчестве Кадена, что даже в его «Генерале Барче» (1923) романе, посвященном генералу-победителю, который захватывает власть в результате жестокой борьбы с продажными политиками, долженствовавшем по замыслу автора выражать идеологию приверженцев Пилсудского, многие увидели пасквиль на самого Пилсудского. Два других романа, самые грандиозные по замыслу, написанные уже при Пилсуд-

ском, — «Черные крылья» и «Матеуш Бигда» — оказались просто политическими пасквилями на лидеров социалистической и крестьянской партий.

Каден выработал свой очень эмоциональный стиль с неровной ритмикой и нагромождением необычных, барочных метафор. Характерно, что этот стиль пользовался большой популярностью во время расцвета поэзии Скамандритов, которые также стремились к сгущенной и необычной метафоре, хоть и в другой сфере и для других художественных целей. С этой точки зрения романы Кадена — интересный пример вторжения приемов лирической поэзии в область прозы. Стиль Кадена повлиял на многих писателей и особенно на писательниц 20-х годов, но повлиял, в общем, неудачно, так как этим писателям обычно не хватало сатирической жестокости Кадена, а погоня за необычной метафорой чаще всего кончалась утомительной позой. Впрочем, влияние Кадена было кратковременно и около 1930 года пошло на убыль. Знаменательно, что именно в то время, когда Кадена перестали читать — «Матеуш Бигда», вышедший в 1933 году, был совершенным провалом — он занял благодаря своим политическим связям исключительное положение, став секретарем и фактическим лидером созданной правительственными кругами Польской Академии Литературы, литературным редактором полуофициальной «Польской Газеты» и директором варшавских театров.

Для литературы двадцатилетия независимости характерна многочисленность писательниц. Среди них выдвинулась Софья Налковская. Ее романы выделялись холодным и пронизательным психологическим анализом (в котором никогда не был силен Каден). Простоте ее стиля, точного и очень интеллектуального, не хватало однако свежести и непосредственности. Подобно романам Гертруд Стейн в Америке, это говорило о том, что и простота иногда может стать манерой.

Самым значительным достижением среди польских романов этого времени несомненно был пятитомный «roman fleuve» Марии Домбровской «Ночи и дни». Домбровская начала с публицистики и рассказов, пропагандировавших кооперацию. Затем она выпустила книгу новелл о детях и книгу из жизни усадебной дворни «Люди оттуда» (1925 г.), которая смело может считаться одним из лучших достижений польской беллетристики. Мир, описанный в «Людах оттуда», это мир бедняков. Но это не книга на социальную тему. Это скорее психологические этюды, вдумчивые, проникнутые теплотой и вместе с тем далекие от сентиментализма или покровительствен-

ного тона. Мир дворни показан в книге во всем своем интересном разнообразии. Читателя поражает подход к эротической жизни героев — смелый, лишенный морализирования и вместе с тем тактичный. Эта книга говорит о большой художественной зрелости писательницы. В «Людах оттуда» стоит отметить очень удачное применение диалектов в диалогах, оказывающее прекрасное знание разговорного языка крестьян. Говоры влились широкой струей в польскую литературу периода «Молодой Польши» (Тетмайер, Виткевич, Оркан, Реймонт). Однако писатели «Молодой Польши», применявшие диалекты, часто делали это слишком демонстративно, а иногда и создавали какофонию из разнородных, несовместимых между собой языковых элементов. В этом смысле книга Домбровской отличается большой художественной экономией. «Люди оттуда» — одна из наиболее заслуживающих перевода книг польской беллетристики. Но эта книга не сразу была оценена по заслугам. На нее обратили должное внимание только после того, как Домбровская прославилась романом «Ночи и дни» (1932-34 г. г.), заняв одно из первых мест среди польских прозаиков.

«Ночи и дни» — обширная семейная хроника. Действие ее протекает в последней четверти 19 века и в первые годы 20-го, до начала первой мировой войны. В романе изображена среда сельских арендаторов, у которых есть некоторая связь с помещиками, но которые стоят гораздо ближе к миру городской интеллигенции. «Ночи и дни» — история двух поколений семьи Нехцицов. Действие романа развивается медленно, изобилуя интересными эпизодами и охватывая всё новые и новые группы людей. Для рассказа характерно эпическое спокойствие. Многочисленность нитей повествования, обилие действующих лиц из разных кругов общества, реализм изображения превосходно вводят читателя в своеобразную духовную атмосферу польской интеллигенции, показывая и ее идейные проблемы и повседневную жизнь. Немногие польские романы представляют такую документальную ценность, как хроника Домбровской. В то же время роман ценен своей психологической правдивостью, которая достигает наибольшей силы в местах, посвященных «последним вещам», любви и смерти. Роман написан эпическим стилем *par excellence*, ровным, почти монументальным в своей простоте.

После «Ночей и дней» Домбровская не опубликовала ничего значительного. Она издала сборник новелл (отчасти из эпизодов, не вошедших в окончательный текст «Ночей и дней»)

и историческую драму «Владислав IV», которая оказалась художественной ошибкой.

Энтузиазм, с которым публика приняла «Ночи и дни» и полное равнодушие, с каким был встречен последний роман Кадена, говорили уже о серьезных переменах в литературной атмосфере и вкусах читающей публики. Интересно однако, что у Домбровской не нашлось последователей. Роман Герминии Наглер «Краузы и другие» (1936 г.), из жизни галицийского городка в 60-е годы прошлого века, своим эпическим характером немного напоминал роман Домбровской, но по стилю он был ближе к Кадену.

Несхожи с произведением Домбровской были и два выдающиеся польские романа, появившиеся за несколько лет до второй мировой войны. Один — «Соль земли» Иосифа Витлина, первая часть, к сожалению, до сих пор не законченной трилогии. «Соль земли» — произведение поэта, начавшего литературную карьеру с экспрессионизма. В этой книге поэт чувствуется в необычайно бережном отношении автора к словесному материалу, в языке очаровывающем мелодичными каденциями. В книге рассказывается о первых неделях войны 1914 года, в Галиции, при чем события рассматриваются глазами простого, неграмотного гуцульского крестьянина, Петра Невядомского. Редко художнику удавалось так хорошо запечатлеть в романе исторический момент, показывая одинаково выразительно и пафос, и грусть распада порядка жизни под напором военных событий. Но Витлин преследовал и другую цель. Он хотел осудить жестокость войны, пропустив ее сквозь наивное сознание простого крестьянина, до сих пор ничего не видавшего кроме своей деревни. Однако, эти «наивные» реакции героя в своей кажущейся простоте граничат с весьма изысканным подходом к войне интеллигента и в результате герой книги становится для читателя психологической загадкой. «Соль земли» переведена на многие языки (в том числе на русский и английский). Эта книга была одним из международных триумфов польской беллетристики.

«Чужестранка» Марии Кунцевич вышла в том же 1935-м г., что и «Соль земли». Это психологический портрет пожилой хищной женщины, неудовлетворенной ни своими художественными исканиями, ни любовью, невыносимой и вместе с тем очень несчастной. «Чужестранка» — превосходный психологический этюд, очень оригинальный по своей композиции. Кунцевич, живущая сейчас, как и Витлин, в эмиграции, — продуктивная писательница. Все ее романы свидетельствуют о

прекрасном знании писательского ремесла, но ни один из них по глубине психологического анализа не может стать вровень с «Чужестранкой».

Но ни «Соль земли», ни «Чужестранка» не были характерны для душной и горькой атмосферы лет, предшествующих войне. В ней уже не было ни прежнего размаха, ни прежней жизнерадостности. Эту атмосферу определяло тяжелое внутреннее и международное положение. На востоке и западе Польши выросли два тоталитарных колосса. От горькой и тревожной действительности литература всё больше уходила в фантастику. Элементы фантастики были уже в безумных и беспokoйных романах художника и философа Станислава Игнатия Виткевича «Прощание с осенью» (1927 г.) и «Неудовлетворенность» (1930 г.), в которых автор проявлял любовь ко всякого рода извращениям и обсуждал философские проблемы на скатологическом языке уличных мальчишек. Теперь, из дали послевоенных лет, в этих книгах поражает пророчество катастрофы. Еще большую роль играли элементы фантастики в романах Брунона Шульца, где они были перемешаны с необычайным реализмом мелочей. В «Фердыдурке» Витольда Гомбровича (1937 г.) элементы фантастики достигли размеров чистой бессмыслицы. Фантастика в соединении с эксцентрической клоунадой, по сравнению с которой выходки Скамандритов казались совершенно невинными, преобладала и в стихах К. И. Галчинского, очень способного поэта, в то время ярого националиста, а теперь, с Броневским и Тувимом, одного из главных поэтов коммунистической Польши.

В эти предвоенные годы казалось, что поэзия Скамандритов прошла уже свой зенит. В поэзии жили искания иных путей. Скамандритов атаковали поэты «Авангарда», хотя среди них и не было выдающихся индивидуальностей. Но когда на Польшу обрушилась катастрофа войны, Скамандриты снова заняли передовые позиции. В эмиграцию попали Лехонь, Павликовская, Слонимский, Тувим, Вежинский и Станислав Балинский, талант которого только теперь достиг своего апогея в стихах, восхищающих лирической непосредственностью и мелодичностью. После выхода из советской тюрьмы к ним присоединился и Броневский*, опубликовав свои черновые лирические наброски, написанные на Ближнем Востоке. В условиях шести военных лет литература в Польше вообще не могла

* Вскоре после окончания войны Броневский и Тувим вернулись в Польшу.

существовать и ее история определяется, главным образом, произведениями оказавшихся в эмиграции поэтов. Их произведения вызвали такой резонанс, какого у поэзии молодых Скамандритов никогда не было, несмотря на всю ее популярность. Трагическая история Польши уже в зрелом возрасте настигла старшее поколение поэтов, которым суждено было прожить свободную и беззаботную молодость. В военные годы поэзия Скамандритов пережила свою вторую, горькую и скорбную весну.

Виктор Вейнтрауб

Какая странная игра:
— Кто выдумал игру?
Обиды шевелить с утра,
Пополдни, ввечеру.

Свои сокровища считать
Скупец не станет так.
Трястись, как над ребенком мать,
Над коркою — бедняк.

Приумножать, года нести
Тот ядовитый груз...
А где-то слово есть «прости»,
Как разрешение уз.

Екатерина Таубер

ВЕЛ. КНЯЗЬ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

(Из воспоминаний о первой мировой войне)

Ниже мы печатаем с небольшими сокращениями две главы из воспоминаний протопресвитера Георгия Шавельского, скончавшегося в Болгарии, в Софии, 2 октября 1951 года. Автор воспоминаний принадлежал к числу наиболее выдающихся и просвещенных представителей русской церковной иерархии предреволюционной эпохи. По своему положению главы и руководителя всего духовенства армии и флота, он имел доступ в придворные, правительственные и высшие военные круги, а личный престиж и доверие, которым он в этих кругах пользовался, открывали для него источники информации, для многих оставшиеся закрытыми. Вот почему его воспоминания, в большей своей части посвященные периоду первой мировой войны, являются историческим документом большого интереса и значения. Печатаемые нами главы были любезно предоставлены для опубликования в «Новом Журнале» дочерью автора, М. Г. Новицкой, с согласия Чеховского Издательства, готовящего издание полного текста воспоминаний. РЕД.

1. СТАВКА

Местом для Ставки Верховного Главнокомандующего было избрано местечко Барановичи Минской губ., как пункт центральный, спокойный и весьма удобный для сообщения и с фронтом, и с тылом. Через Барановичи проходили три дороги: Москва-Брест, Вильна-Сарны и Барановичи-Белосток. О месте пребывания Ставки полагалось говорить по секрету, а писать и совсем запрещалось: оно должно было оставаться неизвестным и для неприятеля, и для своих же. Это приводило иногда к большим курьезам.

Барановичи — большой железнодорожный узел с двумя ж. д. станциями. Тут же, между станциями, по обоим сторонам железной дороги, больше по левой, тянется большое еврейское местечко. На южной окраине местечка, у самой станции — «железнодорожный городок». Здесь в мирное время была стоянка трех железнодорожных батальонов. Посреди

этого городка, на углу небольшой площади, стояла железнодорожная церковь. Сохранить в тайне от неприятеля местопребывание Ставки в таком бойком месте, конечно, было нельзя. Но свои, действительно, иногда никак не могли узнать эту «тайну».

Чины Штаба Верховного Главнокомандующего размещались в двух поездах. В 1-м поезде помещались: сам Верховный Главнокомандующий с состоящими при нем генералами и офицерами, Начальник Штаба, Ген. Квартирмейстер, я и военные агенты иностранных держав. Во втором — все прочие. Верховный Главнокомандующий, Начальник Штаба и Ген. Квартирмейстер имели особые вагоны¹; прочие пользовались отдельными купэ, исключая ген. Ронжина и Кондзеровского, которые вдвоем занимали вагон во 2-м поезде, и полк. Балинского с инженером Сардаровым², которые также вдвоем жили в отдельном вагоне 1-го поезда. Канцелярии разместились в железнодорожных домиках; генерал-квартирмейстерская часть — в домике против вагона Вел. Князя — Главнокомандующего. Поезд Вел. Князя стоял на западной окраине железнодорожного городка, почти в лесу. Пили чай, завтракали, обедали в вагонах-столовых.

Перехожу к личному составу чинов Штаба.

При Верховном Главнокомандующем состояли: его родной брат Вел. Кн. Петр Николаевич и Светл. князь, ген.-ад. Дмитрий Борисович Голицын. Оба — кристально чистые люди: высоко благородные, честные, доброжелательные и добродушные — праведники в миру. Они были интимными и верными друзьями Верховного Главнокомандующего, не могшими вредить никому. К сожалению, как оставшие от военного дела, они не могли быть советниками Вел. Князя Николая Николаевича в военных вопросах. Вел. Кн. Петр Николаевич когда-то занимался военно-инженерным делом, но в последние годы весь свой досуг он отдавал живописи и церковному зодчеству³. Князь Голицын перед войной заведывал Царской охотой. Затем, в качестве генерала для поручений при Главнокомандующем состоял Свиты Е. В. ген. майор Б. М. Петрово-Соловово, чрезвычайно богатый помещик Рязанской и Там-

¹ Вел. Кн. Петр Николаевич жил в одном вагоне с братом.

² Полк. Игн. Ив. Балинский — казначей при Дворе Вел. Князя; инж. Сардаров — заведующий поездом Вел. Князя.

³ По его проектам выстроено несколько церквей, в том числе — Мукденская.

бовской губерний, бывший командиром Л. Гв. Гусарского Е. В. полка, потом командиром Гв. Кавалерийской бригады, а в последнее время предводитель дворянства Рязанской губернии, честный, добрый и прямой, бесконечно преданный Вел. Князю человек. Когда Вел. Князь был командиром Л. Гв. Гусарского полка, Петрово-Соловово был полковым адъютантом в этом полку. У Вел. Князя — Верховного было пять адъютантов: полковники — кн. П. Б. Щербатов (Л. Гусар), кн. М. М. Кантакузен (кавалергард), А. П. Коцебу (улан Ее Величества), гр. Г. Г. Менгден (кавалергард) ротмистр Х. Ив. Дерфельден (Кон. Гвардии) и поручик кн. В. Э. Голицын (кавалергард). Все они были люди добрые. Своим умом и деловитостью обращал на себя внимание кн. Кантакузен. Обязанности адъютантов сводились к минимуму: каждый дежурил⁴ свои очередные сутки, ложась и вставая в обычное время, ибо Вел. Князя по ночам никогда не беспокоили. Командировки адъютантов были сравнительно редки. Поэтому, об их службе можно сказать, что она состояла главным образом в ничегонеделании. Некоторые из них своеобразно заполняли свой досуг: гр. Менгден завел большую голубятню⁵ и ежедневно, почти под окном вагона Вел. Князя, «муштровал» своих голубей, сгоняя их, когда они садились, камнями и палками с генерал-квартирмейстерского домика, чем доводил до бешенства не выносившего шума во время работы ген. Данилова. Тут же, рядом с голубятней, у гр. Менгдена был устроен зверинец, и он ежедневно с большим успехом дрессировал барсука и лисицу. Некоторые из чинов Штаба находили это занятие неподходящим для лица и для времени и места, но Вел. Князь снисходительно-добродушно относился к забаве своего адъютанта.

Кроме того, при Вел. Князе состояли: заведующий Двором, ген.-лейт. М. Е. Крупенский, очень толковый, ровный и добрый старик (л.-гусар); гофмаршал, ротмистр (синий кирасир) барон Ф. Ф. Вольф, удивительно прямой, серьезный и добрый человек, совершенно обрусевший немец, бесконечно преданный России; казначей Двора Вел. Князя, полк. И. И.

⁴ Дежурство состояло в том, что адъютант должен был быть в часы, когда Вел. Кн. бодрствовал, наготове, чтобы доложить В. Князю, если бы кому либо понадобилось его видеть, или явиться к Вел. Князю по его зову. После завтрака, когда Вел. Кн. обязательно отдыхал, мог отдохнуть и дежурный адъютант.

⁵ До 50 голубей; она помещалась на чердаке сарая, около генерал-квартирмейстерского домика, шагах в 30 от поезда Вел. Князя.

Балинский, большой остролов, умный человек, весельчак и ухажер; заведующий поездом, инженер пут. сообщения Сардаров — армянин. «Гвоздем» же Свиты Вел. Князя был доктор, в 1915 г. пожалованный в Лейб-Медики, Борис Захарович Малама, удивительной души человек, но большой чудак, оригинал, беззастенчивый резонер, не щадивший, когда требовала правда, никого и ничего.

Вскоре в Свиту Вел. Князя вошел его двоюродный брат Принц Петр Александрович Ольденбургский, муж В. К. Ольги Александровны, человек добрый, но непригодный решительно ни для какого серьезного дела.

Нельзя сказать, таким образом, что Свита нашего Верховного Главнокомандующего была малочисленная. Для войны, для дела, конечно, вся эта компания, кроме двух-трех адъютантов, доктора и гофмаршала, пожалуй, и не требовалась. Между тем, эти здесь лишние люди были офицеры. В своих полках они несли бы настоящую службу; тут же они были просто «дачниками», в бездельи проводившими время и, тем не менее, думавшими, что и они воюют, да еще как: окружая самого Верховного! К чести их всех надо, однако, заметить, что, при полном бездельи большинства чинов Свиты, ни интриг, ни сплетен поезд Великого Князя не знал.

Свита составляла, так сказать, декоративную часть штаба Верховного Главнокомандующего. Перейдем к деловым частям Штаба.

Во главе Штаба Верховного Главнокомандующего стоял Начальник Штаба ген.-лейт. Н. Н. Янушкевич, в начале 1915 г. произведенный в ген. от инфантерии. Прежняя его служба такова. Долго служил в канцелярии Военного Министерства и дослужился до должности помощника нач-ка канцелярии. Одновременно, в течение нескольких лет (5-6), состоял профессором Академии Ген. Штаба по администрации. В 1913 году был назначен Начальником Академии⁶, после ген.-лейт. Д. Г. Щербачева, начавшего, было проводить реформы в Академии, не понравившиеся Военному Министру. «Левый» Щербачев был заменен «правым» Янушкевичем, получившим определенную директиву: аннулировать новые течения, поддерживавшиеся группой профессоров (полк. Н. Н. Головиным, ген.-майором Юнаковым, полк. А. А. Незнамовым и др.). Вступление Н. Н. Янушкевича в должность Начальника Академии сопровождалось, поэтому удалением из Академии наиболее

⁶ С производством в ген.-лейтенанты.

энергичных сторонников нового течения: проф. Головин был назначен командиром 20 драгунского Финляндского полка, ген.-м. Юнаков — командиром 1 бригады 37 пех. дивизии.

В мае 1914 года Янушкевич был назначен на должность Начальника Генерального Штаба. Назначение это вызвало тогда много разговоров, явившись в военном мире для всех большой неожиданностью, ибо все знали, что ген. Янушкевич по прежней своей службе, где он все время вращался в области хозяйственных и распорядительных, а отнюдь не стратегических или тактических вопросов, был совершенно не подготовлен к должности Начальника Генерального Штаба. Еще большей неожиданностью, хоть уже совершенно естественной в порядке службы, было назначение его на должность Начальника Штаба Верх. Главнокомандующего. При догадках о возможных кандидатах на эту должность во всех военных кругах называлось одно имя: ген.-лейт. Михаила Васильевича Алексеева, перед войной командовавшего 13 арм. корпусом, а раньше, в течение нескольких лет занимавшего должность Начальника Штаба Киевского военного округа. Знания, боевой опыт⁷, необыкновенная трудоспособность, военный талант, всеми признававшийся, были на его стороне. Но теперь он был назначен начальником штаба юго-западного фронта, а младший его, без опыта и подготовки, Янушкевич стал начальником Штаба Верх. Главнокомандующего.

Я имею достаточно оснований утверждать, что Н. Н. Янушкевич, как честный и умный человек, сознавал свое несоответствие посту, на который его ставили, пытался отказаться от назначения, но по настойчивому требованию свыше, принял назначение со страхом и проходил новую службу с трепетом и немалыми страданиями.

Как совершенно неподготовленный к стратегической работе, составлявшей главную сторону, так сказать, душу обязанностей Начальника Штаба Верх. Главнокомандующего, он отстранился от нее, передав ее всецело в руки «мастера» этого дела, генерал-квартирмейстера ген.-лейт. Юрия Никифоровича Данилова, который, таким образом, фактически оказался полным распорядителем судеб великой русской армии.

⁷ До русско-яп. войны он долго и блестяще профессорствовал в Академии Ген. Штаба; во время японской войны был ген.-квартирмейстером 3 Манчж. армии; после войны, до Киева служил в Управлении Ген. Штаба.

Ген. Данилов⁸ до войны был генерал-квартирмейстером Ген. Штаба. Честный, усидчивый, чрезвычайно трудолюбивый, он, однако, — думается мне, — был лишен того «огонька», который знаменует печать особого Божьего избрания. Это был весьма серьезный работник, но могущий быть полезным и, может быть, даже трудно заменимым на вторых ролях, где требуется собирание подготовленного материала, разработка уже готовой, данной идеи. Но вести огромную армию он не мог, идти за ним всей армии было не безопасно.

Я любил ген. Данилова за многие хорошие качества его души и сердца, но он всегда представлялся мне тяжкодумом, без «орлиного» полета мысли, в известном отношении — узким, иногда наивным. В январе 1915 г., недалеко от Варшавы, Верх. Главнокомандующий производил смотр только что прибывшему на войну 4-му Сибирскому корпусу. Когда, по окончании парада, Вел. Князь обратился с речью к столпившимся около него офицерам и унтер-офицерам, вдруг поднялся аэроплан и, кружась над нами, совершенно заглушал своим треском слова Вел. Князя. «А ну его!» — сказал я, взглянув на аэроплан. «Что вы, что вы!» — испуганно вскрикнул стоявший рядом со мной ген. Данилов. «Разве можно так об аэроплане?». Данилов испугался, что мои слова могут повлиять на судьбу аэроплана. Большое упрямство, бóльшая, чем нужно, уверенность в себе, при недостаточной общительности с людьми и неумении выбирать и использовать талантливых помощников, дополняли уже отмеченные особенности духовного склада ген. Данилова.

Ближайшим помощником генерала Данилова, его правой рукой, единственным сотрудником, которому он безгранично верил, был полковник ген. штаба Ив. Ив. Щелоков, известный среди офицеров Ген. Штаба под именем «Ваньки Каина». Нелюбовь всех чинов Штаба, в особенности офицеров генерального штаба, к этому полковнику не знала пределов.

Наличный состав офицеров генерального штаба, служивших в ген. квартирмейстерской части Ставки, вообще, по моему мнению, не слишком был богат большими талантами. Безусловно выделялись большими дарованиями полковники ген.

⁸Или, как его называли в армии, «Данилов черный», в отличие от «Данилова рыжего», ген.-л. Р. Ал. Данилова, талантливого, но ленивого профессора Академии Ген. Штаба; последний был до войны Начальником канцелярии Военного Министерства, а во время войны — Начальником снабжения зап. фронта.

шт. А. А. Свечин и Юзефович, скоро ставший командиром полка. Щелоков же был наиболее бесталанным и самым не-симпатичным среди офицеров ген. штаба. Своей тупостью, с одной стороны, надменностью и грубостью в обращении, даже с равными, Щелоков достиг того, что его сторонились и ненавидели решительно все: и старшие, и младшие. За глаза его ругали; в глаза вышучивали. Щелоков относился ко всему этому свысока. А ген. Данилову это не мешало не чаять души в своем любимце, с которым он и решал все вопросы ген.-квартирмейстерской части, оставляя прочим офицерам генерального штаба почти одни писарские обязанности. Отношения между ген. Янушкевичем и Даниловым всё время были натянутыми. Попросту сказать — они, особенно в последнее время, не терпели друг друга. Как сумею, объясню их отношения.

Янушкевич был умнее, способнее, талантливее Данилова; ум Янушкевича мягче, подвижнее Даниловского ума. Янушкевич всё схватывал налету и быстро решал. Данилов иногда не сразу улавливал мысль, топтался на месте, ища решения, иногда мыслил и решал однобоко. Зато, решив, упрямо стоял на своем. Янушкевич видел упрямоту Данилова, чувствовал недостаточную подвижность и нередко односторонность его мысли и, вне всякого сомнения, не прочь был освободиться от него. Но полная неподготовленность к стратегической работе заставляла его не только терпеть ген. Данилова, но и покорно идти на поводу у него: благо ген. Данилов не лез в другую — административно-распорядительную область и не мог затмить его перед Вел. Князем. Ген. Данилов, в свою очередь, считая себя великим мастером военного дела, свысока смотрел на «профана» ген. Янушкевича, учитывая для себя все выгоды неподготовленности последнего, и, в то же время, считал, что ген. Янушкевич держится его трудами и знаниями, и что он должен был бы теперь сидеть на месте ген. Янушкевича. Если бы ген. Янушкевич не обладал особою мягкостью, деликатностью, уступчивостью и умением владеть собой, то отношения между ним и ген. Даниловым в первые же месяцы их совместной службы в Ставке стали бы невозможными. А так они как-то уживались. Посторонние даже могли считать их друзьями.

Во главе других отделов стояли следующие лица.

Дежурный генерал, ген. штаба ген.-майор П. К. Кондзевский, честный, добрый и работающий человек, сумевший сплотить всех своих подчиненных в тесную, дружную семью,

с редким уважением и любовью относившуюся к своему начальнику. На первых порах мы были далеки друг от друга; был даже момент, что отношения между нами обострились. Случилось это так. По положению о полевом управлении войск штабной священник⁹ подчиняется дежурному генералу, которому чрез это самое открывается некоторая возможность вмешиваться в богослужебные дела штабной церкви. Упустив из виду, что я не штабной священник, а начальник ведомства, состоящий при Верх. Главнокомандующем и только Верховному Главнокомандующему подчиненный, ген. Кондзеровский однажды, выходя из церкви, обратился к ктитору: «передайте о. протопресвитеру, что мне не нравится херувимская, которую сегодня пели». Ктитор передал мне. «А вы скажите ген. Кондзеровскому, что мне совершенно безразлично, нравится или не нравится ему эта херувимская», приказал я ктитору. Мои слова, несомненно, были переданы по адресу. Больше у нас никогда не было никаких недоразумений. И я с особым удовольствием вспоминаю свое знакомство с этим честным, благородным человеком и идеальным семьянином.

Начальник военных сообщений, ген. шт. ген.-майор С. А. Ронжин — добрый и способный, но ленивый и малодетельный, тип помещика-сибарита. В Ставке он очень старательно увеличивал свою коллекцию этикеток от сигар. Тут в его коллекции образовался новый отдел «великокняжеских», так как Вел. Князь Николай Николаевич, узнав об этом занятии генерала Ронжина, бережно сохранял и затем передавал Ронжину все этикетки от выкуриваемых им сигар.

Чины Управления военных сообщений не особенно высоко ставили своего начальника. Дело же там велось двумя очень способными и энергичными помощниками Ронжина: полк. ген. штаба Н. В. Раттелем и инженером путей сообщения Э. П. Шуберским.

Начальник Морской части — контр-адмирал Ненюков; начальник дипломатической части — кн. Н. А. Кудашев; начальник гражданской части — кн. Н. Л. Оболенский. Последний пользовался особым вниманием и доверием ген. Янушкевича, считавшего его за чрезвычайно опытного и талантливого работника. Меньшими симпатиями начальства пользовалась Морская часть с ее вялым и замкнутым начальником.

При Ставке, как я уже упомянул, безотлучно находились

⁹ Таким в Ставке был священник, потом протоиерей Вл. А. Рыбаков, образованный, весьма достойный человек.

представители всех союзных держав. Таковыми были: француз ген.-майор маркиз Ля-Гиш, очень жизнерадостный, умный и тонкий; англичанин — ген.-майор Вильямс, скромный, серьезный, воспитанный; бельгиец — добродушный, но всегда неопрятный толстяк ген.-майор барон Риккель. В штабе к Риккелю относились с особым вниманием, так как было известно, что его голос имел решающее значение на Бельгийском военном совете при обсуждении вопроса: пропустить ли германские войска без бою, или оказать им решительный отпор. На Риккеля у нас смотрели, как на героя. Теперь же этот герой отравлял существование своим, жившим в одном с ним вагоне, элегантным коллегам, Ля-Гишу и Вильямсу своими дешевыми, издававшими отвратительный запах, сигарами, которые он истреблял в невероятном количестве.

Сербию представлял полковник ген. штаба, питомец нашей академии, Лонткевич — большой патриот, скромный и сердечный человек, а Черногорию — ген. Мартианович. В Ставке много острили по поводу одного ответа ген. Мартиановича. Когда его спросили, однажды, за чаем в столовой Верх. Главнокомандующего: «Кто лучший генерал в Черногории», — он, не задумываясь, с серьезным видом, ответил: «я». В конце 1914 года он уехал, не оставив заместителя. С присоединением Италии к нашей коалиции в Ставке появились и итальянские представители. Их сменилось несколько.

День в поезде Верх. Главнокомандующего проходил таким образом. Вел. Князь вставал около 9 часов утра и, умывшись, молился Богу, после чего к нему являлся доктор Малама навеститься о здоровье, а после доктора дежурный адъютант нес полученные за ночь письма и телеграммы. Затем, Вел. Князь у себя в вагоне пил чай. Смотря по экстренности, Начальник Штаба до или после чая являлся к нему. В 9 час. в вагоне-столовой подавали чай для чинов Свиты. В 10 часов Вел. Князь отправлялся в Управление Генерал-Квартирмейстера (домик у вагона Вел. Князя), где в присутствии Начальника Штаба выслушивал доклад Ген. Квартирмейстера и, сообщая с обоими, решал все вопросы, требовавшие принятия тех или иных мер. В 12 ч. дня — завтрак.

Кроме лиц Свиты Великого Князя, ежедневно завтракали и обедали у Вел. Князя: Начальник Штаба со своим адъютантом¹⁰, генерал-квартирмейстер, я и иностранные аген-

¹⁰ Калмыцким князем Тундутовым. В Ставке уверяли, что калмыки считали Тундутова не только за князя, но и за бога. Если это верно, то калмыцкий бог был веселого нрава.

ты. Прочие чины штаба — генералы и офицеры приглашались по очереди. Кроме своих «ставочных» гостей, за столом Вел. Князя всегда можно было видеть посторонних, приезжавших в Ставку с фронта или из тыла: кого только не пришлось повидать тут за время службы с Вел. Князем в Ставке!

В столовой сидели за маленькими столиками, по четыре человека за столом. Верховный всегда сидел за первым справа столом при входе в столовую из его вагона, а против него всегда — Начальник Штаба и я. При приездах высоких особ, как Принц Ольденбургский (старик, родной брат матери Вел. Князя), Вел. Князя — в генеральских чинах, министры, Варшавский Ген.-Губернатор, главнокомандующие, — Вел. Князь сажал их рядом с собою. Впрочем из министров этой чести устаивались только любимые. «Нелюбимых», как Сухомлинова, Саблера, сажали за другим столом.

За первым столиком слева сидели В. Кн. Петр Николаевич с иностранными агентами: французским, английским и бельгийским. Остальные располагались по старшинству.

Стол не отличался излишеством: завтрак из двух блюд, обед из трех (без закусок), но всегда был сытный и вкусный. Особенность стола — очень большая пряность. Водка и вино всегда подавались. Вел. Князь выпивал одну рюмку водки и один-два бокала вина. В 4 часа подавался чай. Вел. Князь очень часто выходил к чаю в столовую и в совершенно непринужденной беседе с присутствующими проводил некоторое время.

Перед чаем Вел. Князь немного отдыхал, а затем катался на автомобиле или, что было реже, ездил верхом на лошади. Пешком гулять Вел. Князь не любил, как и не переносил быстрый езды на автомобиле¹¹. Часов в шесть, почти ежедневно можно было видеть Вел. Князя сидящим за письменным столом у окна. В это время он писал пространные письма своей, жившей в Киеве, жене, сообщая ей решительно всё, касающееся его жизни в Ставке. Если не погибли эти письма, то они явятся драгоценным материалом для историка. В 7½ был обед, а в 9½-10½ ч. вечерний чай, за которым Вел. Князь любил побеседовать. Начальник Штаба и Ген.-Квартирмейстер никогда не приходили к вечернему чаю.

Режим в Ставке сразу установился строгий. Начну с церковной стороны. Как уже сказано, в центре железнодорожного городка стояла бригадная церковь. Верховный, да и многие из

¹¹ Его любимая езда — не больше 25 в. в час.

нас были удивлены совпадением: церковь эта оказалась посвященной имени «Св. Николая (Кочана) Христа ради Юродивого, Новгородского Чудотворца», небесного покровителя Вел. Князя (память 27 июля). На Руси множество Николаевских храмов, но все они посвящены имени Св. Николая Архиепископа Мирликийского Чудотворца (память 9 мая и 6 декабря). Церковь в честь Св. Николая Юродивого я встретил впервые. На мистически настроенного Вел. Князя это обстоятельство, — что церковь в Ставке оказалась посвященной его святому — произвело большое впечатление.

С первого же дня нашего пребывания в Барановичах установились ежедневные, утром и вечером, церковные службы. Сразу же сорганизовался прекрасный хор. Пело на первых порах, правда, всего десять человек, но зато это были отборные певцы придворной капеллы и петроградских хоров: — митрополичьего и Казанского Собора. Церковь сразу завоевала симпатии чинов штаба. Вел. Князь неукоснительно бывал на воскресных и праздничных литургиях, а иногда и на всенощных. Верховный, как и брат его, Вел. Князь Петр Николаевич, страдал слабостью ног. Поэтому, для них на левом клиросе были устроены два кресла с высокими небольшими сиденьями, чтобы на них, незаметно для публики, можно было присаживаться. За каждой службой обязательно производился денежный сбор, при котором блюдо прежде всего подносилось к Вел. Князю Николаю Николаевичу, и он всякий раз клал на него двадцатирублевую бумажку.

Район расположения поезда Верховного был недоступен для женщин. До июня 1915 года, кажется, был единственный случай, что женщина вошла в поезд. Это было 15 сентября 1914 года, когда я, вернувшись с завтрака, застал в своем купэ свою дочь и кузину, бывших сестрами милосердия на фронте. Воспользовавшись уходом всех чинов на завтрак, они кем-то из недостаточно знакомых с порядками были проведены в наш поезд, а затем в мое купэ. Как ни рад я был встрече с ними, но должен был тотчас их выпроводить.

Ни пьянства, ни бесчинства не было в Ставке.

Скоро штаб наш слился в дружную семью и зажил общею жизнью. В 1916 году, когда Штаб очень разросся и как то расплылся в городе Могилеве, мы часто вспоминали о барановической поре.

2. ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ

Центральной фигурой в Ставке и на всем фронте был, конечно, Верховный Главнокомандующий, Вел. Князь Николай Николаевич. За последнее царствование в России не было человека, имя которого было бы окружено таким ореолом, и который во всей стране, особенно в низших народных слоях, пользовался бы большей известностью и популярностью, чем этот Великий Князь.

В жизни людей часто действуют незаметные для глаза, какие-то неудержимые фатальные причины, которые двигают судьбой человека независимо от него самого, от его дел, желаний и намерений. Именно, что-то неудержимо фатальное было в росте славы Вел. Князя Николая Николаевича. За первый же год войны, гораздо более неудачной, чем счастливой, он вырос в огромного героя, перед которым, несмотря на все катастрофические неудачи на фронте, преклонялись. Не даром, ведь, летом 1915 года, в самый разгар неудач на фронте, его слава испугала и Царя, и Царицу.

Несомненно, и в будущем имя Вел. Князя Николая Николаевича будет привлекать к себе внимание всякого, кому придется заниматься историей великой войны или, вообще, эпохи, предшествовавшей нашей последней революции. Я очень близко, в течение года, наблюдал Вел. Князя, вместе с ним делил и радости от наших побед и горе от наших поражений и теперь хочу поделиться своими впечатлениями от общения с этим выдвинутым историей человеком.

Должен оговориться: я менее всего буду вести речь о нем, как о стратеге, о полководце, ибо, во 1-х, не считаю себя достаточно компетентным в этой области, а во 2-х, вообще, вся стратегическая работа Ставки, как и участие в ней самого Верховного, для посторонних лиц тщательно закрывались завесой тайны и были видны лишь для так или иначе непосредственно участвовавших в ней, т. е., преимущественно, — для офицеров ген. штаба, генерал-квартирмейстерской части Ставки, связанных обетом молчания. И я очень сожалею, что в этом отношении я почти ничем не помогу будущему историку великой войны, которого при изучении личности Вел. Князя как Верховного Главнокомандующего, ожидает большая скудость исторического материала, ибо архив Ставки, наверно, уже погиб, как погибло и большинство ближайших сотрудников Вел. Князя по войне; как погибли, несомненно, разные мемуары и записки близких к Вел. Князю лиц.

Я лишь могу напомнить моему читателю о народном голосе, — хоть он часто и ошибается жестоко, — о голосе армии, который еще в японскую войну, когда у нас начались неудачи, настойчиво называл имя Вел. Князя, как желанного Главнокомандующего. С тех пор в армии жила мысль, что в случае войны Вел. Князь Николай Николаевич должен быть Главнокомандующим. Его имя, как желанного Верховного, не сходило с уст и после того, как в августе 1915 г. во главе Действующей Армии стал сам Император. Вняв этому голосу, Государь перед своим отречением вернул Вел. Князя на пост Верховного.

Итак, я не буду задаваться целью нарисовать образ Вел. Князя-полководца, я хочу живописать его, как человека. Должен сознаться, что хотя до начала войны я более трех лет прослужил в должности протопресвитера и за это время множество раз не только встречался, но и беседовал с Государем и Великими Князьями, всё же, в своих представлениях о Высочайших особах я до известной степени оставался провинциалом. Мне казалось еще, что жизнь их совсем не походит на жизнь обыкновенных людей, что они не интересуются и не могут интересоваться будничными, повседневными вопросами, что у них иной склад ума, иные запросы, иные требования, иная душа. В некотором отношении они были для меня загадкой. Вел. Князь Николай Николаевич в этом смысле не мог составлять исключения. Напротив, его наружный величественный вид, его казавшаяся всем неприступность, его особенное среди Великих Князей служебное положение, как Главнокомандующего войсками Петербургского округа, и лица, с мнением которого особенно считался Государь; с другой стороны, самые разнообразные, ходившие о нем слухи, — всё это делало его особенно загадочным и интересным для наблюдения. И меня интересовали каждое слово его, каждый взгляд и, еще более, каждое движение его души — его настроение, его воззрения, убеждения, его отношение к людям и явлениям.

Вел. Князь Николай Николаевич в данное время среди особ Императорской фамилии занимал особое положение. По летам он был старейшим из Вел. Князей. Другие Вел. Князья занимали нисшие служебные места, и многие из них по службе были подчинены ему. Хотя в последние годы отношения между домом Вел. Князя и домом Государя оставляли желать много лучшего, всё же, Вел. Князь продолжал иметь огромное влияние на Государя, а, следовательно, и на дела государственные. Кроме всего этого общее представление о Вел.

Князе, как о горячем, строгом, беспощадном начальнике, по-видимому, прочно установилось и в великокняжеских семьях, — и Вел. Князья очень побаивались его. Однажды в Барановичах, за завтраком в царском поезде, во время пребывания Государя в Ставке, Государь говорит Николаю Николаевичу: «Знаешь, Николаша, я очень боялся тебя, когда ты был командиром Л.-Гв. Гусарского полка, а я служил в этом полку». «Надеюсь, теперь эта боязнь прошла», — ответил с улыбкой, немного сконфуженный Вел. Князь.

В войсках авторитет В. Князя был необыкновенно высок. Из офицеров — одни превозносили его за понимание военного дела, за глазомер и быстроту ума, другие — дрожали от одного его вида. В солдатской массе он был олицетворением мужества, верности долгу и правосудия. С самого начала войны стали ходить разнообразные легенды о Вел. Князе: «Великий Князь обходит под градом пуль окопы», — когда на самом деле он ни разу не был дальше ставок Главнокомандующих; «Вел. Князь бьет виновных генералов, срывает с них погоны, предает суду» и т. д. Молва при этом называла имена «пострадавших» генералов, у которых были сорваны погоны (например, ген. Артамонов — командир 1 арм. корпуса, печальный герой Сольдау) и биты физиономии и т. п. «Очевидцы» рассказывали, что они своими глазами видели Вел. Князя в окопах под пулями¹². Григорию Распутину, пожелавшему приехать в Ставку, Вел. Князь, будто бы, телеграфировал: «приезжай — повешу» и т. д. Все такие и подобные легенды росли просто на почве укоренившегося представления о «строго-строгом», воинственном князе.

Что же было на самом деле?

Рассказы близких к Вел. Князю лиц, его бывших сослуживцев и подчиненных, согласно свидетельствуют, что в годы молодости и до женитьбы Вел. Князь отличался большой невыдержанностью, безудержностью, по временам — грубостью и даже жестокостью. По этому поводу в армии и, особенно, в гвардии, с которой была связана вся его служба, ходило множество рассказов, наводивших страх на ненавших близко Вел. Князя. После же женитьбы, Вел. Князь резко изменился в другую сторону. Было ли это результатом доброго и сильного влияния на него его жены, как думали некоторые, или

¹² Один офицер с клятвой уверял меня, что он «своими глазами» видел В. Князя в окопах и я не смог уверить его, что этого не было.

годы взяли свое, но факт тот, что от прежнего стремительного или, как многие говорили, бешеного характера Вел. Князя остались лишь быстрота и смелость в принятии самых решительных мер, раз они признавались им нужными для дела. Так, напр., в конце 1914 года он приказал немедленно выслать в Сибирь члена Пинской Городской Управы Г. и отстранить от должности Пинского городского голову, доктора Георгиевского, не исполнивших его приказаания устроить приличное военное кладбище взамен заведенного ими далеко за городом, рядом со свалочным местом; он уволил несколько генералов, проигравших сражение. Он, не моргнув глазом, приказал бы повесить Распутина и засадить Императрицу в монастырь, если бы дано было ему на это право. Что он признавал для государственного дела полезным, а для совести не противным, то он проводил решительно, круто и даже, временами, беспощадно. Но всё это делалось Вел. Князем спокойно, без тех выкриков, приступов страшного гнева, почти бешенства, о которых много ходило рассказов. Спокойствие не покидало Вел. Князя и в такие минуты, когда очень трудно было его сохранить.

Помнится мне, за год совместной жизни с Вел. Князем, лишь один случай, когда Вел. Князь немного вышел из себя. Это произошло так. Как я уже говорил, обязанности адъютантов Вел. Князя сводились к минимуму, но и этот минимум иногда не исполнялся. Так вышло и в данном случае. В один из жарких июльских дней в 1915 году дежурным адъютантом был шт.-ротм. Л. Гв. Конного полка Дерфельден. После завтрака, когда Вел. Князь ушел отдохнуть, ушел и Дерфельден с подушкой под мышкой куда-то в лес, не сказав никому ни слова о том, где его можно будет найти, если бы он потребовался. Около 4-х часов дня Вел. Князю подали автомобиль для прогулки, в которой обыкновенно сопровождал его дежурный адъютант. Вел. Князь вышел к автомобилю, но адъютанта не было. Бросились его разыскивать, прошло с полчаса, но нигде не могли его найти. Вел. Князь сначала терпеливо стоял около автомобиля, потом начал нервничать. Наконец, оказался виновный, заспанный, с подушкой под мышкой. Вел. Князь вспылил: «Служить не умеете! Я вас научу, как служить! Садитесь!». Дерфельден сел в автомобиль рядом с Вел. Князем, передав другому свою злополучную подушку. Не успел еще автомобиль тронуться, как Вел. Князь уже предлагал провинившемуся папиросу: «закурите»!..

Когда, однажды, во время завтрака, начальник штаба

начал резко нападать на ген. Артамонова, считавшегося одним из виновников нашего поражения под Сольдау, Вел. Князь, спокойно выслушав обвинения, так же спокойно заметил: «я знаю недостатки Артамонова, но у него есть и достоинства». И скоро Артамонов получил другое назначение.

Обхождение Вел. Князя с чинами штаба было всегда простое, радушное, заботливое. Это знают все служившие в Ставке, пользовавшиеся по очереди хлебосольством Вел. Князя и не только на службе, но и за завтраками и обедами имевшие возможность наблюдать Вел. Князя. Я лично много раз испытал на себе его трогательную заботливость. Укажу два случая. Как-то Вел. Князь узнал, что у меня разбилось пенснэ. Он тотчас прислал мне свое пенснэ, оказавшееся по номеру одинаковым с моим. Когда сломалось мое механическое перо, Вел. Князь прислал мне свое, которым я и сейчас пишу.

Гостеприимство Вел. Князя было настоящим русским, широким, искренним и радушным. Его вагон-столовая всегда был полон обедавшими, завтракавшими. Приглашались по очереди все чины штаба, а также приезжавшие с фронта и из тыла по тем или иным делам к Вел. Князю. Вел. Князь иногда приказывал лакею еще раз поднести блюдо гостю, если замечал, что тот стеснялся или церемонился попросить прибавки. Очень скоро все мы, раньше не знавшие его, присмотрелись к нему, привыкли и уже далеки были от какого бы то ни было страха или смущения перед ним.

Надо отметить еще одну черту Вел. Князя в его отношениях к людям. Великий Князь был тверд в своих симпатиях и дружбе. Если кто, служа под его начальством или при нем, заслужил его доверие, обратил на себя его внимание, то Вел. Князь уже оставался его защитником и покровителем навсегда. В этом отношении он был совершенно противоположен Государю. Из самых близких к Государю, самых доверенных лиц никто не мог быть уверен, что сегодня проявлявший к нему исключительное благоволение, безгранично доверяющий ему, любящий его Государь завтра не отстранится от него, не удалит его от себя. Было бы невозможно перечислить всех тех лиц, которые из безграничной царской милости быстро попадали в опалу. Укажу здесь лишь двух.

В первой половине 1915 года самыми близкими к Государю лицами были Свиты Его Величества ген.-майор кн. В. Н. Орлов и флигель-адъютант полк. А. А. Дрентельн. И оба они совсем немилостиво были удалены: первый в августе, а второй в конце 1915 года. И Государь подвергал людей такой опале

спокойно, без терзаний, успокаивался быстро и крепко забывал своих недавних любимцев. Эту черту Государя знали все; более или менее близко стоявшие к Государю так и понимали, что сегодняшняя царская милость завтра может смениться немилостью. У Великого же Князя, пожалуй, можно было подметить другую «слабость». От «своих» он никогда не отворачивался и упорно защищал даже тогда, когда они оказывались недостойными такой защиты. Так, например, было, как упомянуто выше, с генералом Артамоновым и со многими другими.

Вел. Князь был искренне религиозен. Ежедневно утром, вставши с постели, и вечером, перед отходом ко сну, он совершал продолжительную молитву на коленях с земными поклонами. Без молитвы он никогда не садился за стол и не вставал от стола. Во все воскресные и праздничные дни, часто и накануне их, он обязательно присутствовал на богослужении. И всё это у него не было ни показным, ни сухо формальным. Он веровал крепко; религия с молитвою была потребностью его души, уклада его жизни; он постоянно чувствовал себя в руках Божьих. Однако, надо сказать, что временами он был слепо-религиозен. Религия есть союз Бога с человеком, с договором, — выражаясь грубо, — с обеих сторон: помощь со стороны Бога, служение Богу и в Боге ближним, самоотречение и самоотвержение — со стороны человека. Но многие русские аристократы и не аристократы понимали религию односторонне: шесть раз «подай, Господи» и один раз, — и то не всегда, — «Тебе, Господи». Как в обыкновенной суетной жизни, они и в религиозной ценили права, а не обязанности; и не стремились вносить в жизнь максимум того, что может человек внести, но всего ожидали от Бога. Забывши истину, что жизнь и благополучие человека строятся им самим при Божьем содействии, легко дойти до фатализма, когда все несчастья, происходящие от ошибок, грехов и преступлений человеческих, объясняют и оправдывают волей Божьей: так, мол, Богу угодно.

Вел. Князь менее, чем другие, но, всё же, не чужд был этой своеобразности. Воюя с врагом, он всё время ждал сверхъестественного вмешательства свыше, особой Божьей помощи нашей армии. «Он (Бог) всё может», — были любимые его слова, а военные неудачи и несчастья, происшедшие от многих причин, в которых мы сами были, прежде всего, повинны, объяснял прежде всего тем, что «так Богу угодно!».

Короче сказать: для Вел. Князя центр религии заключался в сверхъестественной, чудодейственной силе, которую молит-

вою можно низвести на землю. Нравственная сторона религии, требующая от человека жертв, трудов, подвига, самовоспитания, — эта сторона, как будто, ступала в его сознании, во всяком случае — подавлялась первой.

В особенности, заслуживает внимания отношение Вел. Князя к Родине и к Государю. «Если бы для счастья России нужно было торжественно на площади выпороть меня, я умолял бы сделать это». Эти слова я два или три раза слышал от Вел. Князя. И эти слова не были пустой или дутой фразой, они выражали самое искреннее чувство любви Вел. Князя к своей Родине. Вел. Князь, действительно, безгранично и восторженно любил Родину и всей душой ненавидел ее врагов. Характерен следующий случай. Когда в 1917 г. немцы заняли Крым, Император Вильгельм послал своего флигель-адъютанта спросить Вел. Князя, не может ли Вильгельм для него быть в чём либо полезным. Вел. Князь флигель-адъютанта не принял, а через состоявшего при нем генерала бар. Сталя сообщил, что ему ничего не надо. А между тем, он в это время во многом нуждался.

Я всегда любовался обращением Вел. Князя с Государем. Другие Великие и даже меньшие Князья (как, напр., Константиновичи) держали себя при разговорах с Государем породственному, просто и вольно, иногда даже фамильярно, обращались к Государю на «ты». Великий Князь Николай Николаевич никогда не забывал, что перед ним стоит его Государь: он разговаривал с последним, стоя навытяжку, держа руки по швам. Хотя Государь всегда называл его: «ты», «Николаша», я ни разу не слышал, чтобы Вел. Князь назвал Государя «ты». Его обращение было всегда: «Ваше Величество»; его ответ: «так точно, Ваше Величество». А, ведь, он был дядя Государя, годами старший, почти на 15 лет, по службе — бывший его командир, которого в то время очень боялся нынешний Государь.

Внешняя форма отношений Вел. Князя к Государю была выражением всего настроения его души. Вел. Князь вырос в атмосфере преклонения перед Государем. По самой идее, Государь был для него святыней, которую он чтит и берег. Когда в январе 1915 года Государь собственноручно вручил мне орден Александра Невского, Вел. Князь, как-то проникновенно сказал, поздравляя меня: «Не забывайте: Государь сам из своих рук дал вам орден. Помните, что это значит!». Когда в августе 1915 года Вел. Князя постигла опала, у меня вырвались слова: «Зачем карает Вас Государь, ведь Вы верноподдан-

ный из верноподданных»... «Он для меня Государь; меня воспитали чтить и любить Государя. Кроме того, я как человека люблю его», ответил Вел. Князь.

Когда я видел Вел. Князя в октябре 1916 года в Тифлисе, мне показалось, что под влиянием опалы, которой он подвергся, а еще более под влиянием всё сгущавшейся атмосферы в стране, в чем он не мог не считать виновным Государя, слепо подчинившегося своей жене и Распутину, у Вел. Князя ослабло чувство преклонения перед Государем. Я думаю, что в это время он переживал большую душевную борьбу. Затем я видел Вел. Князя в ноябре 1918 года. Тогда он избегал разговоров о Государе.

В отношении Вел. Князя ко всему: к развлечениям и удовольствиям, в его взгляде на женщину проглядывало особое благородство, своего рода рыцарство. Зашла однажды за завтраком речь об игре в карты. «Я понимаю, — сказал Вел. Князь, — поиграть в карты, когда это доставляет мне настоящее удовольствие, наслаждение. Но убивать время в игре, еще более — играть для выигрыша, — это гадость, преступление». Так же он расценивал и все другие развлечения: они ценны и законны, если дают человеку душевный отдых, нужное наслаждение. Они отвратительны и преступны, если вызываются распушенностью и соединяются с пошлостью.

Из всех отраслей народной жизни наибольшей любовью Вел. Князя пользовалась сельскохозяйственная. В этой области он обладал большими и разносторонними познаниями. Как известно, в его пригородном имении была, думаю, лучшая в России, — не по размерам, а по постановке в ней дела, — молочная ферма, состоявшая из лучших пород коров и ангорских коз. Ферма и устраивалась и велась под личным и постоянным руководством Вел. Князя, изучившего в совершенстве молочное дело.

За завтраком и обедом у нас очень часто велись беседы по огородничеству, садоводству, рыболовству, поваренному искусству и пр. И Вел. Князь буквально поражал нас своими познаниями во всем этом. Я заслушивался обстоятельными сообщениями Вел. Князя, как надо разводить те или иные овощи, ухаживать за садом, ловить рыбу, готовить уху, солить капусту и огурцы и т. д.¹³

¹³ Эта черта у Вел. Князя была наследственной. Его отец, В. К. Николай Николаевич Старший также увлекался всякими хозяйственными занятиями. Его увлечение, например, доходило до того, что

Самым же любимым развлечением Вел. Князя была охота, в особенности — на птиц и диких зверей. Читатели, может быть, знают, что псарня Вел. Князя в имении «Першино» (Тульской губ.) была чуть ли не лучшей в Европе. На содержание ее тратились огромные средства.

Ум Вел. Князя был тонкий и быстрый. Вел. Князь сразу схватывал нить рассказа и сущность дела и тут же высказывал свое мнение, решение, иногда очень оригинальное и всегда интересное и жизненное. Я лично несколько раз на себе испытал это, когда, затрудняясь в решении того или иного вопроса, обращался за советом к Вел. Князю и от него тут же получал ясный и мудрый ответ. Но к черновой, усидчивой, продолжительной работе Вел. Князь не был способен. В этом он остался верен фамильной Романовской черте: жизнь и воспитание Вел. Князей делали всех их не усидчивыми в работе. Эта особенность, однако, могла совсем не вредить Верховному Главнокомандующему, если бы Штаб его, вернее, лица, возглавлявшие его Штаб, стояли на высоте своего положения. К сожалению, о нашем Штабе этого нельзя было сказать.

Должен отметить еще одну черту в характере Вел. Князя. Он чрезвычайно быстро привязывался к людям, очень ценил всякое проявление забот последних о нем; привязавшись к кому либо, как я уже говорил, оставался верным ему до конца и, в особенности, боялся менять ближайших своих помощников, закрывая глаза на иногда очень серьезные их недостатки. Во время войны это имело свои и очень большие последствия.

Я искренно любил Вел. Князя, ценил многие его высокие качества и был безгранично благодарен за его неизменное внимание и ту постоянную поддержку, которую он оказывал мне в моей работе. Однако, я не мог не заметить некоторых дефектов его духовного склада. При множестве высоких порывов ему, всё же, как будто, не доставало сердечной широты и героической жертвенности.

Вел. Князь должен был хорошо знать деревню с ее нуждами и горячи. Он ежегодно отдыхал в своем Першине. И, однако, я ни разу не слышал от него речи о простом народе, о необходимых правительственных мероприятиях для улучшения народного благосостояния, для облегчения возможности

он не доверял своему повару варить уху из щуки и всегда сам готовил ее. В. Кн. Ник. Ник.-сын рассказывал мне об этом, при чем утверждал, что лучшая уха — это из щуки.

лучшим силам простого народа выходить на широкую дорогу. В Першине образцовая псарня поглощала до 60 тысяч руб. в год, а в это самое время из великокняжеской казны не тратилось ни копейки на Першинские просветительные и иные неотложные народные нужды. В этом отношении Вел. Князь можно сказать не выделялся из рядов значительной части нашей аристократии, отгородившейся от народной массы высокою стеной всевозможных привилегий и слабо сознававшей свой долг пещись о нуждах многомиллионного простого народа. У Вел. Князя как то уживались: с одной стороны, восторженная любовь к Родине, чувство национальной гордости и жажда еще большего возвеличения великого российского государства, а с другой — тепло-прохладное отношение к требовавшему самых серьезных попечений и коренных реформ положению низших классов и простого народа. В таком сочетании противоположностей сказывался известного рода эгоизм и своего рода близорукость, ибо для действительного и прочного возвеличения российского государства прежде всего требовалось повышение уровня жизни народной массы и всё большее и большее приобщение ее к культурной жизни страны.

Вел. Князя все считали решительным. Действительно, он смелее всех других говорил Царю правду; смелее других он карал и миловал; смелее других принимал ответственность на себя. Всего этого отрицать нельзя, хотя нельзя и не признать, что ему, как старейшему и выше всех поставленному Вел. Князю, легче всего было быть решительным. При внимательном же наблюдении за ним нельзя было не заметить, что его решительность пропадала там, где ему начинала угрожать серьезная опасность. Это сказывалось и в мелочах, и в крупном. Вел. Князь до крайности оберегал свой покой и здоровье; на автомобиле он не делал более 25 верст в час, опасаясь несчастия; он ни разу не выехал на фронт дальше ставок Главнокомандующих, боясь шальной пули; он ни за что не принял бы участия ни в каком перевороте или противодействии, если бы предприятие угрожало его жизни и не имело абсолютных шансов на успех; при больших несчастиях он или впадал в панику, или бросался плыть по течению, как это не раз случалось во время войны и в начале революции. У Великого Князя было много патриотического восторга, но ему не доставало патриотической жертвенности. Поэтому, он не оправдал и своих собственных надежд, что ему удастся привести к славе Родину, и надежд народа, желавшего видеть в нем действительного вождя.

Протопресвитер Г. Шавельский

СОВЕТСКИЕ ВОЕННОПЛЕННЫЕ В ГЕРМАНИИ

в 1941 году

В последних числах августа 1941 года мне позвонил знакомый и сообщил, что в министерстве Восточных областей, в ведении которого находились лагеря военнопленных (за исключением тех, которые были расположены в прифронтовой полосе) решено организовать комиссии по распределению пленных по специальностям и что он рекомендовал меня организаторам этих комиссий. Надо заметить, что с самого же начала войны до нас стали доходить слухи о необычайно тяжелом положении советских пленных в лагерях и невольно возникала мысль как-то придти им на помощь. Правда, одно упоминание имени министра Розенберга и его министерства действовало на нас — русских — как красная тряпка на быка, но долголетняя мечта встретиться с потусторонней Россией и желание помочь пленным заставили меня согласиться на сделанное предложение.

Я отправился в отдел министерства, где формировались эти комиссии. Комиссия, в которую я попал, состояла из председателя (немец-партиец), его заместителя (немец, говоривший по-русски), двух русских, двух украинцев и одного белоруса. Приблизительно таков был состав и других комиссий. К тому времени было организовано около одиннадцати подобных комиссий. К сожалению, старания последователей политики Розенберга к этому периоду уже дали свои всходы и, как русские, так и украинцы, и белорусы, в одной и той же комиссии относились друг к другу холодно и даже почти враждебно. Однако, эта взаимная неприязнь при первой встрече — потом сглаживалась и постепенно, за редкими исключениями, между членами комиссий создавались товарищеские и даже дружеские отношения. Страшная действительность, с которой приходилось столкнуться в лагерях военнопленных, — сблизил нас.

Комиссии приступили к работе. 1-го сентября 1941 года мы разъехались по определенным маршрутам. Наша комиссия из Берлина направилась в Польшу, и рано утром 2-го числа мы прибыли на пограничный пункт в Кутно. Общий вид города был ужасный: он весь лежал в развалинах. Здесь польская армия

героически сражалась, пытаясь отразить германское наступление. Из Кутно мы направились в Варшаву. И если картина разрушенного Кутно и полураздетых поляков произвела на нас удручающее впечатление, то картина разрушенной польской столицы нас потрясла. Красавица Варшава была превращена в сплошные руины, на фоне которых как-то неестественно возвышались отдельные дома, а иногда и целые блоки. И тем не менее, эта плененная и разрушенная польская столица сумела в какой-то мере сохранить свое бывшее величие. Жизнь в ней, в полном смысле этого слова, была ключем. На вокзалах — днем и ночью, подходили и уходили поезда, переполненные военными; улицы кишмя кишели автомобилями и прохожими; в ресторанах и кафе нельзя было найти свободного стола.

Тяжелое впечатление произвели на нас поляки. Истощенные, с удрученными лицами, плохо одетые. Все куда-то торопились, куда-то выезжали и откуда-то приезжали. Специальные поезда для польского населения были облеплены людьми. Как сумело просуществовать преследуемое и беспризорное население Варшавы в течение шести лет войны, мне непонятно до сих пор. И тем не менее, чувствовалось, что поляки разбиты, но не покорились. Оккупанты-немцы ходили по улицам с опаской и имели для этого все основания: польские националисты ушли в подполье и организованно боролись против немцев; террористические акты не прекращались, несмотря на жесткие меры, которые оккупанты применяли к террористам.

Как-то, проходя по площади, на которой стоит памятник Понятовскому, я заметил, что шедшие мимо памятника поляки снимали шапки. Это меня тронуло до глубины души. Но, как везде, так и среди поляков нашлись люди, которые спекулировали вместе с немцами и наживали на таких операциях колоссальные деньги. Этими спекулянтами были переполнены рестораны, кафе и бары Варшавы, где проводились огромные операции купли-продажи и пропивались немалые суммы.

Из Варшавы мы выехали в Ярослав. Это — маленький городок, заложенный в свое время Ярославом Мудрым, у окраины которого и до сего времени стоят сторожевые башни, построенные в дни княжения Ярослава. Здесь, в восьми километрах от города были расположены два лагеря военнопленных, с которых мы и должны были начать свою работу. Оба лагеря считались небольшими; в первом было около 20.000 человек, а во втором 10 тысяч.

День, когда мы впервые посетили лагерь был дождливым и холодным. Подъехав к лагерю и выйдя из машины мы увидели

у обочины дороги двух откормленных немецких солдат, раскуривавших папиросы, а перед ними, стоявшего на коленях, русского военнопленного с сизым от холода лицом и до того тонкой шеей, что, казалось, голова его насажена на стебелек. Пленный черпал тощими и сизыми руками воду из канавки, проложенной вдоль шоссе, и смывал глину с сапог своих победителей. От этой картины у меня потемнело в глазах.

Работу свою мы начали в первом лагере, где содержалось 20.000 человек. Несмотря на то, что со времени начала войны прошло всего лишь три месяца, общий вид пленных был ужасный. В лагере, основательно обнесенном колючей проволокой и охраняемом пулеметчиками, стоящими на сторожевых вышках, было устроено несколько барачных лагерей для лагерной администрации и охраны, а пленные жили в землянках и спали на голой земле. Стояли холодные, дождливые дни, все землянки протекали, а 40 процентов пленных были без шинелей, без гимнастерок, а иногда и без обуви. Немного позже, когда я случайно попал в лагерный склад, мне пришлось убедиться в справедливости показаний пленных. Новые сапоги и алюминиевые котелки отбирались у пленных и аккуратно развешивались в складе, предназначаясь для сдачи, а люди ходили босыми и еду свою получали или в какую-нибудь консервную банку, или в шлемы, или же попросту подставляя раздатчику руки, сложив их «лодочкой».

Пленные были полураздетые, грязные, истощенные, с обросшими лицами и, главное, дошедшие до полного отчаяния. Судьбой их никто не интересовался; своим правительством они были поставлены вне закона. Оно объявило всех пленных изменниками родины и отказалось войти в Международный Красный Крест. Лагерные же условия жизни, созданные немцами, были невообразимы. Пленные погибали. Обхождение администрации с этими полунормальными, от сознания полной своей обреченности, людьми было возмутительно. Рукоприкладство и применение оружия были нормальным явлением. Но самым ужасным было то, что довольствие пленных носило чисто «формальный» характер. Утром и вечером пленный получал по кружке горячей воды, на обед (условно) литр баланды и на целый день ломоть хлеба. От такого питания люди дошли до полного истощения и еле стояли на ногах. Согласно немецким же подсчетам, в эту зиму (а зима была исключительно холодной) 80 процентов умерло от голода и холода. Можете себе представить, как эти несчастные люди, стараясь хоть как-нибудь избежать неминуемой смерти, цеплялись за тех, кто

приходил с воли. Многие из них предъявляли сброшенные на ту сторону германской авиацией листовки с призывом к красноармейцам сдаваться в плен и тем обрести свободу и взывали к совести германских властей, прося справедливого к себе отношения. А между тем, каждому из них смерть уже не раз заглядывала в глаза, а о свободе не могло быть и речи. Сердце рвалось на части при виде этой трагедии, перед которой бледнели все ужасы войны.

И всё-таки, положение пленных в этих лагерях было многим лучше, чем в Холме, где в двух лагерях находилось 60.000 человек. Эти лагеря назывались «лагерями смертников». Ужасное положение пленных в этих лагерях говорило о спешной необходимости спасти людей от неминуемой смерти. Зная распоряжение Гитлера — выпустить украинцев из лагерей военнопленных, а всех квалифицированных рабочих привлечь на работу по их специальностям, — мы делали тысячи и тысячи пленных украинцами и квалифицированными рабочими, чтобы, таким образом, вывести их из-за проволоки и спасти от смерти. И тот из них, кто смог дождаться осуществления этих распоряжений, остался жить; остальные так и умерли, не дождавшись свободы.

Не раз я задавал себе вопрос: нарочно ли морят немцы голодом людей в лагерях или же захлестнувшая их гигантская волна пленных мешает им справиться со своей задачей? Правда, трудно было организовать дозволствие пяти миллионов людей в то время, когда всё внимание было направлено на фронт. Но почему же тогда в лагерях раздевали людей, отбирали у них сапоги и котелки? Почему комендант лагеря в Ярославле приказал собрать и сложить на площади те доски, на которых должны были спать пленные в землянках, заставляя этим людей спать в грязи? Чем объяснить, что пленного за простое непослушание протыкали штыком?

В лагерях военнопленных комендант являлся вершителем судьбы всех тех десятков тысяч людей, которые попадали под его опеку, и от личных моральных качеств коменданта зависели жизнь и смерть этих людей. Что касается коменданта первого лагеря в Ярославле, то это был отвратный и жестокий человек.

В том же Ярославле, в лагере № 2, где было 10.000 пленных, люди выгладели много лучше, чем в первом и на распросы о их жизни, не высказывали особых жалоб. Пеняли только на то, что их судьбой никто не интересуется. Пленные эти были особенно довольны своим комендантом, о котором отзывались, как о родном отце. Как-то я улучил момент, когда комендант

был один и, подойдя к нему, поблагодарил его за заботу об этих несчастных людях. Комендант выслушал меня и сказал:

— Мне не нужна ваша благодарность. У меня у самого два сына на фронте и не сегодня, так завтра они могут оказаться в таком же положении, в какое попали эти несчастные люди. Может быть и им тогда кто-нибудь поможет. То, что я делаю, я делаю от души, но и мои возможности ограничены, чтобы помочь этим несчастным людям и сохранить им жизнь. Я состою комендантом этого лагеря всего два месяца и за это короткое время мои волосы успели поседеть.

Как-то в одном из лагерей я заметил, что двое пленных вели под руки третьего, плачущего и еле передвигающего ноги. Я подошел к ним и спросил в чем дело. Мне ответили, что только что германский солдат проткнул плачущего штыком в спину. Тогда только я заметил, что вся шинель раненого испачкана кровью и путь, по которому он шел, отмечен кровавыми следами. Я пришел в бешенство от такого произвола над беззащитными людьми и поднял скандал. Узнав об этом скандале, комендант лагеря вызвал нашего председателя, а тот, вернувшись, внушительно сказал мне, что я не должен забывать, что послан сюда Восточным Министерством со специальным заданием и не имею права вмешиваться во внутренние дела лагеря. Я пробовал возразить председателю, но пришлось принудить себя к молчанию, ибо быть исключенным из комиссии, с которой можно было проникать в лагеря и хоть чем-нибудь помогать этим обреченным на смерть людям — не хотелось.

Нужно сказать, что военнопленные как в Ярославских лагерях, так и в других, где мне пришлось побывать, администрацией лагерей были распределены по национальностям и строго изолированы друг от друга. В худшем из всех положении были великороссы. В лучшем — украинцы. По соглашению львовского украинского комитета с германским правительством, почти каждую неделю в лагери приезжали члены украинского комитета с обозом крестьянских телег, с родными и близкими сидевших в этих лагерях пленных, и получали очередную «порцию» предназначенных к выпуску украинцев. Как правило, многие из них не держались на ногах и их выносили на руках.

Вместе с украинцами из лагерей выпускали и тех русских, кого мы вписывали в списки украинцев, и нужно отдать справедливость членам украинского комитета: — они знали об этом, но не было случая, чтобы они нас выдали. Русских пленных, вышедших вместе с украинцами, они вывозили, кормили, а затем отпускали на все четыре стороны. Однако, немало по-

могало пленным и русское население этих областей. Как правило, русские женщины выходили на улицы, по которым водили рабочие команды пленных, и старались снабдить их пищей, которой сами располагали в очень ограниченном количестве (по тем временам, русское городское население занятых областей Польши само голодало). Когда же мы приехали в город Холм и вошли в сношение с местным русским населением, то в этом городе сразу был организован комитет для помощи военнопленным в лагерях и немало интеллигентных сил этот комитет спас от голодной смерти. Трогательно бывало наблюдать, как женщины, по указанию этого комитета, приходили в лагерную канцелярию, прося отпустить на поруки военнопленного, которого называли своим родственником (внуком, племянником, шурином и т. д.), при чем в канцелярии они должны были назвать имя, фамилию и номер билета пленного, о котором просили, выучивая эти данные согласно нашим указаниям. Когда же такой женщине приводили этого пленного и она видела совершенно незнакомого, грязного, вшивого и измученного человека, женщина бросалась ему на шею, целуя и называя его ласкательными именами. И почти во всех случаях немцы таких пленных отпускали на поруки. А семьи, в которые эти пленные попадали, несмотря на то, что сами голодали, месяцами кормили и поили их.

Особенно жалкое впечатление производили женщины-пленные. В условиях лагерной жизни им было очень тяжело и они старались держаться вместе. В Седлицком лагере мне пришлось говорить с женщиной-врачом, которая объединила вокруг себя всю женскую группу. Эта умная, интеллигентная и образованная женщина сумела поставить свою «команду» в такое положение, что лагерная администрация о всей ее группе отзывалась с большим уважением. Во время нашей беседы, она говорила:

— Конечно, лагерные условия очень тяжелы, но всё переносимо, за исключением недостатка белья и воды, что не позволяет нам ни переодеться, ни помыться.

Выслушивать это было чрезвычайно тяжело, ибо ничем помочь мы не могли.

Многие пленные часто спрашивали нас (они называли нас большей частью — пан, иногда — господин, а иногда и — пан-господин):

— Скажите, пан, за что Господь нас так наказывает? Ведь мне всего двадцать лет, я жизни не видел, а мне придется здесь умирать?

И это были — тысячи и тысячи молодых людей, дошедших до полного отчаяния, чувствовавших на себе дыхание смерти. Голод был такой, что в районе расположения лагерей были съедены все травы и корни. Почти во всех лагерях часто нам приходилось наблюдать такие сцены. Группа полуживых пленных тащит через лагерь телегу, нагруженную брюквой или картофелем для кухни. Несмотря на усиленный наряд лагерной полиции, вооруженной громадными палками, для охраны продовольствия, — пленные набрасываются на телегу, не обращая внимания на сыпящиеся на них градом побои. Лагерная полиция, состоявшая тоже из пленных, была жестокой, не знающей милосердия и на побои не скупилась. И такие сцены, обычно, кончались тем, что на месте схватки оставалось несколько затоптанных и искалеченных человек, которых тут же, за ноги, оттащивали в полицейский барак.

Нужно заметить, что, как правило, каждый день администрация лагерей составляла рабочие команды из наиболее здоровых и крепких еще пленных и под конвоем направляла их на работы, носившие военный или общественный характер. На эти работы старались попасть все, даже те, кто еле-еле стоял на ногах, ибо каждому хотелось хоть на миг покинуть это царство смерти, а кроме того этим рабочим командам и по пути, и на месте работы, гражданское население передавало еду. И нередко среди этих пленных оказывались такие, которые не только не были в состоянии работать, но не могли даже проделать путь к месту работы. Таких товарищи должны были поддерживать, стараясь довести до конечного пункта.

И вот, к одной такой команде вышла навстречу крестьянка с ведром вареного картофеля и с лепешками, которые несла в фартуке. Она обратилась к проходящему мимо конвою, показывая на картофель и на пленных. Немец понял в чем дело и, сказав «ферботен», прошел мимо. Но следующий конвой, приложив руку с растопыренными пальцами к глазам, дал ей понять, что он ничего не видит. Обнадеженная жестом конвоира, крестьянка подошла близко к команде, но в это время произошло нечто ужасное: пленные из рядов набросились на эту женщину и через минуту на месте, где она стояла образовалась форменная свалка обезумевших людей, пытавшихся добраться до заветного ведра. На эту свалку в свою очередь набросились конвоиры и стали бить людей резиновыми палками, кого куда попало. Кончилось тем, что на месте происшествия остались лежать раздавленная насмерть крестьянка и несколько человек растоптанных и искалеченных пленных.

Как-то в Холме, во время работы, ко мне подошел старший врач лагеря и попросил ему помочь. Оказалось, что в эту ночь один из солдат, побывавший на работе, раздобыл там несколько картофелин, запасся дровами и пытался этот картофель сварить. Часовой в лагере, с вышки открыл огонь по костру и несколькими пулями тяжело ранил сидевшего у огня, предпринимчивого пленного. Товарищи унесли раненого, но они вынуждены были скрывать его от лагерной администрации. Вызванный к больному старший врач не имел ни медикаментов, ни перевязочных средств и потому не мог помочь пострадавшему. Он просил меня раздобыть необходимые ему материалы. Материалы эти врачу были доставлены, но этот случай открыл мне совершенно новую для меня область жизни пленных.

Оказывается, в лагерях водились санитарные землянки (я говорю о лагерях, где люди размещались в землянках), но в распоряжении врачей не было никаких инструментов, медикаментов и перевязочных средств. Больные в этих землянках лежали на голой земле и обслуживались примитивными народными средствами. Этот же врач (русский) рассказывал мне, как однажды ночью ему пришлось сделать операцию больному аппендицитом, изъяв отросток при помощи гвоздя, причем освещением служили спички, зажигаемые стоявшим рядом «ассистентом» — пленным. Случай этот оказался тяжелым и отложить операцию до утра было невозможно, а для немедленной операции под руками у врача ничего не было. Поэтому пришлось идти ва-банк: достать спички, раздобыть гвоздь (гвозди в лагере являлись продуктом для обмена, и каждый пленный, выходявший на работу, старался подобрать или иным способом раздобыть гвоздь), расплющить его, наточить и заменить им операционный нож. И поразительнее всего, что проведенная таким образом операция оказалась удачной и пациент остался жить.

Время шло, пленные в лагерях с каждым днем всё больше слабели. С наступлением холодов смертность повышалась. В лагерях, где было сосредоточено по 30 и 40 тысяч человек, ежедневно умирало, в среднем, по пятьсот человек. Полуживые пленные целыми днями таскали по лагерным дорожкам на носилках, представлявших собою четыре сложенные доски (а то и просто за ноги без всяких носилок) покойников на свалочное место, откуда затем уже на телегах их вывозили в братские могилы. Вид этих процессов был кошмарен. Нельзя было без содрогания смотреть на транспортирование скелетов-трупов, с торчащими в стороны тонкими, как палочки, руками и ногами

и с обмананными глиной лицами. Нередко такая процессия останавливалась, прося у мимо проходящих товарищей помощи, ибо люди, несшие покойников, не в силах были справиться со своей ношей. Но нередко пленные и без всякой ноши увязали в глубокой лагерной глине и, не будучи в состоянии вытащить ноги, оставались стоять на месте до тех пор, пока кто-нибудь им не помогал.

В некоторых лагерях среди пленных очень часто попадались какие-то уродливые шарообразные фигуры. Я сначала не мог понять в чем дело, но потом мне объяснили, что у этих людей нет шинелей и чтобы не мерзнуть они обматывали себя соломой, засовывая ее под гимнастерку и брюки; другие то же самое делали иначе: если имели шпагат или проволоку, они обматывали себя соломой поверх надетых на них лохмотьев и обвязывались.

На дошедших до полного истощения пленных их же товарищи смотрели, как на живых покойников, и если среди этих товарищей оказывались люди, потерявшие всякие моральные устои, то они устанавливали слежку за умирающими и, дождавшись момента смерти, раздевали покойников догола. При этом, нередко были и случаи, когда зимой, в мороз, раздевали человека еще не отошедшего в потусторонний мир.

Мне не раз приходилось слушать жалобы врачей на то, что при освидетельствовании покойников бывали случаи, когда среди них обнаруживали еще живых людей. В таких случаях, как сами врачи, так и здравомыслящие пленные оказывали помощь несчастному. Находились и люди, которые на определенный срок давали свои шинели, чтобы прикрыть умирающего, упрасивали кухонное начальство отпустить доктору немного горячей воды и, таким образом, отогревали жертву мародеров. Правда, в отношении охотников за умирающими применялись страшно жестокие меры наказания их же товарищами по несчастью, но деморализация части пленных дошла до такой степени, когда и жестокие наказания не пугали. Дошло до того, что мародеры действовали организованно и при этом каждая группа их старалась ни в коем случае не допустить мародеров из других землянок к своей: каждая такая «организация» могла пользоваться добром, остающимся от покойников только своей части.

Приобретенное таким путем барахло шло тут же на лагерьный «рынок» (если можно назвать так подпольную торговлю, имевшую место почти во всех лагерях), где обменивалось

на баланду, бутерброды и сигареты, которые вносились в лагерь полицией и разными другими людьми с воли.

Несколько слов о лагерьном «рынке». Разными неизвестными путями в лагерь вносились продукты питания и курево, которые обменивались там на золотые зубные коронки, кольца, часы и вообще на всё то, что представляло из себя ценность. Было страшно слушать о том, как лагерные спекулянты снимали, при помощи того же гвоздя, золотые коронки с зубов своих товарищей. Конечно, слабовольные люди очень скоро становились жертвой лагерных рвачей, ибо тот, кто променивал свою шинель, гимнастерку или паек на папиросы — был обречен на смерть. В условиях плена он погибал или от простуды, или от истощения.

Бывали случаи, когда покойников обнаруживали по утрам с вырезанными ночью ляжками или же с вынутыми сердцем и печенью. Виновников таких преступлений свои же выискивали и передавали немцам на расстрел. И тем не менее, людоедство не прекращалось.

Немецкая администрация, не будучи в состоянии справиться с ею же порожденными ужасами, прибегала к помощи внутренней полиции, которая подбиралась из пленных. Как правило, внутренняя полиция формировалась из людей здоровых, крепких, и аморальных. Эти человекообразные животные не знали ни жалости, ни сострадания к своим же товарищам. Они безнаказанно избивали людей и нередко запарывали их до смерти. Имена Василия Васильевича Колесниченко и Личманенко, как проклятие, останутся на всю жизнь в памяти каждого пленного, сидевшего в холмском лагере и выжившего. При помощи тех же полицейских вносились в лагеря и продукты для черного рынка. Полицейские в лагерях были хозяевами положения и на фоне истощенных лиц пленных, их лоснящиеся от жира физиономии вызывали общее отвращение и ненависть.

Нередко на полицейские должности попадали коммунисты и, чтобы приобрести доверие немецкой администрации и выслужиться, они расправлялись с людьми похуже немцев. Как ни странно, но немцы таким полицейским из пленных доверяли во всем и нельзя было убедить их в том, что эти господа делают в лагерях большевистское дело. С этим явлением мне и потом приходилось встречаться много раз, и каждый раз мои попытки убедить немцев в том, что эти господа, только и знающие, что шелкать каблуками, на всё отвечая «яволь!» и терроризировать народ, — являются большевистскими агентами и выполняют большевистские задачи, — ни к чему не приводили. Немцы

доверяли охотно только тем, кто беспрекословно исполнял их волю.

В Седлицком лагере начальником полиции был назначен один русский полковник из пленных. Это был здоровый, высокий мужчина, с одутловатым и рябым лицом. С громадной дубиной в руках он целыми днями расхаживал по лагерю и творил суд и расправу собственноручно. Пленные его боялись и старались всеми силами не попадаться ему на глаза. Помню, как однажды я попробовал воздействовать на его лучшие чувства, но этот господин в грубой форме заявил мне, что он назначен комендантом, немецкой администрацией, и что ему нет до меня никакого дела. Тогда я попробовал поговорить с немецким комендантом лагеря, но и комендант ответил мне, что, мол, мы, немцы, не можем справиться с этими людьми без помощи полковника, а потому и сместить его не можем. Так это животное и осталось палачем своих товарищей по несчастью.

Однако, нельзя сказать, чтобы среди полицейских не было порядочных людей. Мне помнится старший полицейский в этом же холмском лагере. Это был молодой человек, лет 25-ти, с высшим образованием, по национальности грузин. Звали его Сандро Жвания. Несмотря на деморализованность, существовавшую в лагерях, он сумел взять лагерь в руки и установить в нем относительный порядок и, вместе с тем, отношение его к пленным было гуманным и отзывчивым. Его все любили. К сожалению, этот молодой человек умер от сыпного тифа.

Должен заметить, что несмотря на то, что в лагерях наблюдались случаи людоедства, мародерства и бесчеловечного отношения друг к другу, подавляющее большинство пленных в этом царстве смерти стойко несли свой тяжелый крест. Немало было среди этих людей сильных, волевых натур, которым удавалось укрепить свой авторитет среди товарищей и организовать внутреннюю жизнь в своих блоках. Эти организованные группы поддерживали тех, кому приходилось плохо, и жестоко карали тех, кто терял человеческий облик и мародерствовал. Люди эти в лагерях в значительной мере и спасали положение.

Зимой 1941 года из пяти миллионов советских пленных сошло четырех миллионов так или иначе погибли. В конце декабря 1941 года нашу комиссию распустили и дальнейший доступ в лагеря военнопленных для меня и моих товарищей был закрыт. Невыносимо было сознание, что на глазах у всего культурного мира медленной смертью умирали миллионы невинных людей.

К. Кромиади

РЕПАТРИАЦИЯ

В 1945 году советскому правительству предстояло выполнить одну весьма важную задачу. Оно решило добиться скорейшего возвращения на родину всех советских граждан, объявленных советским правительством «изменниками и врагами народа», и находившихся на территориях ряда государств: Германии, Австрии, Франции, Италии и др. Добиваясь их возвращения, Сталин преследовал следующие цели: 1. сократить распространение правды о Советском Союзе в свободном мире, 2. поместить миллионы этих людей на положении рабов в концлагеря для выполнения сталинских каторжных строек, 3. не допустить общения населения СССР с этими «врагами народа», дабы оно не узнало правды о Западе, 4. терроризировать этим население СССР, держа его в постоянном страхе на случай повторения войны.

Проведению этой акции способствовало Ялтинское соглашение.

Я постараюсь показать, как практически было приступлено к выполнению этого тщательно обдуманного плана, разработанного в Кремле задолго до окончания войны, как шла организация репатриационных комиссий, как были вовлечены в работу репатриации тысячи офицеров, солдат и генералов, никогда не имевших дела с МВД-МГБ и СМЕРШ, и какую роль в этой операции играл начальник МВД-МГБ Берия.

1. Подготовительный период

Подполковник Путнев до войны был вторым секретарем райкома ВКП(б) в Калининской области. В первый день войны он был мобилизован и получил звание батальонного комиссара. Во время войны он был комиссаром стрелкового полка, входившего в кировскую гвардейскую дивизию «народного ополчения». К концу войны Путнев дослужился до подполковника и занимал должность секретаря партийного бюро дивизии. В этом чине и в этой должности Путнев остался и после войны в одной из дивизий Четвертой Гвардейской армии в восточной Германии. Ответственность подполковника:

была большая. Ведь секретарь партбюро при политотделе дивизии является секретарем партконтроля и своего рода «партийным трибуналом». Он предreshал судьбу офицеров и солдат — членов партии.

После победы над гитлеровской Германией — вольная военная жизнь дезорганизовала дисциплину советской армии. К тому же офицеры и солдаты увидели «гнилой» Запад не таким, каким его себе представляли. Очень скоро они «заразились плохим примером» Запада, стали «отдаваться наживе», приобретать хорошие квартиры с хорошей мебелью, платье и обувь, золотые вещи, заграничную валюту. Чтобы нажить побольше — стали спекулировать чем можно, некоторые оказались компаньонами немецких фирм, а немцы нуждались в компаньонстве советских офицеров. Одним словом, всё, что партийная пропаганда вдалбливала своим рабам в течение двадцати пяти лет, пошло на смарку за несколько недель пребывания на территории «гнилого Запада». Люди потеряли «партийное лицо», начали «преклоняться перед западной буржуазией», — опасность явно угрожала и армии, и членам партии, очутившимся на Западе. В этот ответственный момент и потребовалась железная рука Путнева. Путнев готов был уничтожить людей, перерождающихся на западный лад. Если Путнев исключал кого-нибудь из партии, то на второй день исключенный бывал осужден трибуналом, а еще через день его отправляли в концлагерь. Политотдел армии постоянно ставил всем в пример подполковника Путнева, как борца за чистоту партийных рядов и за суровость к нарушителям.

Должен сказать, что меня судьба и на фронте и после войны баловала. Политотдел, командование, СМЕРШ, прокуратура, трибунал часто защищали меня от возможных нападков. Объясняется это тем, что я был зам. командира дивизии по тылу: в моих руках были материальные ценности, в которых все они нуждались. У меня они получали продовольствие помимо положенной нормы, спиртные напитки, табачные изделия, бензин для разездов и даже товары через военторг. Хорошее отношение с начальством давало близость с нужными людьми, а благодаря ей я часто бывал осведомлен о разных секретных делах. Начальники не стеснялись при мне о них говорить, а бывали и такие, которые, сидя у меня за рюмкой водки, о многом рассказывали.

Так Путнев однажды рассказал мне, как он был приглашен на секретное совещание, которое проводил член Политбюро министр МВД Берия, приехавший в Штетин в начале

апреля 1945 г., когда война шла еще на полях Германии. Берия приехал с инструкциями насчет предстоящей репатриации советских граждан, и для того, чтобы подобрать подходящих для этого дела людей. По словам Путнева, Берия указал, что сам Сталин будет следить за выполнением этой задачи, это одно уже указывало на ее исключительную важность. Берия предупредил собравшихся, что они будут иметь дело с людьми, изменившими родине, и что в этом отношении нет разницы между пленными, вывезенными или уехавшими добровольно. Всех их нужно было изъять потому, что они представляли собой опасность и для СССР, и для трудящихся всего мира. Каждый из них, оставшись в руках противников СССР, может принести больше вреда, чем тысяча вредителей внутри страны. Последних можно было обезвредить, а эти стали бы недосыгаемы.

Берия предупреждал, что советские работники по репатриации встретятся с препятствиями со стороны союзных властей на оккупированной ими территории. В таких случаях Берия предписывал направлять «наших людей» непосредственно в лагеря на территории союзников для ведения пропаганды за возвращение на родину. В лагерях нужно было создавать актив из подлежащих репатриации; некоторым из них можно было выдать оружие, чтобы укрепить их доверие. Члены этого актива должны были узнавать адреса тех, кто проживал на частных квартирах, и выслеживать тех, кто бродил по разным местам. В тех же целях надо было устанавливать связь с немецкой полицией, привлекать к работе немецких женщин, заводить дружбу с владельцами пивных и кабаков и иметь тесный контакт с немецкой коммунистической партией. В то же время пропаганда возвращения на родину должна быть поставлена так, чтобы она могла заечь массу репатриантов, чтобы они поверили, что родина их ждет, что правительство не будет их преследовать, что по возвращении они получат работу на своих старых местах, кредиты на строительство, на приобретение хозяйства и пр. Эта пропаганда должна была показать и представителям союзников, как советское правительство заботится о своих гражданах.

Я не могу припомнить многих деталей, рассказанных мне Путневым, хотя к этой теме подполковник возвращался неоднократно. Зато твердо помню, как Путнев отозвался о Берии. В глазах Путнева Берия был «гений». «Берия нам дал», говорил Путнев, «такую развернутую и ясную программу действий... Его простота в обхождении с товарищами останется

у меня в памяти на всю жизнь. Грех было бы не выполнять указаний такого государственного человека, как Берия».

2. «Освободим наших братьев и сестер из гитлеровской неволи!»

С таким лозунгом миллионы бойцов и офицеров советской армии шли навстречу смерти. В ходе боев армия освободила сотни тысяч советских людей. Но встречи освободителей со своими братьями и сестрами носили поистине трагический характер. «Освобожденные» продолжали содержаться в тех же концентрационных лагерях, что и при Гитлере, и транспортировались под усиленной охраной в СССР, как арестанты. Их истребляли на территории СССР после доставки туда для фильтрации.

В марте 1945 года, когда мы освободили город Ризенбург, в Восточной Пруссии, нам достался громадный концентрационный лагерь, в котором находилось три с лишним тысячи советских людей. Об этих людях мне рассказывал начштаба дивизии полковник Лукьянов. Наши войска наступали так стремительно, что немцы даже не успели вывезти или уничтожить свои архивы. Таким образом в наши руки попали все личные дела, заведенные немцами на каждого заключенного. Среди этих документов были показания советских людей, в том числе и неграмотных, которые вместо подписи ставили несколько крестиков. В них были сведения о красной армии, о голоде в армии и в тылу; о концлагерях и вообще о тяжелых условиях советской жизни. Работники НКВД немедленно же приступили к выявлению личности каждого заключенного. Охрана лагеря была настолько усилена, что ни один человек не имел возможности бежать. Усилен был и аппарат следователей, которые были присланы из армейских органов.

Все заключенные были пропущены через тщательный фильтр, но очень немногие признавались на допросах. Плохо помогала и пытка голодом: по три-четыре дня арестанты получали только по стакану соленой воды, следующие три-четыре дня они получали по 200-250 грамм хлеба, а по истечении четырех хлебных дней их опять сажали на соленую воду. Однако упорство было невиданное. Заключенные говорили, что немцы сами писали показания, или что их заставляли писать под диктовку, а кто этого не делал, того немедленно уничтожали.

Дабы вынудить признания, однажды вечером энкаведисты вывезли человек двести заключенных за город к оврагу, каж-

дому дали по лопате и приказали рыть траншею. За ночь траншея была готова. Заключенных выстроили и объявили, что каждый из них должен подумать и решить — либо признаться, либо быть расстрелянным в этой траншее. Один из энкаведистов скомандовал: «Кто желает признаться, поднимите руки и выходите на три шага вперед!». При этом три десятка автоматчиков стояли с направленными автоматами и ждали команды: пли!. Из 200 человек только шесть подняли руки и вышли из толпы, остальные стояли как вкопанные и ждали смерти. Второпях шесть человек втолкнули назад в общую массу, раздался приказ «огонь по изменникам родины» и на этом всё кончилось.

Когда полковник Лукьянов рассказал мне об этом, я спросил его, почему же расстреляли и тех, кто изъявил согласие признаться? Полковник ответил, что не было никакого расчета с ними возиться, да кроме того они все были приговорены к смерти, даже если бы и признались.

3. «Прочёска»

Термин «прочёска» мы впервые услышали сейчас же после победы над Германией. Помню, как начальник политотдела моей дивизии подполковник Низемаев выступил перед офицерами примерно со следующей речью:

«Мы победили злейшего врага человечества, путь к победе нам указал великий гений человечества и испытанный полководец, наш любимый товарищ Сталин. Но победу мы должны сохранить. Мы находимся за рубежом родной земли, мы окружены врагами; этими врагами являются гитлеровские бандиты, вчерашние солдаты, офицеры и генералы, которые сорвали с себя военную форму и переодевшись в гражданскую одежду, влезли в гущу немецкого народа и скрылись от наших глаз. Чтобы предупредить всякие случайности, партия и правительство требуют от нас немедленно их выловить и уничтожить. Гитлеровские бандиты прячутся в лесах, оврагах, в подвалах, сараях и где только могут, а поэтому, начиная с ночи 12 на 13 мая и до вечера 16-го мая, мы с вами проведем прочёску всех населенных пунктов, лесов и оврагов, находящихся на территории нашей дивизии, с целью схватить всех этих затаившихся бандитов».

К указанному времени все соединения корпуса и армии уже имели план прочёски: дивизия соприкасалась с дивизией, корпус с корпусом, и таким образом была создана цепь окру-

жения, которая охватывала всю занятую нами немецкую территорию железным поясом. Личный состав дивизии, исчислявшийся в десять тысяч бойцов и офицеров, получил на четыре дня продовольственный паек в сухом виде, и войска, вооруженные автоматами, гранатами, пулеметами и револьверами, двинулись в путь.

16 мая к концу дня территория, подвергшаяся прочёске, была проверена полностью. Наши войска облазили все леса, овраги, сады, дома, чердаки, подвалы, сараи, сеновалы. Согласно приказу мы искали эсесовцев, гитлеровских солдат, офицеров и генералов. За три с лишним дня мы собрали 1300 человек. Но это не были «гитлеровские бандиты». Многие из захваченных были в лохмотьях, оборванные, полубосые, грязные; среди них были старики, старухи, молодые мужчины, женщины; не мало было и детей разного возраста, вплоть до грудных. Кроме 70-80 немцев, всё это были русские, украинцы, латыши, литовцы, эстонцы и пр. Это были люди, бродившие по лесам, оборванные, голодные, прячась от своего «освободителя». Тысячи советских граждан находились на территории восточной зоны Германии, тяжелым трудом зарабатывая кусок хлеба для себя и своих детей. Но когда советская армия заняла эти районы, не все из них успели уйти на запад, и эти застрявшие люди теперь прятались, стараясь перейти границу — к союзникам.

Но Берия требовал хоть из под земли достать и вернуть всех советских — до единого человека. Без помощи армии провести эту огромную и сложную работу карательные органы никогда не смогли бы. И армия была привлечена к этой позорной операции под видом «вылавливания немецких нацистов», якобы угрожавших нам за рубежом родной земли.

**
*

По окончании прочёски, я получил приказ немедленно принять всех приведенных людей и обеспечить их помещением и питанием по норме солдатского пайка, а детям до пяти лет сверх нормы выдавать по поллитра молока и т. д. Размещены они были в каменных конюшнях бывшего конзавода в деревне Перлин. Когда я ходил по этим конюшням, люди приставали ко мне с одним и тем же вопросом: «Что с нами будет, куда вы нас денете?». Что я мог им ответить? «Не волнуйтесь, подкормим вас, отдохнете и поедете на родину». Но пленники моим словам не верили, каждый из них ощущал тревогу. И

основательность этой тревоги я понял, когда выехал из конзавода и очутился у длинной ограды со стороны Хагеновской дороги. Фары автомашины осветили дорогу вдоль забора. Я заметил, что через каждые 25-30 метров медленно прохаживаются вооруженные автоматчики. У первого постового я остановил машину и спросил его, что они там делают. «Охраняем конзавод, чтобы никто не выходил и не входил», ответил солдат.

Я вернулся домой во втором часу ночи. Мой связной доложил, что начальник политотдела подполковник Низемаев просил меня сразу же после возвращения ему позвонить. Подполковник просил приехать к нему по важному делу. Я тут же сел в машину и поехал.

«Ну, что ж, выпьем по рюмке», предложил подполковник. За водкой он мне сказал: «Рекомендую не терять головы, война кончилась, а ты на пулю лезешь. Мне известно, что ты провел три часа с мерзавцами-изменниками в конюшнях. Что, надоело жить? Хочу тебя предупредить, что пока об этом знаем я и Сафонов, это еще полбеды, а если дойдет до корпусного начальства, спасения тебе не будет».

На конзавод Перлин я больше не ездил; я даже боялся слушать, когда начпрод капитан Абрамов три дня спустя приехал с конзавода и доложил, что за три дня 12 человек, в том числе три женщины, покончили самоубийством, — все повесились.

На шестой день пребывания людей на конзаводе мне сообщили, что в распоряжение моей дивизии прибудет 29 вагонов, которые надо загрузить в течение двух часов. Я был в недоумении, так как не подавал заявок на транспорт. Я доложил об этом командиру дивизии, тот приказал отнести начальнику станции форму № 2. Эта форма № 2 была документом взамен денежных расчетов за транспорт. Когда я заполнял эту форму в кабинете начальника станции, он попросил указать, что два вагона за определенными номерами следуют в Грайфсвальд, и 27 — в Росток. Оказалось, что железнодорожному отделу советской военной администрации было приказано предоставить эти вагоны для нашей дивизии, за которой числились арестованные, а так как бланками формы № 2 распоряжался я, то нужно было, чтобы я был «хозяином груза». Это и заставило карательные органы и политотдел ввести меня в курс дела. В курсе дела они были вынуждены держать меня еще и потому, что через меня должны были кормить

свои жертвы, так как продовольственные ресурсы дивизии были у меня, и я за них отчитывался.

К первым двум вагонам у паровоза, на двух автомашинах «ЗИС-5», привезли женщин и детей до пяти лет. Под командой прокурора дивизии, майора Никифорова, и еще двух незнакомых мне майоров, прибывших из армии, женщин и детей пропустили в эти два вагона. Люки с двух сторон эшелона были забиты железной решеткой, чтобы кто-нибудь не вздумал выброситься из них на ходу. Два вагона были мигом загружены, женщин и детей было человек 50, не больше. Двери вагонов закрыли наглухо и на тормозе каждого вагона стал стрелок с автоматом в руках. С этой минуты живой груз перешел в руки автоматчиков. А женщины и дети были навеки оторваны от своих мужей и отцов. Эти два вагона шли в Грайфсвальд, остальные 27 — в Ростов.

К вагонам потянулись грузовые машины, битком набитые мужчинами, женщинами, подростками, стариками, старухами. На каждой было по 25 человек и каждые две машины заполняли вагон. Майор Никифоров указывал, каким машинам разгружаться у каких вагонов, а два майора смотрели за общим порядком. В толкотне погрузки один из пассажиров упал под вагон, обливаясь кровью. Оказалось — бритвой перерезал себе горло. Два майора немедленно схватили лежащего под вагоном и бросили его в вагон к живым, чтобы немцы, находившиеся на станции, этой сцены не заметили. Многие женщины и даже мужчины беззвучно плакали, многие только часто крестились и покорно шли в вагоны, как скот на бойню.

Как только все были погружены, паровоз потянул эшелон, а два майора находку вскочили в последний прицепленный пассажирский вагон, и станция опустела. Майор Никифоров сел в свою машину и уехал домой.

Что произошло с этими людьми? Об ожидавшей их судьбе я узнал спустя несколько дней из беседы с председателем военного трибунала дивизии, майором Маровым. Относительно женщин, отправленных с детьми в Грайфсвальд, Маров сказал, что если они не совершили антигосударственных преступлений и их мужья не поднимали против нас оружия (что будет установлено на следствии), то они с детьми будут расселены, правда, не в родных местах, но на свободе. Если же из материалов дознания выяснится, что они «опасны для общества», то они будут направлены в «исправительно-трудовые лагеря». В этом случае детям «будет житья великолепно», их возьмут в дома малолеток, за ними будут ухаживать и они будут ра-

сти уже не «врагами народа». Остальная масса захваченных является опасной: среди них найдутся такие, которых даже не будут держать в лагерях, эти явные враги будут казнены сразу же, а большинство из них будет работать в лагерях. Казнить всех было бы преступно: страна разорена, мы нуждаемся в людях и они своей работой принесут пользу.

Я привел один случай прочёски. Но такими прочёсками в течение лета 1945 года мы занимались не раз. Одна только моя дивизия в своем районе проделала четыре таких прочёски. Вторая прочёска дала около 900 человек, а две других — человек по 200 каждая. Сколько было захвачено людей прочёсками всех армий, остается секретом. Я думаю, — много десятков тысяч человек. Стало быть режиму было выгодно гнать на 3-4 дня на проческу десять тысяч солдат и офицеров, чтобы собрать 200 человек. Было выгодно даже, чтобы 40-50 человек охотились по 3-4 дня за одним «изменником», которого убрать было необходимо. Так требовал Сталин, так требовал на совещании в Штетине Берия.

4. Контроль Берии в соединениях армии

Начальником СМЕРШ моей дивизии был подполковник Сафонов. С ним, как и с начальником политотдела, прокурором и председателем военного трибунала, я жил всегда мирно. Они все преследовали свои «продовольственные» и другие выгоды, а я старался их удовлетворить, чтобы не нажить себе врагов.

В конце мая 1945 года ко мне как-то заехал Сафонов, сказав, что приехал по очень важному и совершенно секретному делу. За ужином начальник СМЕРШ рассказал, что к нему приехали два высоких гостя из Москвы с поручением от самого Берии и что они пробудут до конца июня. Ввиду их особого положения эти два человека не могут быть взяты где бы то ни было на учет, в том числе и на довольственный, а потому Сафонов просил дать указание начальнику «АЧХ», чтобы тот до особого распоряжения выдавал на его имя три пайка без регистрации.

Вскоре я получил приказ командующего второй ударной армией, генерал-полковника И. И. Федюнинского прибыть к нему к 23 часам. К указанному времени я был у командующего. Генерал спросил меня, сумею ли я обеспечить прием людей от 3000 до 5000 человек в сутки, отправляя из них 50% ежедневно в течение двух месяцев, и что мне нужно для организации такого приемно-распределительного пункта?

Вопросы для меня были не совсем ясны. Я не знал, что за люди ожидаются? Солдатский, сержантский или офицерский состав? Как они попадут ко мне? Кто обеспечит для них транспорт и какой вид транспорта требуется? Где им отвести место до отправки, куда их отправлять, как кормить и пр.? В таком примерно смысле я и ответил вопросами на вопрос. Командующему это понравилось, и тут же он меня направил к своему заместителю по тылу — генерал-майору Тимченко. Вскоре я вошел в кабинет генерала Тимченко. «Так вот, дружок, ты понравился хозяину, он только что мне звонил», встретил меня генерал-начальник тыла. Для продолжения разговора Тимченко пригласил заместителя по политчасти и начальника политотдела армии. Через несколько минут оба эти туза пришли. Не буду описывать деталей разговора, скажу только, что в эту ночь я узнал, что в ближайшие дни ко мне на грузовых машинах начнут ежедневно прибывать от трех до пяти тысяч репатриантов. Эшелоны будут состоять из женщин, мужчин, стариков, детей. Среди них будут бывшие пленные, будут вывезенные гитлеровцами на каторгу, будут и другие. Что это за другие, мне не сказали, а я спросить не решился.

Передо мной вопрос поставили так: или получить за отличное выполнение задачи орден в мирное время (слова в «мирное время» были подчеркнуты начальником политотдела армии) или быть разжалованным и предстать перед судом военного трибунала за срыв государственно-политического мероприятия. Накачивали меня крепко и долго. Уехал я от начальства только около пяти часов утра. Начальник политотдела несколько раз подчеркнул: «Помните, что вам доверяется большое государственно-политическое мероприятие. Учтите также, что вы будете иметь дело с живыми людьми, с нашими родными братьями и сестрами, матерями и отцами, пострадавшими на проклятой германской каторге. Это дело чести встретить их тепло и радушно, дать им уют, накормить и напоить, оказать медицинскую помощь кому требуется и проводить в добрый путь, на родину. Родина их ждет».

Через несколько дней «наши братья и сестры» начали прибывать. Для них армия выделила 120 грузовых автомашин. Политотдельцы моей дивизии несколько дней писали лозунги, украшали ими автомашины, расклеивали их по дорогам, кухням, столовым и другим местам. Но несмотря на наказ начальника политотдела «тепло встречать и провожать наших братьев и сестер» в действительности всё шло наоборот. Как только после визита у начальника тыла я приехал в дивизию, вслед

за мной к командиру дивизии на двух шикарных американских машинах приехали два полковника и два майора из госбезопасности. После краткой беседы с командиром дивизии в присутствии начальника СМЕРШ дивизии, двух гостей из Москвы и начальника политотдела дивизии, все выехали облюбовать место, где бы принимать репатриантов. Для этого был приглашен и я и некоторые офицеры политотдела дивизии. Самым лучшим местом сочли огромную площадку под открытым небом, на окраине маленького местечка в 25 км. к востоку от города Шверин. Добраться к этой площадке можно было только со стороны центральной дороги этого городка, где стоял один стрелковый полк и медсанбат дивизии. С одной стороны площадки было огромное озеро, которое огибало ее полукругом, с другой — поднималась полукилометровая гора. Таким образом озеро и гора охватывали эту площадку с трех сторон, а четвертую закрывал стрелковый полк. На этой площадке выстроили высокую трибуну и большой досчатый сарай для вещей репатриантов. Тут же были установлены 20 походных кухонь для кормления прибывающих.

В первой партии репатриантов было 4000 человек. После выгрузки из машин они выстроились длинной очередью у сарая для сдачи вещей; никаких расписок на сданные вещи репатриантам не выдавалось. От склада вся масса шла к трибуне, где они около двух часов слушали нескольких ораторов, сменявших друг друга каждые 15-20 минут. Ораторы рассказывали о достижениях Советского Союза, о богатстве советского народа, о гениальном плане Сталина, о роли отца народов в победе над врагом человечества и т. д. У некоторых ораторов были специальные темы, не касающиеся великих достижений Советского Союза под мудрым руководством гениальнейшего. Они говорили о том, что каждый честный советский гражданин и каждая гражданка, дождавшись счастья вернуться на родину, обязаны помочь правительству в обнаружении «предателей, врагов и шпионов». Долг каждого честного патриота выдать «мерзавцев» из своей среды. «Помните, что великий Сталин вам простил все ваши грехи, только в них вам нужно признаться. Покажите же на деле свою преданность. Для доказательства ее имеются два пути. Первый — здесь на месте и пока не поздно вы должны рассказать обо всех своих грехах и помочь правительству уничтожить всех врагов из вашей среды. А второй путь: кто прибудет на родину, должен будет доказать свою преданность самопожертвованием, не жалея сил и жизни работать над выполнением

производственных и колхозных государственных планов. И тогда только наше правительство учтет вашу заслугу перед нашим народом».

Каждый «счастливец», прибывший в приемно-распределительный пункт для отъезда на родину, услышав такие речи, дрогнул. Перед его глазами встала известная сталинская картина с чекистскими допросами, избиениями, пытками и моральным унижением. Но было уже поздно. Кольцо вокруг этой трибуны было крепкое. Каждый понял, что его жизнь в опасности, что остается на размышление только один день, пока он не попал в тюремный фильтровочный лагерь. Смельчаки предпочли умереть здесь же, не попадая в фильтровочные лагеря в городах Росток и Бранденбург. За ночь кончили самоубийством многие. Утром можно было видеть мертвых, истекших кровью после вскрытия вен, висящих на деревьях рядом с большевистской трибуной. Десятки людей бросались в озеро, а еще большее число репатриантов, одолев гору и охрану, бежало назад, в западные зоны Германии.

Из лагерей Бранденбургского, Ростокского и Грайфсвальдского по разверсткам с июня по декабрь 1945 г. мы должны были отправить для промышленности Украины 180.000 рабочих. Только одному гор. Харькову за этот срок должно было быть предоставлено 45 тысяч человек. Правительство требовало, чтобы все репатрианты, отправляемые в предназначенные им города и районы, были предварительно осуждены тройкой и чтоб это решение сопровождало каждого приговоренного к месту принудительной работы. Времени было мало, приходилось оформлять почти по 26 тысяч человек в месяц, т. е. около 1000 человек в день. Для этой работы приходилось брать людей малоопытных, поэтому многочисленные ошибки были неизбежны. Целый ряд районов был наводнен людьми, опасными для этих районов. В число осужденных на принудительные работы попадали и такие, которые при более тщательной проверке несомненно были бы истреблены. И наоборот, те, кто должны были бы быть оправданы или осуждены на небольшие сроки, попадали на более тяжкие испытания. Директива требовала, чтобы все опасные и явные враги были сосредоточены на Дальнем Севере и не допущены в промышленные районы Европейской части СССР. Задача тяжелая, ответственная, но трудно выполнимая. Директива требует сроков осуждения от 3 до 5 лет, для этого нужны соответствующие материалы, правильное оформление, доказательства или личное признание, но люди не признаются. Их надо проработать и

выбить из них признание посредством ли посторонних доказательств или очных ставок. «Оформление» людей шло разными путями и методами. Арестованным предъявляли фантастические обвинения. Люди отказывались их подписывать. Тогда карательные органы прибегали к подставным лицам, находившимся среди репатриантов. Эти доносчики играли роль свидетелей на очных ставках и показывали о том, чего никогда не видели. Каждый такой предатель давал показания иногда против 15-25 человек. В награду он получал облегчения, но часто и истреблялся, как самый опасный, или его усылали на дальний север без указания срока.

В том же 1945 г. мне пришлось побывать в Харькове, где я встретился с одним крупным инженером Харьковского тракторного завода. Не буду останавливаться на его рассказах о том, как к ним на завод и на десятки других заводов были присланы репатрианты, как они каторжно работали на этих стройках по восстановлению промышленности после ее разрушения большевиками и немцами. Не буду рассказывать о их быте, условиях жизни, страшном голоде. Только передам рассказ этого инженера, с которым я беседовал всю ночь, о том, как десятки и сотни людей, никогда ничего общего не имевшие с органами МВД-МГБ, были невольно втянуты в работу этих органов.

Инженер имел в виду директоров заводов и фабрик и их заместителей, парторганизации и профорганизации этих заводов, начальников и сменных мастеров и других ответственных за производство людей. Управляющие этими предприятиями получали от правительства неслыханно короткие сроки для восстановления разрушенных заводов. К примеру, завод, где работал мой знакомый инженер, в нормальных условиях восстановления мог бы быть пущен минимум через два года, им же дали срок в 8 месяцев, и притом каждый месяц должна была быть восстановлена одна восьмая часть гиганта и эта часть должна была начать выпускать свою продукцию на следующий же месяц. План выпуска продукции был настолько велик, что превышал довоенный 1941 г. Невыполнение плана влекло за собой исключение виновных из партии и ссылку в концлагерь. Благодаря таким порядкам руководители заводов забывали, что они имеют дело с несчастными осужденными и соревновались между собой в захвате большего числа каторжников. Они спекулировали этими несчастными, заводили друзей в органах МВД, платили МВД большие суммы за каждую голову данного им сверх установленной разверстки осужденного, чтобы только получить их побольше. Кроме того, они

усиливали эксплуатацию этих рабов в полтора раза больше, чем МВД эксплуатировало их в своих лагерях.

Каждому заводу был дан и финансовый план, т. е. завод должен был быть восстановлен в указанный срок при условии затраты определенной суммы денег. За каждый перерасход руководители отвечали своей головой, как за нарушение финансовой дисциплины. Чтобы получить вó-время рабов для производства, директора вместо 12 рублей за голову, которые они платили рабовладельцу МВД, давали по 15-16 рублей за человека в день. Чтобы выколотить эти лишние три-четыре рубля, они заставляли своих рабов работать по 12-14 часов в сутки. Они экономили на одежде, на питании рабов. Естественно, что люди изматывались и смертность среди них была страшная от чрезмерного труда и голода.

«Эксплоатация, рабство и прямое истребление тысяч людей настолько велики, что жутко даже подумать. Страх охватывает здорового человека, когда он отдает себе отчет, что не только чекисты занимаются истреблением собственного народа, но и он, под давлением режима, вынужден принимать активное участие в этом истреблении. Вот, что нам дала победа, вот что получили освобожденные», — говорил мой приятель-инженер.

5. Что я видел

По своей должности я должен был не только принимать репатриантов, обеспечивая их питанием, но на меня была еще возложена обязанность производить расчеты за железнодорожный транспорт, шедший с репатриантами из Германии в СССР, т. е. выдавать бланки формы № 2 для оплаты транспорта. Эти бланки я представлял начальству под расписки. Благодаря этому я имел доступ к некоторым вельможам СМЕРШ-НКВД и многое секретное для меня подчас становилось не-секретным.

Однажды по делам службы я приехал в Росток, куда начальник СМЕРШ подполковник Сафонов был направлен в помощь фильтровщикам. СМЕРШ оккупационной армии привлекал отделы СМЕРШ всех дивизий и корпусов на работу в фильтровочных лагерях; кроме них приезжали сотни специалистов смершевцев из СССР, и целые бригады НКВД. Приехав в Росток, я зашел к Сафонову. Я должен был проверить, обеспечен ли он и его окружение питанием и спиртными напитками, так как они состояли у меня на довольствии.

Сафоновым я был принят дружески. Из окна его каби-

нета я увидел, что его дом примыкает к глубокому саду, обнесенному кирпичным забором высотой метра в три. Между окном и забором бегали большие собаки. Но вдруг я заметил, что у забора стоит совершенно голый человек с кровавыми следами на теле. Тут же раздался голос: — «Сволочь немецкая! Будешь говорить!». И после слов, на человека кинулась огромная собака, прижавшая его к каменному забору и прыжком бросившаяся к нему на грудь. Человек свернулся в комок. А собака словно переворачивала его с боку на бок, под крики своего хозяина. За первой собакой бросилась вторая.

Набравшись смелости, я спросил подполковника, что там за окном происходит? «Да ничего особенного, капитан Борисов одного подлеца приводит в сознание», — ответил Сафонов. «Что, немца?» — спросил я. Сафонов иронически ответил: «Немца со Пскова». Но подполковнику видимо стало неловко; он явно допустил ошибку, приняв меня в этом кабинете, из которого я мог видеть, как два волкодава по очереди рвут живого человека, лишенного возможности защищаться.

Подполковник позвал меня пройти в столовую. Здесь, предложив выпить рюмку водки, он начал жаловаться, что весь запас «горючего» вышел, что отсутствие спиртных напитков затрудняет работу. Я охотно верил, что без водки его операции превращаются, вероятно, в кошмар. Из многолетнего опыта снабжения войск, в том числе и органов СМЕРШ, мне было известно, что каждый садист, каждый палач, который пытается свои жертвы, как капитан Борисов с его собаками, перед каждой операцией, а потом через каждые два часа получает по 150 грамм водки. А перед расстрелом людей — по 200 грамм и по 400 грамм после расстрела. Я обещал подполковнику пополнить его запасы. И на этом мы распрощались.

Другую картину зверской расправы я видел в фильтрационном лагере Росток, в кабинете майора Трофимова, который перед моим приходом выпустил из кабинета очередную жертву. Этого человека двое солдат, держа под руки, волокли по коридору, вместо лица у избитого была сплошная масса сырого мяса. На столе майора еще не были вытерты капли крови. После моего прихода те же два человека, которых я встретил в коридоре, ввели на допрос к майору девушку лет 17. «Ну, что, канарейка, будешь говорить правду или по старому врать будешь?» встретил ее майор. Не желая присутствовать при допросе, я попросил майора вернуть мне корешки использованных форм № 2 и дать расписку на другие формы, привезенные ему в подотчет. Майор попросил подождать, а сам обратился к

девушке, спрашивая, как фамилия эсэсовского офицера, с которым она жила? «Нет у меня никакого офицера, никого не знаю», ответила девушка. Майор вскочил и ударил девушку по голове трехгранной резиной в палец толщины. Из носа «преступницы» хлынула кровь, она упала и, падая, как-то задела майора. Майор рассвирепел, подошел к лежащей жертве и носком сапога два раза ударил ее в половые органы. Жертва сжалась и не шевелилась, она была либо в обмороке, либо мертва. Как специалист своего дела, майор сразу определил ее состояние. «Уберите эту тварь», приказал он явившимся по его вызову двум холопам. «Куда прикажете, товарищ майор?». «Куда?», крикнул майор, «в Могилев!». Тогда я понял, что девушка мертва и что ее отправляют в могилу. Два солдата подняли жертву и поволокли. Оставшись со мной, майор стал жаловаться: «Пойми, все доказательства против нее есть, три раза в день ее допрашиваешь, а она, сволочь немецкая, замкнулась и ничего». Я спросил майора, как же он добыл доказательства против нее? На это он ответил, что я говорю глупости. «Они же, подлые души, сами десятками друг на друга доносят. Надо только уметь их организовать, с ними работать интересно. Один продает другого за кусок хлеба, если только его дней десять подержишь на сто-граммовом пайке...».

На этом я расстался с майором. На его столе лежал журнал, издаваемый советскими органами для приманки репатриантов. В центре обложки — портрет Сталина в кителе генералиссимуса с орденами и золотой звездой. Под портретом надпись: «Они возвращаются на родину» и фотография нескольких человек, прилично одетых и танцующих от радости, что едут домой в «счастливую страну социализма». Может быть, и эта девушка, которую майор отправил в «Могилев», тоже радовалась, может быть, и плясала. Сейчас ей было лет 17-18, значит в 1941 году, когда она попала к немцам, ей было лет 13-15, она была еще ребенком.

Когда репатриация шла полным ходом, у меня на приемно-распределительном пункте всё учащались заболевания. Днем и ночью люди лежали на сырой земле без всякой подстилки, ничем не укрывались. Все свои вещи каждый прибывший, как я говорил, должен был сдать. Помня наказ начальника политотдела армии «встречать братьев и сестер потеплее и заботиться о них», я поехал в штаб армии с докладом, что у меня каждый день увеличивается число больных; я просил дать кого-нибудь из медсанбата для оказания помощи. Но тот же самый начальник политотдела, который обещал мне орден за теплую встре-

чу братьев и сестер и военный трибунал за бездушное отношение к репатриантам, теперь набросился на меня, называя болваном, политически тупым и небдительным. «Ты знаешь, с кем дело имеешь? Ты имеешь дело с шпионами, с врагами народа! Ты хочешь помочь им осесть в медсанбате, чтобы им было легче уйти от нас, от справедливой кары нашего народа-героя?!» — кричал начальник политотдела. В течение пятнадцати минут он читал мне лекцию о том, насколько опасны эти люди. И уходя от него, я понял, что спасения этим несчастным нет.

Среди репатриантов и особенно репатрианток были и «счастливицы», не попадавшие в фильтровочные лагеря. Сотни девушек и не так много мужчин были оставлены в Германии на службе при военных частях. Каждая дивизия, полк и батальон имели свои подсобные животноводческие хозяйства, продуктами которых кормили армию. Для ведения этих хозяйств нужны были люди, и чтобы не отрывать сотни солдат от военной службы, правительство разрешило каждой дивизии иметь по 150 работниц и по 40 мужчин из числа репатриантов проверенных органами СМЕРШ.

В деревне М. где находилось крупное животноводческое хозяйство моей дивизии, работало 40 девушек; некоторые из них попали туда с братьями, отцами, с которыми вместе были вывезены гитлеровцами в Германию и вместе освобождены. Старший лейтенант, начальник животноводческого хозяйства, сочувствовал этим людям, стараясь не разъединять отца с дочерью, брата с сестрой. Он их помещал в одну комнату и распределял работу так, чтобы они вместе работали. Но не раз старший лейтенант приезжал ко мне с жалобами, что с наступлением вечера он перестает быть начальником хозяйства, так как по вечерам приезжают 2-3 работника СМЕРШ, часто совершенно незнакомые, с ними 3-4 шофера с автоматами; все шныряют по хозяйству, никого близко не подпускают, заставляют девушек с ними пить, дочь забирают у отца, сестру у брата на целую ночь, после выпивки насилуют их. Из 40 девушек старых работниц уже осталось 25, а остальных смершовцы увезли, а на их место привезли новых. Он пытался по этому поводу заявить протест, но его предупредили, что если он вмешается, то будет сам увезен.

Оказалось, что после издевательства, побоев и изнасилований, смершовцы увозили девушек либо в фильтровочный лагерь с характеристиками для отправки в СССР или просто для расстрела без фильтлагерей. Однажды, другой старший лей-

тенант имел неосторожность рассказать, что, когда он ночью ехал из города Мальхин, то видел, как наши смершовцы выволокли из своей машины двух девушек под железнодорожным мостом и расстреляли их. Вскоре после этого рассказа этот старший лейтенант также исчез, как и девушки.

Когда я обо всем доложил командиру дивизии, генерал мне посоветовал молчать и не лезть не в свое дело, а старшего лейтенанта, начальника хозяйства, отозвать и на его место назначить более умного. «Ведь только дурак может докладывать такие вещи», говорил генерал, «если он не будет отозван, то сам погибнет и тебя погубит». В течение 14 месяцев, с июня 1945 г. по сентябрь 1946 г., у нас в дивизии исчезло около 80 женщин. Все они были поруганы, изнасилованы, истреблены. 13 декабря 1946 г. 6 женщин получили приказ прибыть в СМЕРШ дивизии для отправки в СССР через лагерь. Женщины не явились для отправки, начальник СМЕРШ приказал их арестовать, но когда солдаты пришли за ними, их нашли мертвыми. Они предпочли покончить самоубийством, чем умереть от рук смершовцев.

6. Все ли помогали сталинской репатриации?

После страшных лет ежовщины в СССР я больше не верил, что в Советском Союзе в условиях невиданного полицейского террора может существовать какая-либо подпольная организация. Я хорошо знаю, что 9/10 населения СССР являются в душе злейшими врагами сталинского режима, но не верил, что могут быть хотя бы небольшие группы, которые выступали бы на борьбу с режимом. Но люди, которые в 1945 г. пытались сорвать проведение законов о репатриации, — были. Хотя это и кажется невероятным, но это факт.

В июне месяце 1945 г., когда в моей дивизии уже был организован приемно-пересыльный пункт для репатриантов, как-то поздно вечером связной доложил мне, что кто-то на машине заехал во двор и потушил фары. Связной и шофер взяли по автомату и уже собирались выйти во двор, как в парадные двери раздался стук. Это был полковник (чин этого человека я сообщаю неверный, потому что он здравствует до сих пор в советской армии, я же буду его называть «полковник»). Полковник извинился, что так поздно меня беспокоит, но дело у него ко мне важное. Полковник занимал высокую должность в пересыльном пункте и я был ему подчинен. Его приезд был, конечно, связан с репатриацией, однако не так,

как я думал. Полковник начал свой рассказ с того, что попросил вызвать одного из моих помощников. Я сказал, что этот старший лейтенант живет далеко и наверное уже спит. Полковник ответил, что этот старший лейтенант остался сидеть в его машине и ждет разрешения войти. Я хотел крикнуть связанному, чтоб он его вызвал, но полковник запротестовал и сам пошел за старшим лейтенантом. Когда они вошли, полковник, не стесняясь, начал с того, что обвинил себя и меня в преступлениях против репатриантов, наших братьев и сестер.

«Мы», говорил он, «виновны в том, что не помогаем нашим людям, а, наоборот, помогаем Сафоновым и его бандитам. Этим убийцам-палачам мы даем тысячи жертв для уничтожения. Мы преступники и никто никогда нам этого не простит, если мы не включимся в работу, чтобы сорвать их преступление. Мы должны действовать и действовать немедленно».

Должен признаться, я не верил своим ушам, я был ошарашен. Полковник говорил: «К тебе я пришел по разным причинам. Во-первых, ты держишь в своих руках транспорт, на котором перевозят репатриантов из западных зон и на котором увозят их в филълагеря. Во-вторых, ты не можешь быть легко заподозрен в подрывной работе уже потому, что сам командарм Федюнинский тебя рекомендовал, как хорошего организатора пересыльного пункта. В-третьих, ты в хороших отношениях с начальником СМЕРЩ, Сафоновым, и он тебя хорошо охарактеризовал москвичам, которые контролируют всю репатриационную работу. Кроме того, твой помощник — наш человек, наши люди есть и среди служащих пересыльного пункта. Всё это обеспечивает успех в нашей работе, подозрение на тебя пасть не может, т. к. эти палачи с тобой пьют и держат себя откровенно. Об этом мне известно».

Полковник не дождался моего ответа. Я чувствовал, что готов принять его предложение. Он тоже это чувствовал и тут же предложил конкретный план работы на ближайшие дни. Он предложил — не позже утра освободить от работы на приемном пункте в качестве начпроба моего второго помощника и назначить на его место другого, который уже познакомился с двумя девушками репатриантками, они завтра им будут приняты на работу при пищеблоке в качестве судомоек. Эти девушки будут нашептывать репатриантам, что их положение опасное, что им нужно бежать, иначе их ждет смерть, что им спасения нет, что их отправляют в филълагеря на пытки, избивания с последующей ссылкой на каторгу, если не расстре-

ляют. «Тебя я познакомлю с этими девушками завтра, когда приедешь на пункт», говорил полковник.

Полковник предупредил: «Завтра, между 11 и 12 ночи в течение 15-20 минут вся территория по направлению к Шверину будет открыта. Майор, который в этот час должен менять охрану, произведет смену в расположении части, т. е. он снимет охрану и поведет ее в часть, а там в части возьмет других стрелков и поведет их к заставам. В течение этих 15-20 минут, когда посты будут открыты, люди должны бежать и уйти, времени достаточно для нескольких сот или даже для тысячи человек. Об этом репатрианты узнают завтра, когда придут в пищеблок за обедом: девушки им скажут, а они уж друг друга будут информировать. Начальство СМЕРШ об этом узнает только к полудню, а то и позже, когда моя канцелярия с 10 час. утра будет вызывать по спискам людей, назначенных к отправке в филътлагеря. Рапорт о случившемся я получу после посадки людей на транспорт, этот рапорт я буду передавать не торопясь комдиву, а тот известит СМЕРШ и так пройдет день. Я думаю, что за это время беглецы успеют перебраться к союзникам. До границы всего шесть километров».

Не буду останавливаться на деталях, должен сказать, что всё прошло так, как наметил полковник. Около 900 человек спаслись от филътлагеря, уйдя в эту же ночь. В следующий раз полковник предложил задержать автотранспорт, дабы дать возможность бежать некоторому числу репатриантов. И это удалось.

Не ограничиваясь этим, полковник решил поработать среди репатриантов в западных зонах. Для виду он включился в помощь репатриационной комиссии, выразив желание выехать на несколько дней с машинами в западные зоны. Однако сделать это без СМЕРШ он не мог, он не имел на это документа. С предложением помочь и усилить работу пункта он обратился к подполковнику Сафонову, который одобрил его предложение. Получив соответствующие документы, полковник оказался начальником автоколонны и приехал в г. Н., тогда еще находившийся под оккупацией союзников.

Результат поездки полковника в западные зоны Германии оказался отличным. В городе Н. несколько сот человек, подлежащих репатриации, после его приезда исчезли. Так он работал несколько дней, предупреждая людей, чтобы они уходили от смерти и пыток. Я только не знал, с кем полковник ездил в западные зоны и через кого он влиял на сотни людей.

Операции по репатриации кончились благополучно и никто не подозревал кого-либо из нас в подпольной подрывной работе. Наоборот, после ликвидации приемно-распределительного пункта начальник политотдела подполковник Низемаев, командир дивизии генерал Лященко и представители армии выразили благодарность работникам приемно-распределительного пункта, а также и «полковнику», которого тоже ставили в пример, как офицера, принесшего много пользы родине.

Подполк. Советской армии В. Ершов

Настоящая статья В. Ершова является частью его обширной работы, сделанной им при содействии Research Program on the USSR.

РЕД.

ПУТИ И ЗИГЗАГИ РЕВОЛЮЦИИ

Коммунистическая власть и советская система в России — явления преходящие. Но вся дальнейшая история страны связана с развитием того человеческого массива, который сейчас находится в большевистской партии или близок к ней.

Советский период в России это исторический отрезок, в начале которого стоит октябрьская революция, а в конце политический переворот, сроки и формы которого еще неизвестны. Но между советской революцией 1917-20 гг. и заключительным переворотом глубокая разница. Октябрь был во всех отношениях социальной революцией; грядущий переворот будет переворотом политическим, а не социальным, и очень сомнительно, будет ли он вообще носить характерные черты революции.

Термин социальная революция применяется здесь не в качестве синонима «социалистической» революции и не в его спорном, строго-марксистском понимании. Речь идет о бесспорном историческом явлении, которое имело место в первые годы советского периода и которое не повторится в его заключительной фазе: низвержение, отстранение и массовая ликвидация всей социально-политической верхушки до-революционного общества и замена ее новыми людьми, приходящими из «низов», — из тех народных слоев, которые далеки были от власти, силы и богатства. Если под термином интеллигенция, который имел ведь очень различный смысл в различные периоды, — понимать все слои общества кроме людей физического труда (это определение ближе всего подходит к новому, но общепринятому сейчас в советской России определению интеллигенции), то нужно сказать, что советская революция была процессом ликвидации старой и нарождения и укрепления новой интеллигенции. Старая интеллигенция в этом смысле это не только чиновничество центральное и местное, свободные профессии и т. д., но и все имущие слои, — вероятно не больше нескольких миллионов, — которые все вместе говорили от имени России, — хотя и на разных политических языках, — и по которым весь мир судил о стране и ее народе. Большая часть до-революционной интеллигенции

(в этом смысле) утонула в пучинах гражданской войны. Те, кто выжил как привилегированный элемент (часть офицества, нэпманы, инженеры, профессора) и, конечно, та часть интеллигенции, которая была организована в большевистскую партию, сохранились еще на некоторое время, но к концу 30-ых годов и они были сильно прочищены и отчасти ликвидированы. Это и была социальная революция советского периода; она растянулась на много лет.

Общественный организм, в отличие от животного, способен воспроизвести отрубленный орган, если последний необходим; а интеллигенция необходима до крайности. Когда снята была старая голова, новая начала расти; но это болезненный, мучительный процесс, который, более медленным темпом, продолжается и поныне. Родовые схватки, периодически повторяясь, потрясают всю страну и отдаются во всем мире. Восхождение и укрепление новой интеллигенции в такой стране, как Россия — большое явление мировой истории; очень болезненное у себя дома, оно вызывает длительное нервное напряжение в мировом масштабе.

По советским данным, число советских служащих (которые в новой терминологии приравняются к интеллигенции), изменялось следующим образом:

1924 г.	—	2.767.700
1927 г.	—	4.000.000
1929 г.	—	4.600.000
1933 г.	—	8.011.000
1935 г.	—	8.780.000
1937 г.	—	9.591.000
1941 г.	—	свыше 10 миллионов

К этим официальным цифрам надо прибавить засекреченные данные о числе служащих в НКВД, партийном и военном аппарате. В настоящее время (в новых границах) численность всех групп вместе несомненно перевалила за 15.000.000.

«Выходцы из дворян и буржуазии — докладывал Сталин Съезду Советов в 1936 г. — составляют небольшой процент нашей советской интеллигенции; 80-90 процентов — это выходцы из рабочего класса, крестьянства и других слоев трудящихся»; к последним относилась, впрочем, и старая интеллигенция. Что касается одних «рабочих и крестьян», то о них говорят цифры, сообщенные Сталиным XVII съезду партии: среди студентов высших учебных заведений «рабочие и крестьяне» составляли 70% в 1932-33 учебном году.

Коммунистическая партия охватывала сперва лишь небольшую часть этой новой интеллигенции, лишь самую верхушку. Сперва, т. е. лет тридцать назад, только высшие руководители советских учреждений, крупных хозяйственных единиц, военных формирований были обязательно членами партии. Но в то время, как наркомы, члены их коллегий, директора, ректоры университетов, председатели Советов были обязательно членами партии, нижние этажи государственно-хозяйственной машины, и чем ниже тем больше, заполнены были некоммунистами. Шли годы, партия росла, старые элементы интеллигенции низвергались в пропасть, и всё новые и новые этажи советской лестницы, сверху вниз, делались чисто-коммунистическими по своим «кадрам». К началу войны, когда партия насчитывала около 3.500.000 членов, уж не только генералитет в армии, но и почти все полковники были членами партии — и в дополнение много офицеров низших рангов; не только директора заводов, но и начальники почти всех цехов, мастера, стахановцы, руководители профсоюзов в центре и на местах были коммунистами. Были уже советские учреждения, например, Наркоминдел (и, конечно, НКВД), которые были сплошь коммунистическими. Однако, несмотря на все успехи, коммунисты составляли тогда не больше 12-15% всей советской интеллигенции.

Этот процесс продолжался и усиливался в последней стадии войны и после войны. К настоящему времени партия выросла почти до 7.000.000, а Комсомол до 16.000.000. Теперь партийных «кадров» достаточно, чтобы заполнить не только верхние этажи государственно-хозяйственного здания, но и другие этажи, где это нужно. Если советская интеллигенция исчисляется сейчас примерно в 15-16 миллионов, то в больших городах, вероятно 40-50%, а быть может и больше, составляют в ней члены партии и комсомольцы. И значительно больший процент они составляют на тех постах, которые имеют скольконибудь серьезное значение в общественной, хозяйственной, политической жизни страны.

Стараясь предвидеть пути будущего, надо исходить из того, что эта новая интеллигенция (в своей массе, за известными, конечно, исключениями) сохранит свое социальное положение и в будущем, и никакой новый переворот не поставит себе целью, — по известному выражению, — «ликвидировать ее, как класс». Ее политическая головка — быть может несколько тысяч человек — может подвергнуться «ликвидации», но это и есть характерная черта того, что называется полити-

ческим переворотом, в отличие от социального. Руководство общественной жизнью, в различных ее проявлениях, останется, естественно, достоянием и обязанностью этого слоя. Он наложит свой отпечаток на весь ход государственной политики и социальных отношений.

Не погибая и не уступая своего места, даже приобретая всё больший вес и влияние, при большей свободе, новая интеллигенция будет дифференцироваться, расслаиваться, разветвляться в социальном и культурно-политическом смысле. Она была более однородной в начале; даже сейчас, при значительном различии между ее верхами и низами, она представляет собой «класс служащих», а в политическом отношении конгломерат коммунистов и беспартийных. Как человеческий зародыш на пятом месяце, у которого органы только-только намечаются, она еще представляет собой сравнительно бесформенную массу, из которой будут потом выделяться отдельные слои. Выделятся слои по социальному признаку, элементы новых классов, мелкие торговцы, состоятельные крестьяне, мастера и кустари, и т. д.; выделятся разнородные идейные течения — философские, политические, религиозные... Число их будет расти по мере того, как будет расти культурный уровень самой интеллигенции.

Они все будут в новом облачении. Даже те духовные, политические, религиозные течения, которые, быть может, будут черпать многое из до-революционных идеологий, будут, однако представляться, как нечто совершенно новое, в каком-то совершенно новом плане. Та же квартира, но этажом выше, часто выглядит иначе: то же, да не то.

В этом представлении о путях дальнейшего развития нет поэтому ни «левизны», ни «правизны»: преобразование может зайти очень далеко в практическом анти-сталинизме. Частное или государственное хозяйство? Мелкое или крупное? Земельная собственность? Но не эти вопросы составляют предмет настоящей статьи. Речь идет здесь о социологической сущности грядущей трансформации. Когда человек садится в поезд, со стороны не видно, куда он доедет; известно лишь с какой станции он едет и в каком направлении его поезд идет.

II

Почему нельзя предполагать, что советский период завершится таким же массовым, глубоким переворотом, каким была октябрьская революция, и что в пучинах ее погибнет не только

высшая власть, но и правящая партия; что она будет новой, большой, всенародной социальной революцией?

Революциями этого, социального, типа были лишь немногие перевороты в новейшей истории; среди них важнейшие, конечно, английская революция 17-го и французская революция 18-го века. Русская революция является третьей. Каждая из этих революций вспыхивала как фанатичное народное движение, с громадной (преувеличенной и наивной) верой в возможность молниеносного превращения юдоли слез и горя в обетованную землю. В гражданских войнах, которые во всех трех случаях сопутствовали социальному перевороту, побеждали энтузиазм, иллюзия, утопия; но в процессе этих гражданских войн быстро уходили в небытие целые социальные пласты, долго главенствовавшие в разных сферах общественной жизни. На их место подымались другие, из «низов», заслужившие себе лавры способностями, преданностью новому строю, умелостью, ловкостью, прыткостью. В Англии гибель до-революционной «интеллигенции» (в условном смысле) была лишь попутным явлением в революции; сознательно революция не ставила себе целью систематическое создание нового высшего слоя общества. В России, наоборот, борьба с «буржуазным происхождением» и «выдвиженчеством» были осознанными элементами переворота и проводились систематически государственной властью. Обновление состава высших слоев зашло в России значительно дальше, чем во Франции и Англии.

В Англии, где состав дворянства («джентри») вообще обновлялся постоянно, оно вышло из переворота в новом составе, вобрав в себя новые элементы, выдвинувшиеся вперед за десятки лет революции. Во Франции, даже после возвращения эмигрантов и даже при иностранной интервенции, реставрация была мимолетной, и новые слои, поднявшиеся в революции, оказались вскоре на верхах общества. В России эти процессы зашли еще дальше.

Быть может в этой смене всех руководящих общественных слоев и есть единственный объективный смысл больших революций. Много писали и много спорили у нас о «достижениях», раньше называвшихся «завоеваниями». Бесспорны те «достижения», которые носят отрицательный характер: для одних отмена сословий, для других — помещичьего землевладения, для третьих — отмена национальных ограничений, для четвертых — монархии, для пятых — капиталистической собственности и т. д. Отмен много, и на всякий вкус имеется подходящее «не». Труднее ответить на вопрос о положитель-

ном и длительном эффекте перемен революционного периода. Всеобщее образование? Но на пути к нему Россия уже стояла после первой революции. Улучшение народной медицины? Оно тоже начато было до 1917 года.

Единственное, что не может быть отменено никогда, это новый состав руководящих слоев общества, т. е. ее интеллигенция в самом широком смысле. Ирония истории состоит в том, что тысячи людей Октября, — те, кто способствовал выделению на верхушку общественной пирамиды новых привилегированных слоев, воображали искренно, что они ведут войну против неравенства, что народ, как таковой, приходит к власти. Они горели энтузиазмом, они жизнь свою отдавали. Они ходили ногами по грешной земле, а головой двигались в облаках. И результатом их страстных усилий и огромных жертв является общественная система, которая непохожа ни на то, что они свергали, ни на то, что они хотели создать.

Вероятно, эта смена руководящих слоев окажется главным содержанием и тех социальных преобразований, которые совершаются после войны в странах-сателлитах. В настоящее время, когда лишь несколько лет отделяют их «социалистический строй» от старого капитализма, где-то на разных социальных ступенях имеется еще большинство элементов старого. Ни социальная, ни физическая ликвидация не носили в этих странах такого массового характера и за эти несколько лет не зашли так далеко, как в России. И террор в них не был столь жестокий, всеобъемлющий. Чем крупнее коммунистическая партия, тем быстрее она оккупирует все ключевые позиции, вытесняет остатки старых слоев из государственной, экономической и культурной машины и заменяет их теми, кого она всосала в свой состав из народных низов. Кажется, дальше всего этот процесс зашел в Китае; менее далеко — в Чехословакии. Но насчет европейских сателлитов можно не сомневаться, что еще несколько лет и остатки старых классов будут до такой степени раздроблены, обессилены и физически разгромлены, что о восстановлении старого общества не сможет быть и речи. Даже политический переворот, т. е. освобождение сателлита от советского контроля, не будет означать возврата к господству старых социальных слоев.

Но все три революции — английская, французская и русская — были революциями социальными, массовыми и глубокими, — в отличие от революций политических, в которых итоги переворота менее радикальны и в которых участие народа меньше — и количественно, и по напряжению. Часто говорят о

«глубоких» и менее глубоких революциях. Степень «глубокости» измеряется народной активностью на стороне революции. Тот факт, что во всех трех перечисленных случаях имели место гражданские войны, в которых участвовали массовые армии, служит признаком того, как глубоко в народную толщу проходили токи революции. Наоборот, европейские революции 1848 года, вспыхнувшие зимой и уже летом того же года пошедшие на убыль, были менее глубокими, чисто-политическими движениями. Даже во Франции, где старая монархия была свергнута, «глубокость» революции и размах ее не напоминали и в отдаленной степени той бури, которая разыгралась за шестьдесят лет до того.

Еще менее глубокой была французская революция 1830 г. Ее история измеряется тремя днями — уличными манифестациями в Париже, слабым откликом в провинции, падением одной династии и воцарением другой. В такой революции уходят с вершины власти не больше нескольких сот человек, в то время, как вся остальная верхушка общества, в особенности ее промышленные, финансовые, научные, политические верхи остаются почти без изменения. Еще менее глубоким является южно-американский тип переворотов — молниеносных, полувоенных, в которых участие народа невелико.

В этой многоступенной лестнице революционных переворотов Россия занимает первое место по глубокости и массовости народного участия и по радикальности переворота. Но чем глубже, массовее и народнее революция, тем меньше возможностей для ее повторения. Много поколений должны умереть, много воспоминаний должно стереться, много разочарований должно быть забыто, чтобы массовая вера в чудодейственную силу социального переворота могла начать вновь двигать горами. Политический переворот может повторяться даже каждые тридцать лет, как мы видим на примере Франции; он не требует тех душевных сил, без которых не бывает глубокой революции. Но социальные революции бывают раз на протяжении столетий.

Есть еще одна причина, почему нельзя ожидать такого же размаха народного движения к концу советского периода, как в его начале. Большая революция вспыхивает тогда, когда «народ» противопоставляет себя некоему высшему сословию, давно отделившемуся от него и создавшему себе юридические и материальные привилегии. Некогда, давно уж, это сословие само вышло из низов, — из воинов, наемников, конюхов, царедворцев, мелких и бедных князей. Подымаясь вверх и всё

более обособляясь от народной массы, оно создавало себе свой собственный уклад жизни, право на власть и богатство, право на пышность и роскошь. Но всё это — процесс, который растягивается на очень долгие периоды, на столетия. Советская бюрократия развивается несомненно в этом же направлении и с течением времени, если политические события не приостановят этого развития, сама превратится в привилегированный общественный слой. Но сейчас развитие это находится еще в самом начале; в этих «устроившихся» советских чиновниках народ всё еще узнает свою «черную кость». Народное движение против «нового дворянства» совершенно невозможно, куда и народ и дворянство продолжают ощущать некую связь.

Конечно, это верно, что в стране бездна недовольства, что советское правительство не опирается на народное большинство, и что первый политический кризис может дать выражение этому недовольству. И всё же нельзя ничего построить сейчас на примитивной схеме — народ против правительства. Советское правительство опирается на свою партию и на Комсомол, численность которых как мы видели, составляет сейчас 23 миллиона, т. е. не меньше 20% взрослого населения. Но они все ведь часть «народа». С другой стороны, «масса» — стихия, ахерон, — без отчетливых идей и программ и не имеет вождей. Ее движение — это конвульсии, вспышки, бунты локального характера, — жестоко, но легко подавляемые. Симптомы общего состояния страны, эти вспышки не угрожают системе. А вождей нет еще и потому, что всякий человек, мало-мальски способный к иному труду, кроме физического, извлекается из «массы» и переводится в высший разряд; при постоянной нехватке в интеллигентной рабочей силе — это правило, а не исключение.

Испытанием была, в частности, первая фаза войны, в особенности октябрь-декабрь 1941 года. Государственная машина начинала давать перебои, дисциплина расшатывалась; антиправительственные речи раздавались тут и там. Иные ждали прихода немцев; грабили склады и банки. Но из всего этого не получилось движения, сколько-нибудь серьезно поколебавшего сталинское правительство. Были моменты, в октябре 1941 года, когда, казалось, базис власти сократился до минимума и вооруженная толпа, ворвавшись в Кремль, могла бы положить конец многому. Но именно такой толпы, т. е. толпы с политическим вождем и политической целью не оказалось. Это еще один признак того, как мало ситуация созрела для всеобъемлющей народной революции.

Последней большой попыткой поднять народные массы против советского правительства было Белое Движение 1918-1920 годов. Гражданская война этих лет решала вопрос: будет ли революция глубокой или поверхностной. «Белые» были коалицией всех прежде привилегированных, включая интеллигенцию; их победа (если бы она была возможна) означала бы, что в высших (политически и экономически) слоях произошло бы обновление 10-15-20%, но не больше: в общем, старые группы остались бы вверху. Это могло бы (опять-таки, если бы победа Белых была вообще возможной) — избавить Россию от многих заблуждений и ошибок. Победа Красных означала, что от старых останется (через некоторое время) небольшая группа, — процентов 20-30, а потом и она утонет.

История решила в пользу последнего варианта. Поражение Белых было последним вердиктом: до-революционная верхушка, включая интеллигенцию, была осуждена на гибель. «Расстановка сил» 1918-20 гг. не повторилась. С тех пор, как Белое Движение потерпело поражение, «единство анти-коммунистических сил» и «единый фронт» остались фразой без глубокого смысла. Ограничиваясь кругами эмиграции, эта формула не имеет реального значения.

Но не окажется ли новая война, если она вспыхнет, средством вернуть к жизни старую схему — народ против власти? Не разовьется ли, в случае военных поражений, большое народное анти-коммунистическое движение, помимо и вопреки всем новым «верхам»?

Поражение Франции в 1813-15 гг., действительно, привело к реставрации старой монархии, но в результате не большого народного движения, а вмешательства извне. Предпосылкой явился не только полный разгром армии, но и оккупация столицы. В русских условиях, в особенности, после опыта второй мировой войны, такое развитие почти невероятно. В случае поражения советской армии, ее противники не решатся углубиться далеко внутрь страны, чтобы их, как недавно германскую армию, не обескровили и не засосали безграничные пространства, степи, леса и партизаны. Артиллерийские удары в советскую стену могут потрясти всю структуру до основания, разрушить монолитность, дать прорваться наружу тем силам, которые зреют внутри страны; другими словами, ряд военных поражений может развязать внутренние силы, и вызвать политический кризис. Но даже военные поражения не в силах открыть шлюзы народной стихии и превратить политический кризис в социальную революцию.

III

«Тысячи коммунистов вступают ежегодно в партию, — пишет о К.П.С.С. один видный американский журналист, — не потому, что они преданы идее мирового коммунизма, а потому, что красный цвет является цветом защитным, а партийный билет открывает дорогу к успешной карьере». Лишь только снята будет партийная верхушка, — дает он понять, — они сделаются такими же отъявленными анти-коммунистами, как и «весь русский народ». В этой концепции маленькое зерно истины подано в неверной оболочке; и вывод получается очень неверный.

Верно, что в среде новых, как и старых членов партии значительное большинство — это тип «обывателя», как говорилось встарь, или «мещанина», — человека, который не задается большими целями, не посвящает жизнь свою никакой задаче, ищет уюта и комфорта для себя и своих близких, которому не чуждо ничто человеческое, ни маленькие слабости, ни эгоизм — в его умеренных, почти нормальных размерах. Тип русского коммуниста-обывателя — на глаз 80% партии, если не больше — далеко не соответствует тому представлению, которое царит в мире о коммунисте-непреклонном борце, фанатике и идеалисте.

И всё же, эта большая масса коммунистов-обывателей не так-то легко может превратиться в «анти-коммунистическую массу». Всем своим прошлым, своим восхождением в среду интеллигенции, всеми привилегиями, своим малым достатком они обязаны советскому перевороту. Еслиб не Октябрь, они (или их отцы) и по сей день служили бы пастухами, кузнецами, молотобойцами, швейцарами. В жизни каждого из них свершилось чудо, которое в иные времена является уделом очень, очень немногих. Они инстинктом более, чем рассудком, связаны с Октябрем и октябрьским укладом. Они действительно мало что знают о мировом пролетариате; они не могли бы объяснить вразумительно, почему надо было в советской стране закрыть все частные лавочки, а крестьян согнать в колхозы. Но если они недовольны — а каждый из них часто и многим бывает недоволен, — то они желали бы не упразднить, а изменить тот строй, который воспитал и вскормил их.

Они вечно мечтают о порядке, о личной безопасности, об отмене чисток, о ликвидации «ликвидаций», т. е. о том, что в мире называется законностью и правовым порядком. В то же время они инстинктивно противники всех старых партий, о которых они, конечно, ничего не знают. Для них все партии

и вся эмиграция — символ тех времен, когда они или их отцы жили еще в грязной избе, ходили босиком по деревне или служили на побегушках у «купца». Они инстинктивно противники монархии, всё равно — конституционной или абсолютной, но не столько потому, что они принципиальные республиканцы, а потому, что монархия и царь являются для них символом того, что должно было умереть, чтоб они могли жить. Это не означает сто-процентной лояльности всех этих людей к советскому правительству, но это значит, что в их среде не могут найти сильного отклика такие политические течения, которые ставят себе целью возврат назад в какой-либо форме.

Они, правда, не очень горячие коммунисты и никакие не интернационалисты. Но некоторые идеи, почерпнутые первоначальным коммунизмом из большой сокровищницы гуманизма, а потом извращенные, вошли им в плоть и кровь и сделались их принципами, — поскольку вообще могут быть принципы у этого общественного слоя. Для них «эксплоататор» — зловещая личность. «Народ» — нечто великое, а «узурпатор» мрачная фигура мировой истории. Они еще не отдают себе ясного отчета в том, как много эксплуатации разлито вокруг них, что узурпация власти явление обыденное в их же стране и что те моральные принципы, которые они признают, повседневно нарушаются.

Поэтому, если снять сталинский пресс и сбить обручи, этот большой общественный слой, который не только останется наверху, но и начнет шествие к власти, не превратится просто-на-просто в «антисоветскую силу». Не надо воображать, будто душа этих миллионов — *tabula rasa*, на которой можно писать любое сочинение. У этих людей меньше яркости и дерзания чем у старых ленинцев-сталинцев, меньше сенсационных жестов, меньше суетливости; — вместо этого у них бледное, слегка полинявшее отражение идей и теорий Октября в комбинации с глубоким «мещанством».

Они-то и представляют собой потенциально самую большую политическую силу в стране, — силу, которая в момент кризиса окажется сильнее высшего начальства, старых командиров, тайной и явной полиции, и, конечно, сильнее, чем мятущийся, недоумевающий, но неспособный говорить членораздельно народ физического труда. Они — это миллионная масса интеллигенции, преимущественно среднего возраста, давно вышедшая из «учебы» и познавшая уже сталинскую систему на практике, а не на комсомольских собраниях. Эпоха молодежи подходит к концу.

На поверхности шла борьба из-за маршрутов мировой революции, китайского коммунизма и текстов из Маркса-Ленина. Пока фракционная война вращалась вокруг этих вопросов, опасность, грозившая сталинизму, была невелика, ибо ни одна другая концепция интегрального коммунизма не могла оказаться реалистичнее и сильнее. Но та коммунистическая масса, которая не является фракцией, которая не имеет теорий, которая не связывает себя ни с одним оппозиционным вождем, которая носит сомнения в себе, не только не высказывая их, но даже не умея еще сформулировать их для самих себя, — она-то и является самой опасной. Этот конгломерат миллионов «средних людей» в правящей партии, проникая во все поры партийной и государственной машины, начинает грозить высшей власти больше, чем кто-либо грозил ей до сих пор.

«Нет более преданных слуг у Сталина, — пишет бывший видный коммунист — чем та молодежь обоего пола 14 и 15 лет, которых набирают по контингенту 400.000 в год, преимущественно из деревни, чтобы обучить промышленному труду. За это выдвижение, за город, за надежды они благодарят вождя: они преданы ему до такой степени, что — это не преувеличение — еслиб он потребовал их жизни, многие отдали бы их. Потом идут годы в Комсомоле, школы, обучение, «Краткий Курс» и первые сведения о мировом рабочем классе, о его угнетении, о его ненависти к капиталистам, о его непрекращающихся восстаниях, о подкупности и продажности всех других партий в мире, кроме коммунистических. Комсомолец впитывает в себя эту науку, с ней идет в армию, а кому посчастливится — и в ВУЗ. А потом идут годы на службе, потом в партии, потом своя семья; потом жизненный опыт, — и сомнения начинают проникать в душу. Он уж начинает понимать, что газета не всегда пишет правду, что партсекретарь говорит лишь, что приказано, на работе его дергают, выговоры без основания; порой вызов в НКВД. Сомнения складываются в скептицизм. Растет недоверие, но глубоко запрятанное. В душе нет ни сталинизма, ни мирового коммунизма; но нет и ничего иного. Таково громадное большинство взрослых коммунистов!»

Это «большинство взрослых коммунистов» пришло в партию из школы и Комсомола, а не из других партий; поэтому растущее сомнение и недоверие не означает возврата к какой-либо другой политической идеологии или организации. Убежденный «анти-большевик с партбилетом» — редкая птица; редиски, — красные во вне, белые внутри, — каковых было много в начале, перебиты или вымерли. Грядущий кризис ком-

мунистической партии не будет столкновением отчетливых идеологий и платформ, а столкновением между рвущейся вперед партийной верхушкой, подымающей всю Русь на дыбы, и громадной массой членов партии, желающих покоя и нормальной жизни.

Нередко приходится слышать и читать, что нужно новое слово, новый лозунг и новые знамена, чтобы побороть мощь сталинского коммунизма. Нужна новая идеология, — говорят нам, — более ударная, чем идеология коммунизма. Ищут эту идеологию и эти знамена — то в сфере религии, то в демократическом социализме, то в философии. Но магические слова не найдены; их не может быть. Нет сейчас в мире такой идеологии, которая способна была бы воспламенить организованные массы людей в той же мере, как примитивный, воинствующий коммунизм 20-30 лет тому назад. Все эти идеологии слишком солидны, традиционно-моральны, пацифичны. Но в основе заблуждения лежит идея, будто идею можно победить идеей; будто фанатичному походу коммунизма можно и должно противопоставить другой поход — крестовый поход столь же сильного эмоционального напряжения: поднять новый крест, позвать добровольцев всех стран и пойти в поход за освобождение.

Не так давно была сделана попытка сокрушить сталинский коммунизм, противопоставив ему другую, тоже боевую идеологию: это была германская война 1941-45 гг. Идеология крестового похода, освобождения мира от сатанинской силы коммунизма одушевляла тысячи воинов, собранных на германском фронте со всех антикоммунистических стран, из Италии, Испании, Румынии, Венгрии, Финляндии. Это была не просто война — «война с ограниченными целями» за те или иные территории, — а тотальная война с отчетливой антикоммунистической идеологией, — крестовый поход. По идее он должен был закончиться лишь тогда, когда новая власть или новые власти заменят собой сталинскую администрацию по всей стране. Поход закончился поражением. Идеология была плоха? Споры нет, она была мерзостью; но она была ведь в силах двинуть в поход одну из величайших армий в мировой истории.

Нет, зыбучие пески коммунистической массы более опасны для сталинского коммунизма, чем были германские «панцерные дивизии» и воздушные налеты.

IV

Нельзя логически доказать, что путь постепенной и мирной эволюции от жестокой коммунистической диктатуры к свободным формам политической жизни, невозможен. Логически — нет ничего легче, как построить линию отступления, цель реформ, которыми правительство добровольно, в конституционном порядке, ограничивает права центральной и местных властей, вводит личную неприкосновенность гражданина и обеспечивает гражданские свободы. Но от логического рассуждения очень далеко до исторической реальности. Эволюционное превращение слаженного при Сталине государственно-партийного режима в другую, демократическую политическую форму — это одна из самых маловероятных исторических перспектив. Наоборот, не может быть сомнения, что на какой-то стадии развития советской системы, наступит кризис, — кризис бурный, вероятно, очень кровавый. Кризис — это не обязательно стихийная революция по образцам 1917 года; революция ведь лишь одна из многих форм государственных переворотов. Но те превращения, которые имели место в коммунистической партии за последние 15-20 лет и которые описаны выше — ее громадный численный рост, ее превращение в государственный служилый аппарат, ее самоустраивание и тяга ее массы к спокойной, обеспеченной жизни — определяют ход политического кризиса и его исход. Момент такого кризиса зависит от других, посторонних событий, вероятнее всего от событий международной политики. Но, раз вспыхнув, внутренний кризис развивается по своим собственным законам, сообразно психологически-политическому состоянию более активной части советского общества.

Было бы неправильно думать, будто эволюция коммунизма не имела и не имеет места. Наоборот, за тридцать лет коммунизм прошел огромный путь; в частности, излучение тех обывательско-коммунистических тенденций, с которыми высшая власть не перестает бороться, проникает из партийного подполья в общую атмосферу и часто налагает отпечаток если не на политику, то на фразеологию. Проследить истинную психологическую (не в резолюциях и статьях газет) эволюцию русского коммунизма с 1917 года до наших дней было бы интересной задачей; она выходит далеко за пределы настоящей статьи.

Если сравнить, например, «Правду» и «Известия» наших дней с теми же газетами в 1920-х годах, разница в фразеологии

и в терминах очень значительна. Термины «класс» и «классовые интересы» встречались тогда на каждом шагу. Теперь они совершенно не применяются к внутренним условиям Советского Союза и значительно реже к внешнему миру. Термины «социальная революция» или «мировая революция», о которых с пеной у рта публично спорили в те годы, тоже исчезли. Даже такой казалось бы обычный термин, как «революция» встречается теперь значительно реже.

Очень характерно, что термин «пролетариат» почти вышел из употребления; как известно, им часто пользовался Маркс вместо термина «рабочий класс», придавая новому слову вызывающий революционный оттенок. Позднее им пользовалась социалистическая печать всего мира и, конечно, большевизм примерно до 30-х годов. Теперь он исчез. Даже такой термин как «буржуазия» встречается много реже, чем раньше.

«Диктатура пролетариата», — лозунг также унаследованный от Маркса, прежде применявшийся на каждом шагу, теперь начал быстро исчезать; слово «диктатура», которое в заветах Ленина сочеталось с «рабочими и крестьянами», исчезло как в этом сочетании, так и отдельно. Исчезло так радикально, что на последнем съезде КПСС решено было изменить терминологию того пункта партийного устава, где встречался термин диктатура. Пункт партийного устава, который осуждал «попытки раскола» за то, что они «могут поколебать силу и стойкость рабочего класса», перефразирован теперь: «попытки раскола могут поколебать силу и стойкость социалистического строя».

Взамен марксистского термина «классы» вошел в обиход термин «трудящиеся», и даже в официальном языке «Советы трудящихся» заменяют Советы Рабочих Депутатов и т. д. Опять-же, по существу ничего от этого не меняется; есть, однако, тонкое, но не маловажное различие оттенков между этими терминами. Старое народничество, отвергая марксизм и классовую борьбу в качестве универсального объяснения истории, держалось термина «трудящиеся», который для него был синонимом «народа», т. е. миллионов людей физического труда — эта чисто-русская форма понимания слова народ. Против народничества и его термина вели отчаянную войну отцы русского марксизма, среди них и молодой Ленин и его поколение большевиков. Слово «класс» звучало более остро, было вызывающе, более революционно, в то время как в «трудящихся» стирались грани между разными общественными группами.

Если теперь официальная советская терминология возвра-

щается к народническому термину, то этим, конечно, подчеркивается, что внутри советского общества нет антагонизмов, и что теперь, наоборот, «впервые в истории», классы сливаются в одну гармоническую массу трудящихся. Но за этим, якобы научным объяснением, скрывается еще и потребность среднего коммуниста отойти, наконец, — после десятилетней грызни, ужасов чисток, вечного напряжения — к чему-то более спокойному, уютному, не столь боевому. Именно поэтому, уж без указания свыше, термин «трудящиеся» начинает постепенно, почти незаметно проникать и в ту часть советской журналистики и публицистики, которая касается международных тем, описывает политические события в капиталистических странах, где, казалось бы, «классы» должны вести по-прежнему напряженную борьбу и где термин «трудящиеся», по Ленину, смягчает, «смазывает» напряженность социальных антагонизмов.

Сомнения нет, что во всех этих метаморфозах очень много военной хитрости, рассчитанного обмана, ловкости рук. На момент можно кой-кого ввести в заблуждение и привлечь на сторону «социалистического движения» или «рабочей партии»; чтоб не запугать кой-кого, можно отказаться от термина «социальной революции», а вместе с тем можно продолжать к ней готовиться. И всё же эффект этих словесных, казалось бы, реформ выходит далеко за пределы маленьких комбинаций и жульнических маневров. В политической атмосфере исчезают одни слова, нарождаются другие. Молодежь воспитывается на других терминах. Старики переучиваются, чтобы идти в ногу со временем. Газеты пишут, конечно, что им приказывают. Но их термины, обороты и выражения характерны для меняющейся ситуации и соответствуют каким-то новым психологическим потребностям.

Характерно и то, что термин «демократия» склоняется во всех падежах и больше, кажется, в ходу в советской прессе, чем в западной. Что ни у Сталина, ни у его адъютантов нет и помысла о какой-либо уступке принципам демократии, нет нужды повторять. Но в 1920-х и 30-х годах этого слова вообще не было в советской литературе, и меньше всего можно было найти его в повседневной прессе. С приставкой «формальная» или «буржуазная» демократию высмеивали и опровергали. Где-то под спудом оставалась скучная теория, что только коммунизм несет истинную демократию; но это мало кого одушевляло. Сейчас, наоборот, по мере того, как диктатура выходит (на словах) из обращения, демократия делается ходким словечком.

Значит ли это, что партийное руководство, и не думая менять ни в чем свою полицейскую систему, видит необходимость считаться с умонастроением многочисленной партийной массы, с партийцем-обывателем, которому, оказывается, можно было раньше подавать яства в другой оболочке и на другом подносе, а сейчас надо обернуть полынь в золотую бумажку и наклеить на нее ярлык о свободе?

Нет, развитие идет и будет идти как-бы по Гегелю-Марксу: количество переходит в качество. Внутри коммунистического движения накаплиются элементы нового; сперва они незаметны для невооруженного глаза; когда партийное руководство начинает обращать на них внимание, оно грозит, потом наказывает, потом чистит. На какой-то срок подавление имеет внешний успех, но бактерии развиваются в своем бульоне. Нельзя установить, какая капля переполняет чашу; нельзя ответить и на вопрос, как и когда подспудная эволюция, сила потенциальная, превращается в силу динамическую. Энергия разряжается во взрыве.

V

Отрастить новую голову, т. е. создать новую интеллигенцию, — процесс болезненный не только в персональном смысле для сотен тысяч людей; он не только сопряжен с множеством трагедий и смертей, но он мучительный и в большом историческом смысле и в государственном масштабе.

Совершить государственный переворот можно в одну неделю; можно новую конституцию провозгласить в один день; объявить законы величайшей важности и ассигновать миллиарды — дело быстрое. Не много времени требуется, чтобы из малообразованного крестьянина сделать удачливого купца; не много больше требуется, чтоб слесаря сделать хорошим техником, а техника инженером. Подымались способные люди и до постов министра в несколько лет. Но ни в год, ни в десятилетие нельзя воссоздать мозги нации. Одиночки могут выдвинуться, но интеллигенция в целом создается медленно, и нет способа, чтоб ускорить это развитие, как нельзя возделывать сад в один год.

Эта сторона революционного процесса оставалась скрытой: для внешнего мира за официальной статистикой, которая показывает большой численный рост интеллигентских слоев; а внутри страны — за естественным умолчанием о качестве ной стороне этого количественного развития. Наоборот, все

усилия власти направлены на то, чтоб скрасить и скрыть эту теневую сторону социального переворота.

Больше того, власть старается, естественно, ускорить процесс новообразования интеллигенции, — и в известном смысле преуспевает: всеобщее обучение, образовательные фильмы, радио, множество книг по всем почти отраслям знания. И навстречу этим усилиям власти идет снизу познавательный голод — голод со стороны сотен тысяч, которые сознают свою отсталость, необразованность, некомпетентность и неумение совладать с вверенной работой. «Учеба» стала универсальной.

Бесконечное повторение и злоупотребление словом «культура» является одним из симптомов этого положения новой интеллигенции. Оно обнимает всё — и домашнюю чистоту, и правила вежливого обращения, и грамоту, и модное платье, и иностранные языки, и правильное правописание. «Культурные занавески», «культурное общение», «культурное развлечение». В этом слове сказывается большая тяга вверх к манерам истинной интеллигенции, к образованию, к вершинам знания, — и трагическое сознание большой отсталости. Вся советская пресса полна статьями об обязанности каждого гражданина, в особенности коммуниста, «работать над собой» и продолжать учиться. В ВУЗ'ы и техникумы поступают сотни тысяч молодых людей и в результате процент людей с «высшим образованием» выше, чем когда-либо раньше; он продолжает быстро расти.

Но эти попытки малоуспешны, поскольку их целью является количеством заместить качество. Масса советских студентов, аспирантов и профессоров всё еще стоит, в общем, на более низком уровне, чем их предшественники до революции. Часто выходят в жизнь полуобразованные люди, слишком часто неумеющие грамотно писать. Эту полуинтеллигенцию мы встречаем в качестве авторов фельетонов в газетах, в советских журналах. Она приезжает на Запад в качестве делегатов, дипломатов, удивляя весь мир своим будничным умственным обликом, своей посредственностью. Новых политических писателей не видно, и не случайно, что до-революционные историки вроде Тарле используются в качестве политических журналистов; а то и старые остряки-фельетонисты, вроде Заславского, пишут на темы мировой политики. Тихонов, Симонов, Фадеев появляются на страницах «Правды» не как авторы рассказов, а как политические писатели...

Михаил Зощенко значителен тем, что лучше всякого другого писателя он выражал этот новый мир поднявшейся из низов человеческой массы, ее тягу вверх и ее бессилие победить

свое прошлое. «Я полуинтеллигент», говорит с гордостью зощенковский герой, не подозревая, что есть насмешливое содержание в этом слове. Но он прав, этот герой: очень много сил и труда положил он на то, чтоб из невежды сделаться полуинтеллигентом!

Массовое производство полуинтеллигентов из невежд — громадное, прогрессивное, великое дело. Другого пути у России нет, чтоб создать себе новый слой высшей интеллигенции; быть может еще одно поколение на это понадобится; но ведь это единственный путь. Не смеяться надо, а преклоняться перед теми профессорами, которые пасли коров до 20-летнего возраста или подсыпали уголь в паровые машины или грузили баржи на волжских пристанях. Они по складам начинали читать в том возрасте, в каком интеллигенты старого поколения умели наизусть декламировать Шекспира и хорошо рассказать о Микель Анджело Буонарроти. Но они, эти чудо-профессора, дошли до своего предела и едва-ли многие из них подымутся на самые вершины науки и искусства.

Наличность этой очень большой массы полуинтеллигенции, без систематического воспитания в детстве и без того общего образования, которое одно открывает духовные горизонты, объясняет многие своеобразные черты советской политической жизни. Если бы не было на поверхности этого множества людей, недостаточно образованных, невозможно было бы кормить страну такой трухой, какую подают советская пресса и советское радио, рисуя Западную Европу и Америку: сказками о рабочих, умирающих от голода на улицах, о мерах террора, применяемых в момент парламентских выборов, о бактериологической войне в Корее; или, у себя, о коммунистах-уклонистах, как шпионах на службе у микадо и Гитлера и т. д. Ни Гитлер, ни Муссолини не подавали столько вздору своим слушателям и читателям. Не потому они воздерживались, что отличались большей правдивостью и честностью, чем Сталин, а потому, что в Германии и Италии, где сложившийся за многие десятилетия круг интеллигентных слушателей и читателей оставался при них почти без изменения, невозможно было подавать с серьезным видом столь квалифицированную ложь. Если бы они совершили у себя «социальную революцию» и призвали к власти десятки тысяч нищих необразованных итальянских крестьян или «простых людей» из неимущих немецких низов, они могли бы пойти гораздо дальше. Сейчас же Сталин перещеголял всех.

Когда складывается новый слой интеллигенции, нужен сравнительно долгий период, быть может смена поколений, чтоб выросла в ней потребность к политической свободе. Лишь по прошествии многих лет бледнеет миф о величии «достижений»; лишь следующие поколения начинают ощущать новый строй не как «завоевание», а как будни. Проза вместо поэзии — и критика вместо восторгов. Лишь постепенно, ощупью начинают подходить к понятиям законности и свободы.

Американская история уже давно установила закономерность развития «трех поколений» иммигрантов из Европы. «Первое поколение» всеми духовными корнями стоит еще в европейской почве и переносит на новую родину свои вкусы, обычаи, навыки, даже политические партии: «второе поколение» еще говорит на своих европейских языках, наследует многие взгляды своих родителей, но постепенно вырастает в новую почву: «третье поколение» — уж «чистые» американцы, с новыми взглядами и вкусами в личной и общественной жизни. Этот темп смены привычек, потребностей и политических эмоций заложен очевидно в человеческой природе и не может быть изменен.

Как и когда восхождение советской интеллигенции из низов на самые верхи начнет сказываться во внутренней политической жизни? Очень вероятно — почти несомненно — что примерно к середине 30-х годов, когда старое большевистское поколение уже начинало уходить, а молодое уж подходило к власти, налицо были предпосылки для большой трансформации; вопреки сильному давлению со стороны власти, и внутри партии и вне ее политическая атмосфера была полна еретических идей.

Но если и раньше уж каждая чистка удаляла из партии значительные группы недовольных, то большая чистка 1936-1938 годов совершила ту же операцию в самых грандиозных масштабах. Завершив ее, Сталин доложил 18-му съезду, что около 500.000 новых людей было втянуто в аппарат. Очевидно, взамен других 500.000, куда-то удаленных. Для этого полумиллиона новых людей, включенных в состав интеллигенции и быстро поднятых, по влиянию и материальному благополучию, вверх, социальная революция совершилась не 35, а лишь 10-15 лет тому назад. Их цикл начался позже, они всё еще «первое поколение». Нет сомнения, что эта операция продлила жизнь государственной системы на многие годы.

Но нельзя повторять беспредельно эксперименты «ликвидации» и нельзя устраивать большие чистки без конца. Все-

спасительные, всё извиняющие войны тоже не часто повторяются. А лишь только буря проходит, начинают прочно оседать человеческие атомы, начинают предъявлять свои человеческие пожелания, складывать их в массовое недовольство, фрондировать против полицейщины, — и, вопреки всем планам, схемам и предсказаниям, выражать их в очень старых, но вечно новых словах...

Д. Далин

МАРКС И РОССИЯ

У Маркса с Россией — патетический спор, который длится вот уже больше века. Спор этот еще при жизни Маркса прошел через две фазы: в первой фазе — до конца 60-х годов — доминирующим элементом в отношении Маркса к России был внешне-политический аспект русского вопроса. В яркой, интенсивной публицистике Маркса, русский вопрос («русская опасность») стоял тогда на первом плане. Лишь в последующий период Маркс начал пристально и с чрезвычайным интересом присматриваться к социально-экономическому развитию России, и развитие это стало положительным элементом в его гаданиях о социалистической революции будущего. Как известно, именно в этой области прошел водораздел между народничеством и марксизмом. Однако, истинная точка зрения Маркса вовсе не совпадала в точности с позицией русских марксистов, о чем знали тогда лишь немногие посвященные, а шла скорее по средней линии.

И вот в 1917 году тень Карла Маркса легла на русскую землю. Осуществление классовой диктатуры в России со ссылками на Маркса, казалось многим скорее недоразумением, а русским и иностранным меньшевикам — даже ересью, роковым искажением марксизма; но известно, сколь многих, и в России, и на западе, прельстила «левизна» всего большевистского предприятия, независимо от верности или неверности его духу и заветам марксизма. Спор этот стоял в центре внимания до середины 1930-х годов. Тем временем социальная структура русского хозяйства стала меняться; пошла «аккумуляция» капитала с гораздо более жестокой эксплуатацией личности и целых групп населения, чем это полагалось при капитализме по схеме Маркса. Из преимущественно земледельческой страны Россия превратилась в мощную промышленную державу. Эта метаморфоза лишила интереса прежний спор о приоритете стран с развитой промышленностью в осуществлении революционного социализма; он сейчас может носить только лишь исторический характер для уяснения идейных корней большевизма и служить одновременно иллюстра-

цией для установления истинной точки зрения Маркса на вопрос о путях социалистического катаклизма.

Но тем временем определилась тенденция сталинизма во внешней политике; тактика и стратегия мировой политики, ведомые Кремлем, приняли характерную форму. И возвращается ветер на круги свои: в споре Маркса с Россией на первый план выступает уже не вопрос о ее «путях социального развития», об ее «особенной» или обычной стати; в сталинизме неожиданно обнаруживаются как раз те черты традиционной русской политики, которые Маркс находил в ней не без многих преувеличений в течение десятилетий, а Энгельс и много позже, еще в 1890 году. В данных Марксом характеристиках и анализах русской дипломатии, русской экспансии, русской системы подчинения и овладения — много верного, но основной элемент предвосхищения и, тем самым, актуальности заключается в том, что стратегия бесконечного расширения, мирового владычества, которую он док о н с т р у и р о в а л, оказавшись в наши дни такой же реальностью, как и тактика «татарского макиавелизма».

Недавно в Советском Союзе с большой помпой отмечали восьмидесятилетний юбилей первого перевода «Капитала». Это был вообще первый иностранный перевод, появившийся через три года после издания немецкого оригинала, и Маркс устранил из него несколько вызывающих по адресу России слов, которые фигурировали в предисловии к немецкому изданию. Маркса знали, читали и почитали в России раньше и больше, чем это имело место на Западе. Даже его недруг и политический противник Бакунин был под большим впечатлением от концепции исторического материализма; он выпустил в 1862 г. в Женеве первый (анонимный) русский перевод «Коммунистического Манифеста», а по выходе «Капитала» собирался, по уговору с одним русским издателем, переводить и эту объемистую книгу, но в конце концов так и не сделал перевода. «Я двадцать пять лет боролся с Россией, — писал Маркс в это время своему приятелю Кугельману, — несмотря на это, русские всегда носились со мной и лелеяли меня». Верх иронии — в Интернационале он числился представителем славянской секции! Но этот повышенный интерес к Марксу привел между прочим к тому, что несколько выдающихся русских людей — Струве, Булгаков, Бердяев, позднее ушедшие от «марксизма к идеализму», раньше западных последователей Маркса обратили внимание на гуманистическую, персоналистическую, «идеалистическую» сторону его

социализма. Эмансипация личности, освобождение человека от того раздробления, того самоотчуждения, в которые его вгоняет капиталистическая система; уничтожение этой системы эксплуатации с ее роковыми морально-духовными последствиями, — вот этическая подоплека марксизма, вот элементы, которые Маркс лично несомненно не упускал из виду.

Целый ряд его высказываний, его борьба с реакционными методами прусского и французского правительства дополняют картину в том смысле, что символ политико-философской веры Маркса можно включить в традицию западного демократизма. И всё-таки это истолкование, которое сейчас с жаром отстаивается западными ревнителями марксизма, правильное постольку, поскольку речь идет о подлинном мировоззрении Карла Маркса, нас не может удовлетворить вполне, коль скоро мы беремся за исследование источников тоталитаризма. С Марксом произошло то же самое, что с Ницше: у последнего нашлось достаточно материала, который мог быть усвоен и присвоен фашизмом. Мировоззрение политического и социального мыслителя во всех его нюансах составляет предмет истории идей; но некоторые системы мысли, неизбежно упрощенные, становятся определяющим фактом истории вообще. Как бы оторвавшись от Маркса со всей его гуманистической инспирацией, марксизм пройдя через историю, сконцентрировал свою соблазнительную силу вокруг четырех динамо-идей: борьба классов, социальная революция, диктатура пролетариата, интегральный социализм. Эти динамо-идеи заключали в себе зародыши тоталитарной концепции и тоталитарного государства. Маркс не только двуликий Янус, но это и Фауст с двумя душами, которые тянули его в различные стороны; ему, как известно, вовсе не нравилось слыть «марксистом». И помимо противоречия между тоталитаризмом и либерализмом, в нем социолог, не спускавший взгляда с фактов и честно пытавшийся осмыслить их тенденции, боролся с социалистом, располагавшим готовой историко-философской системой для интерпретации этих фактов, системой весьма в сущности метафизической и катастрофической, в которой социальная революция будущего играла роль конечного искупления. В 1872 году на Амстердамском конгрессе Маркс заявил, что в некоторых странах, как Соединенные Штаты, Англия и даже Голландия (о ней он упомянул из вежливости), социалистический строй утвердился, быть может, и без того, чтобы пришлось прибегать к революции. В 1848 году он бы этого не сказал; это были слова социолога; но этот «ревизионизм»

самого Маркса, который отбивал острие и у постулата классовой борьбы, не остановил поступательного движения революционного марксизма.

На большевистском и с к а ж е н и и марксизма можно поэтому настаивать только с существенными оговорками. К тому же, как раз в высказываниях позднего Маркса имеются довольно неожиданные признания возможного приоритета русской революции в развитии социального катаклизма. В особенности любопытно письмо к Зорге от 27-го сентября 1877 г., в котором Маркс настаивал на том, что Россия находится накануне революции, и что пришел он к этому выводу на основании пристального изучения первоисточников: «Все слои русского общества в состоянии экономического, морального, духовного разложения. ...Восточный кризис ускорил это развитие. ...Студенческие глупости только симптом. Революция начнется с игры в конституцию, как полагается. Она начнется на этот раз на Востоке, где до сих пор стояла наготове резервная армия контрреволюции». Многих это малоизвестное письмо тем более удивит, что Маркс в нем явно предполагает революцию с глубокими социальными сдвигами, и что в последней фразе явный намек на последующую смычку с европейской революцией. Эмпиризм Маркса привел его на этот раз к выводу, который ему самому, убежденному «западнику», был мало приятен, и на этот раз этот эмпиризм шел на пользу его революционной «шуйце». Мысль Маркса была достаточно гибка, и корректив Ленина в его вышедшей в 1916-ом году книге об империализме, последней фазе капитализма, по которому недовольство в странах, эксплуатируемых иностранным капиталом, включает в себе самый горючий революционный материал, этот корректив, сейчас усердно выдвигаемый на первый план в сталинизме, шел в сущности по линии письма Маркса. Раз начавшись, революция оказалась бы лавиной. Маркс при этом не отказывался от своего интимного убеждения, что именно западно-европейский пролетариат — та призванная социальная группа, тот качественный авангард, которому будет предстоять первая роль в организации социалистического общества.

Маркс всю жизнь был и оставался до конца западником. Как для всех его нерусских современников, Европа была для него очагом не только первенствующей, но вообще единственной цивилизации. По отношению к России он испытывал

долгое время исключительно враждебные настроения. В 60-х и 70-х годах он питал чувства симпатии и уважения к русским террористам; он ценил Чернышевского, и Лопатин обращался к нему в поисках средств для организации побега Чернышевского из Сибири. Но даже и в последние пятнадцать лет жизни его настроение по отношению к России и к русскому народу было, в лучшем случае, сдержанным; другом России, будущим советским патриотом его никак не сделаешь.

Но, как было сказано, сейчас его внешне-политическая публицистика предшествующего периода приобрела исключительную актуальность. В 1848-м и 1849-м г.г. Маркс и Энгельс были главными редакторами «Новой Рейнской Газеты» в Кельне. Единая Германия в то время была лозунгом левых партий; во внутренней политике Маркс был за буржуазно-демократическую республику; лишь этот режим мог способствовать развитию промышленности в отсталой Германии; ей надо было лишь нагонять Англию и даже Францию; у этой последней было во всяком случае преимущество наиболее революционно настроенного рабочего класса. Но в этой революции 48-49 годов, в которой так тесно уживались политические и социальные мотивы и которая, как пламя, стала охватывать всё новые части Европы, всё более и более определялась внешне-политическая обусловленность ее путей и результатов. Вопросы внешней политики стали доминировать в длинных анонимных передовицах радикальной Кельнской газеты. У революции было два мощных врага: Россия Николая 1-го и буржуазная Англия, владычица мирового капитала. Маркс относился с большим сочувствием к польскому движению. Раздел Польши связал, как совместный разбой, три государства реакционной Европы. Освобождение Германии от пут феодально-патриархального строя, от постоянного подчинения русскому влиянию, не могло осуществиться без восстановления Польши. Россия была так непопулярна в «мартовские» дни в Германии, что франкфуртский парламент мог принять постановление о предоставлении оружия польским инсургентам.

С точки зрения Маркса и Энгельса, Германия могла себя спасти однако не подобными постановлениями, а лишь вступив в революционную войну с Россией. В течение года их пропаганда шла в этом направлении, причем очень скоро они убедились, что война «революционной демократии» будет носить мировой характер, поскольку вторым врагом ее будет английский капитализм. Маркс боролся с энтузиазмом за этот

«двойной фронт» революции; при этом он рассчитывал, что «крепость» мирового капитала будет в конце концов свергнута движением чартистов. Даря все свои симпатии полякам, которые вызывали в нем чувство уважения своим революционным движением, крестьянскими восстаниями в Краковщине в 1846 г. и в Познани в апреле 1848-ого года, Маркс смотрел на поляков, как на народ, призванный осуществить принцип свободного землевладения, провести аграрную революцию по стопам французской 1789 года. Этим симпатиям он остался верен до такой степени, что в пропольской «прокламации» 1874 года настаивал на пользе национальных лозунгов в польском революционном движении, вопреки тактике влиятельной группы польских социалистов-интернационалистов.

Маркс не подозревал, — стало это известно лишь недавно из найденных сводок секретных донесений III-го Отделения лично Николаю 1-му, — о размерах крестьянских бунтов в самой России. Он видел в России лишь военную реакционную силу, с решающим влиянием в европейских делах. По-настоящему, от относился к русским мужикам до конца 60-х годов безучастно; лишь тогда у него в обращении к полякам появились слова об их томящихся в том же гнете русских б р а т ь я х. До той поры русские крестьяне были для него только солдаты царских полков, угрожавших Европе. В его отношении к России было нечто напомилавшее римлянина первых веков нашей эры. Восточная граница Речи Посполитой была как бы *limes* римской империи. За этим валом начинался варварский мир; он внушал тревогу и беспокойство, но не было основания относиться с участием к собственным судьбам этого мира.

Враждебные чувства Маркса и Энгельса к России обострились в 1849-ом году, с интервенцией Николая 1-го против революционных правительств в Венгрии и, еще раньше, в Трансильвании. Но в то же время эта вражда распространилась и на славянские народности Австрийской империи: кроатов, словаков, чехов. Как раз славянские полки под предводительством Радецкого и Елачича оставались наиболее дисциплинированными во взбаламученной революцией Габсбургской империи; им выпало на долю подавлять революцию в Милане, в Вене, в Будапеште. Этому Маркс и Энгельс не могли им простить. В двух длинных статьях (их приписывают Энгельсу, но идейная гармония между Марксом и Энгельсом не позволяет сомневаться, что ответственность была общей), посвящен-

ных одна Венгрии, другая «демократическому панславизму»*, они с возмущением и ненавистью говорили о славянских народностях Центральной Европы, которые никогда ничего положительного в истории не сотворили и пользовались только цивилизацией тех двух наций, которые их подчинили: немецкой и венгерской. Если бы они когда-нибудь восстали, они проявили бы этим свою действенную, революционную энергию; в этом случае немцы и венгерцы пожертвовали бы своими личными интересами на пользу европейской революции. Но случилось обратное: теснимые у себя дома эти народности оказались во-вне притеснителями других, к тому же революционных, наций. И тут Маркс и Энгельс развили любопытную и весьма негуманную теорию, оправдывающую во имя революции то, что сейчас стали называть геноцидом, уничтожением целых национальных групп: все эти маленькие «осколки», баски, бретонцы, кельты, кроаты, словены, словаки фатально тяготеют к прошлому и становятся препятствием для революции; им не по дороге с историей, она против них, они подлежат ассимиляции или — уничтожению! Статьи эти призывали к беспощадной борьбе, «безоглядному терроризму», по отношению к славянам — изменникам революции; ненависть к России, эта «первейшая революционная страсть немцев», сливалась теперь заодно с ненавистью к славянам. Исключение делалось только для поляков, этого «исторически необходимого» народа, и, в 50-х годах, еще для сербов.

О «геноцидной» теории Маркса-Энгельса возникла в 1905-ом году полемика между Черновым и Лениным, причем Ленин подчеркивал правильность позиции отцов марксизма. Вряд ли в Политбюро много доктринерствуют, когда речь идет о репрессивных мерах, но Сталин мог бы использовать доктрину столетней давности для оправдания переселения, если не уничтожения, крымских татар, чеченцев и калмыков после войны.

По переезде в Лондон в 1850-ом году, Маркс несколько времени занимался политической экономией и лишь с 1853 г., получив возможность сотрудничать в американской газете «New-York Tribune», стал опять посвящать многочисленные

* Эта вторая статья полемизировала с «Воззванием к славянам» Бакунина, который на славянском съезде в Праге, в июне 1848 г. агитировал за образование славянской федерации, направленной против немцев.

статьи текущей международной политике*. Можно сказать, что русская опасность была лейт-мотивом большинства этих статей. Одновременно Маркс клеймил весьма резко английских политиков, в частности Пальмерстона — за их потворство русской дипломатии. Подлинные интересы Англии, политические и экономические, совпадали с интересами революционной демократии (кстати сказать, выражение, пущенное в ход Марксом), так как Англия могла только потерпеть ущерб в результате русской экспансии. Плетясь за Россией, потакая ей, Англия как бы изменяла Европе.

С начала 50-х годов турецкий вопрос стал главным предметом внешне-политических забот и махинаций. Маркс был убежден, что Россия зарится на Константинополь и Балканы. Владея Дураццо в Албании, она не так уж далека была бы от Мальты; Австрия Габсбургов была бы зажата с трех сторон; наконец, и западная граница России, неровная и искусственная, продвинулась бы неизбежно от Данцига или Штетина до Триеста. Венгрия, Пруссия, Галиция стали бы фатально следующими объектами этой завоевательной политики, ведущей к осуществлению панславянской империи. При этом Маркс понимал, что оттоманская империя в ее границах 50-х годов была неживуча. В этой связи он придавал очень большое значение Сербии. В это время линия железной дороги не вела дальше Будапешта; речь шла о продлении ее через Белград в Константинополь. Маркс был уверен, что этот проект упрочит культурное и экономическое влияние Запада на Балканах; здесь необходимо было создать независимое юго-славянское государство; усиление Сербии всегда, по его словам, сопровождалось уменьшением русского влияния на турецких славян.

Чтобы понять внешнюю политику России, Маркс стал всё больше и больше обращаться к русскому прошлому. Непрерывное расширение, непрерывные захваты! Со времен Екатерины одна европейская Россия удвоила свои размеры... И как всё это делалось! В 1836-м году в журнале Уркварта «Портфолио» была помещена секретная дипломатическая переписка русских послов с Петербургом за 1825-30 г.г., захва-

* Часть их попадала в другие органы печати, английские, немецкие, австрийские; часть никогда не была напечатана и хранится в виде неопубликованных манускриптов либо в Москве, либо в Амстердамском Музее Социальной Истории; часть, конечно, исчезла; Рязанов говорит о нескольких стах статей, несомненно принадлежащих перу Маркса и Энгельса, за время от 1853 до 1862 года.

ченная в 1830-ом году польскими повстанцами в Варшаве во дворце великого князя Константина; Маркс ее внимательно изучал. Нужно признаться, что в изображении Маркса русская политика как бы завещала свои методы Сталину! Тенеты, которые посылаются Западу, — словно кости, которые бросают псам для невинной игры, но России они помогают выиграть время. Конечно, признавал Маркс, географическое положение может объяснить внешне-политические стремления России, но средства, к которым она прибегает, не заслуживают восхищения. В турецком вопросе Николай I, продолжая политику своих предшественников, ставит преувеличенные требования, чтобы сначала внушить страх Европе, а потом показаться великодушным когда он согласится на меньшее; он рассчитывает на трусость и робость западных держав. И всё-таки, все приемы этого «иезуитского ордена», как назовет в 1890-ом году Энгельс русскую дипломатию, выдают «внутреннее варварство» России уже своей монотонной стереотипностью. Дипломатия эта хитроумна, ей скоро удастся прощупать слабые стороны дворов и министров, но она в состоянии прозевать исторические движения народных масс, как чартизм или июльскую революцию в Париже. Создавать сложную обстановку, без мира и без войны, потом интриговать, шантажировать — в такой политике обвинял Маркс Россию накануне Крымской войны.

Всем тем, кто привык судить о Марксе, исходя из его концепции исторического материализма, сможет показаться странным наше утверждение, что в антирусских статьях Маркса преобладает точка зрения не столько социалиста и революционера, сколько европейца, озабоченного судьбой цивилизации. Дело, конечно, не в том, чтобы подсчитывать, как часто само это слово встречается в эту эпоху у Маркса. Пущенное в обиход Гизо оно быстро привилось и могло иметь всякие оттенки. У Маркса оно нередко имело смысл, включавший перспективы социалистического будущего. Но в то же время оно означало совокупность всех тех культурных ценностей, которые создала Европа. Как уже говорилось, Маркс был вполне «европоцентричен». Что значила тогда для Европы Россия? Должно было пройти еще несколько десятков лет прежде, чем русский роман, русская музыка, русский балет могли проникнуть в Европу. Маркс охотно настаивал на романо-кельтогерманской базе цивилизации и противопоставлял ее «руско-монгольскому варварству». В 1865-ом году киевский поляк Душинский, эмигрировавший в Париж, издал по-французски

книгу, доказывавшую, что великороссы отнюдь не славяне, а помесь финнов и татар; посему им никак не полагалось претендовать на славянские земли днепровского правобережья. Маркс, который издавна привык смотреть на русских, как на «монголов», был поражен аргументами Душинского; но всего любопытнее, что он мог предположить, что подобного рода книжное открытие ударит по панславистской политике петербургского кабинета.

Не любя России, Маркс относился с недоверием и к русским эмигрантам. Он знал Бакунина, Герцена, Анненкова, Сазонова, двух Толстых. Но когда обнаружилось, что один из этих Толстых, Яков, бывший декабрист, был политическим «информатором», на службе у русского правительства, у Маркса появились сомнения в революционной искренности и остальных русских эмигрантов. В 1855-ом году Герцен в брошюре «Russia and the Old World» указывал, в свойственном его «поссибилизму» духе, на возможную альтернативу будущего: быть может, Россию загонят за Урал, но, быть может, она докатится и до Атлантического океана; и если Европа не решится приступить сама к своему социальному обновлению, быть может, Россия будет призвана взять на себя это дело! Маркс видел, однако, в позиции Бакунина и Герцена одно лицемерие, предпочитая ему «вульгарный» и открытый официальный панславизм. Он отказался участвовать рядом с Герценом в одном митинге и объяснил свой отказ в письме к Энгельсу тем, что никак не желает, чтобы «старая Европа была омоложена русской кровью». Но он относился не очень благосклонно и к более поздней, «разночинной» эмигрантской молодежи, которая раздражала его своими претензиями и безграмотностью. Недоверие у него осталось, как о том свидетельствуют недавно переизданные воспоминания вернувшегося в Россию эмигранта Гижицкого, напечатанные впервые в «Московских Ведомостях» в 1873-м году. Автор этих воспоминаний, участник студенческого движения 1861-ого года, как бы описывал самого себя в приводимой им характеристике Маркса: «Странные между ними встречаются личности; они живут за границей, называют себя эмигрантами, говорят не иначе как под секретом; несмотря на то, что называют себя эмигрантами, боятся на каждом шагу скомпрометироваться; а потом, смотришь, возвращаются в Россию и живут себе там преспокойным образом».

Мы цитировали выше высказывание Маркса, свидетельствующее о том, что он не был лишен понимания географиче-

ской обусловленности русской тяги к открытым морям; но гораздо чаще он и самые цели русской внешней политики представлял себе идущими дальше; игра велась на безграничное расширение, на мировую гегемонию! Интересно, что Маркс как будто верил в пресловутое завещание Петра Великого; он на него ссылался. Сочиненное в наполеоновскую эпоху, оно часто выплывало в течение XIX-го века в разговорах о русской угрозе; ссылались на него и с левой и с правой стороны.

В центре внимания Маркса стояли два факта: с одной стороны, непрерывная русская экспансия, с другой, постоянная пассивность, подозрительное потворство английской дипломатии. Как объяснить эту последнюю тенденцию? Вместе с ненавистником Пальмерстона, туркофилом и руссофобом Урквартом, Маркс не находил одно время другого объяснения, как русский подкуп. Но и отказавшись от этого подозрения, он продолжал быть уверенным в систематическом характере руссофильской политики Англии. Наткнувшись случайно в Британском Музее на неизданные дипломатические документы XVIII-го века, депеши английских послов из Петербурга и антиправительственные памфлеты начала века в связи с русско-шведской войной, Маркс решил, что он дошел до первоисточников английского руссофильства. Как это ни удивительно, экономические причины (как, например, влияние привилегированной «Московской Компании») ему казались совершенно второстепенными; настоящего объяснения этой сомнительной тезе о постоянной английской прорусской линии Маркс так и не мог дать. Но увлекшись историей в ряде статей, напечатанных в консервативном органе Уркварта в 1856-7 гг. под заглавием «Разоблачения о дипломатической истории XVIII-го века» (они выйдут в ближайшее время по-французски и по-английски с нашим введением), Маркс захотел дать большой синтез русского исторического развития, чтобы дойти до первоисточников и «русской опасности».

Маркс — историк России! Конечно, это был только эскиз, только взгляд на Киевскую Русь и, в особенности, на возвышение Москвы, — но с каким блеском преподнесенный! Разумеется, Маркс разделял «норманскую» теорию своего времени, но тогда как еще в 1853-м году он находил прототип русской политики в болгаро-византийской аванюре Святослава, в «Разоблачениях» Киевский период объясняется до конца норманской структурой созданного варяжскими завоевателями государства. Татарское иго нарушило непрерывность русского исторического развития. Как же произошло возвышение

Москвы? Маркс доказывает, что Иван Калита, а позднее Иван III заимствовали весь арсенал своих политических методов у Золотой Орды. Хитростью, интригами, узурпацией они провели освобождение и возвышение Москвы; они расширили ее территорию, применяя с величайшим искусством ту же тактику к Новгороду, Твери, Литве. Они унаследовали «татарский макиавелизм» от своих господ, превратившись сами в господ из рабов. В их политике сама сила была лишь инструментом интриги. Подкуп, шантаж внутреннее разложение, исподволь проводились годами, такова была эта система. Позднейшие цари ее переняли. Петр 1-й понял, что эту политику можно с тем же успехом применять к явлениям не местного, а мирового масштаба, на предмет мирового владычества, осуществляя тем самым легендарный завет Чингиз-хана.

Удивительно, как мало во всей этой подкупающей *vue de l'esprit* экономического материализма; синтетическая конструкция казалась Марксу гораздо более убедительной, чем экономический анализ и исследование социального развития! Но что еще более поражает, это то предвосхищение сталинской внешней политики, которое проступает чрез описание «татарского макиавелизма» московских великих князей. Любопытно, что в июне 1951-го года Дин Ачесон произнес речь, в которой он, словно прочитав накануне «Разоблачения» Маркса, обвинял Россию в систематической экспансии, начиная с эпохи московских князей; речь эта вызвала обмен мнений в прессе. Но надо ли удивляться, что в советском «полном» собрании сочинений Маркса-Энгельса (29 томов) забытые «Разоблачения» Маркса отсутствуют, хотя на них и ссылаются иногда цитируя никому недоступный английский текст, как это делает Потемкин в своей «Истории дипломатии»; разумеется, цитаты проходят мимо существенного, если не искажают смысл контекста. Трудно представить себе более неприятный для большевиков текст Маркса, чем эти статьи 1856-57 гг.!

**
*

Такова была «особенная статья», которую Маркс видел в России, и это было одной из причин, почему терроризм народовольцев, направленный на свержение самодержавия, вызывал в нем столь откровенное сочувствие. Но с конца 60-х годов несколько других обстоятельств привели к тому, что социально-экономическое развитие России стало для Маркса предметом усиленного интереса и занятий. Новые труды по

истории аграрной общины, вышедшие в 60-х годах (Моргана и, особенно, Маурера), изменили до тех пор скорее отрицательный взгляд Маркса на этот институт; иначе стал он относиться и к русскому «миру». Ничего оригинального, ничего специфически-славянского в русской общине нет, писал он Энгельсу, во всяком случае она не фискального происхождения; факт тот, что в ряде случаев частная собственность появилась позднее примитивного коммунизма. В каком-то смысле индустриальный социализм будущего являлся таким образом возвратом к первоначальному коллективизму! С 1869-го г. Маркс имел двух корреспондентов в России, Лопатина и Николая Даниельсона (писавшего под псевдонимом Николай-он); они взялись за перевод «Капитала», и Маркс, заинтересованный вопросом земельной ренты для 2-го тома «Капитала», стал получать от Даниельсона множество материалов, статей, выписок, официальных статистических данных. В несколько месяцев Маркс выучился читать по-русски, чтобы пользоваться этими документами. И Лопатин и Даниельсон были убежденными народниками. Маркс неизбежно должен был занять позицию в вопросе о будущих путях России; позиция, которую он занял, была много ближе к народничеству, чем к точке зрения организовавшейся в начале 80-х годов первой группы русских марксистов! Маркс не разделял ни славянофильского убеждения в оригинальности общины, ни веры в то, что Россия непременно обойдется без капитализма. Но он считал, что шансы России на это был, что в общине и артели были положительные элементы; что этим коллективным структурам угрожал развивавшийся капитализм, но что «если русская революция станет сигналом для пролетарской революции на Западе, так что обе революции дополнят одна другую, русская община в ее современном виде сможет стать отправным пунктом коммунистического развития». Этими словами кончалось предисловие Маркса к 2-му русскому изданию «Коммунистического Манифеста» в 1882-м году. С 70-х годов Маркс стал настаивать на том, что его концепция исторического развития применима исключительно к странам Запада; только в отношении к Западу речь может идти о «фатальном» развитии. В неотосланном письме к Михайловскому, опубликованном после смерти Маркса Энгельсом, эти оговорки были развиты с предельной ясностью. Маркс напоминал, что в древнем Риме экспроприация крестьян не привела к созданию рабочего класса; возник не капитализм, а рабовладельческий строй. При всех аналогиях, в различных исторических условиях развитие раз-

лично; историко-философская концепция, пригодная для всех обстоятельств, имеет одно лишь несомненное свойство: она не-исторична. Россия, писал Маркс, как будто хочет следовать за капиталистическим Западом; она успеет на этом поприще только, когда большинство ее крестьян превратятся в пролетариев; пойдя раз по этому пути, она потеряет самый блестящий шанс, который история ей предоставляет, и ей придется испытать на себе безжалостные законы развития капиталистического строя.

Таков был ход мыслей Маркса-социолога в последние годы его жизни. Кто-нибудь, пожалуй, склонен будет понять их так, как будто Маркс хотел оставить Россию в будущем социалистическом обществе на положении земледельческой страны. Это было бы недоразумением. Экономический кризис 1870-х годов укрепил веру Маркса в близость социалистической революции. Капитализм был злом, эксплуатацией, но он способствовал, — Маркс думал диалектически, — расцвету производительных сил. Момент был близок, когда пролетариат сможет приступить к коллективному управлению и руководству этими силами. Страны, в которых окажутся налицо коллективные формы хозяйства, смогут приспособить их к новым, технически более высоким и продуктивным структурам земледелия и промышленности.

«Анализ», который я дал в «Капитале», не дает аргументов ни за ни против жизнеспособности «мира», но те изыскания, которые я специально, пользуясь первоисточниками, посвятил этому вопросу, убедили меня в том, что община — отправной пункт социального возрождения России; для того, однако, чтобы развитие пошло этим путем, необходимо предварительно устранить тлетворные влияния, которым община со всех сторон подвержена, и обеспечить ей нормальные условия свободного развития». Такова была заключительная фраза в письме Маркса от 8-го марта 1881 года к Вере Засулич, которая с тремя другими членами группы «Черный передел» (Плехановым, Аксельродом и Дейчем) послала ему из Женевы вопрос о путях развития России. Видно, этот столь благожелательный народничеству ответ «властителя дум» был не тот, который они ожидали от Маркса. Основав группу «Освобождение Труда», первые русские марксисты так и не опубликовали письма Маркса! Насколько серьезно сам Маркс отнесся к редактированию этого письма, можно заключить из того, что в 1911 году в бумагах Лафарга нашли пять различ-

ных его черновиков; оригинал письма обнаружен был в документах Аксельрода в Берлине в 1925 году.

Фридрих Энгельс, который, после смерти Маркса, продолжал переписку с Даниельсоном, должен был, в 80-х годах, отказаться от народнической альтернативы Маркса: Россия не могла избежать капитализма; он шел уже семимильными шагами, его нельзя было остановить...

**
*

Та метафизическая ирония, которая, как отметил Гегель, характеризует подчас диалектические «выверты» истории, проявила себя в русской судьбе марксизма. Не приходится спорить о русской линии в генеалогии большевизма: линии Бакунина-Чернышевского-Нечаева-Ткачева. Но Маркс дал большевизму универсальный замысел; и фаустово сочетание в Марксе эмпирика-социолога и догматика-революционера оказалось, в странном искажении, упорно-живучим в чудовищном сочетании государственно-крепостного капитализма с планом создания мировой империи, о котором не думали ни Петр 1, ни Николай 1, но который проводится в наши дни во имя и во славу Маркса.

Б. П. Гелнер

СОВЕТСКИЙ АНТИСЕМИТИЗМ ПОСЛЕ ВОЙНЫ

На фоне острого напряжения, внутреннего и международного, в условиях идейной выпотрошенности коммунизма и пронизывающей всю систему оголенной борьбы за власть, — выброшена азартными советскими игроками антисемитская карта. Выброшена эта карта сверху, из Кремля, из генштаба коммунизма, — речь, следовательно, идет не об антисемитизме народных низов, который после войны, особенно в первые годы, характеризовал настроение в местностях, оккупированных нацизмом, а об антисемитизме правительственном, коммунистическом. Об отношении к евреям Сталина и его ближайших советников и приходится сейчас говорить.

Коммунизм и антисемитизм. Здесь не место останавливаться на том периоде, когда Ленин видел в антисемитизме «контрреволюцию» и угрожал ставить к стенке антисемитов. Эти времена прошли давно. С тех пор в биографию коммунизма вкраплено несколько антисемитских моментов. Еще в 1923 г. Радек шел на сделку с немецким антисемитом-предшественником нацизма Ревентловым, дабы единым фронтом взорвать Веймарскую республику. А спустя 15 лет Сталин заключил пакт дружбы с Гитлером, не только развязавший мировую войну, но как бы провозгласивший дружбу и мир между двумя антиподами, — коммунистами и нацистами, — мир, спаянный кровью и антисемитизмом скрепленный. Мы очень мало знаем о сталинской политике в течение 22-х месяцев действия пакта в отношении евреев.

Мы знаем однако, что уже в период нацистско-советской войны, когда Сталин объявил себя и «демократом», и «западником», и не прочь был приписывать себе роль «спасителя евреев» от гитлеровских газовых печей, — на самом деле он не проводил эвакуации евреев из захваченных немцами территорий, в сущности, умышленно обрекая их на гибель, а затем умышленно замалчивал самый факт истребления евреев немцами: до сих пор так и не опубликовано, сколько евреев погибло в СССР во время войны и сколько осталось в живых. Это отношение генштаба мирового коммунизма к еврейской трагедии эпо-

хи последней войны нужно отнести за счет дошедшей до края аморальности коммунизма. Не последнюю роль тут сыграло и равнодушие специально к еврейским страданиям, — тот асемитизм советского правительства, от которого один только шаг к антисемитизму. На этом пути и обнаружилось духовное сродство коммунизма с нацизмом, внутреннее сближение этих двух крайностей, двух вчерашних полярностей, — сказалось перерождение коммунизма в некий непредусмотренный в прошлом вариант: коммунонацизм. При попытке выяснить причины современного советского антисемитизма не следует забывать об этой подпочве, о предрасположенности к нему именно вследствие идейной, духовной эволюции коммунизма в фашистско-нацистском направлении.

Разумеется, коммунизм изменил бы своей натуре и своим «материалистическим» повадкам, если бы, выбрасывая антисемитскую карту, не связал с ней ряд практических, политических целей. Не подлежит сомнению, что, разочаровавшись в возможности победить и убедить западные демократии, Кремль рассчитывает при помощи антисемитизма завербовать симпатии немецких наци. Разочаровавшись в надежде перевести в свой фарватер молодую республику Израиль, Кремль не прочь сделать новую ставку на арабов. В сущности он, вероятно, не боится использовать подспудные антисемитские настроения на Украине, оставшиеся в наследство от Гитлера, — как не побоялся это сделать, по поручению Москвы, по свежим следам освобождения Украины, видный ближайший советник Сталина, Хрущов, когда объявил амнистию украинским шовинистам и гитлеровцам. Нет сомнения, что, выбрасывая антисемитскую карту в странах-сателлитах, Москва не прочь отвести недовольство населения в привычное антисемитское русло, превратив в козлов отпущения не только евреев вообще, но даже и евреев-коммунистов, в которых больше уже нет нужды. Словом, можно привести весьма много причин и мотивов, по которым пресловутая коммунистическая целесообразность сочла подходящим прибегнуть к антисемитизму.

К этим мотивам нужно добавить почти иррациональную привязанность умершего Сталина к подсказанной ему еще в молодые годы «теории» Ленина — о том, что евреи не нация, что они обречены на уничтожение, на ассимиляцию. Эти взгляды Ленина Сталин подхватил и «обосновал» в 1913 году. И сейчас именно, в послевоенный период, он счел момент подходящим для того, чтобы «теорию» осуществить. Правда, к этому времени как раз выяснилось, что евреи, и даже советские

евреи, осознали себя национальным коллективом; что этот рост национального сознания дал себя определенно знать даже среди евреев-коммунистов, лояльность которых, казалось, не вызывала сомнений; что возникновение государства Израиль окрылило многих из них и усилило в них чувство национального единства, сознание их принадлежности к единой мировой нации, — что, следовательно, «теория» Сталина полностью оказалась несостоятельной: евреи — нация, и этот факт весьма ярко свидетельствует о себе. «Тем хуже для евреев!» — со свойственным ему упрямством решил коммунистический диктатор, начав проводить в жизнь одну из своих национальных «теорий». Евреи — не нация. Они обречены ассимилироваться. Но если они упорствуют, если сопротивляются этой неизбежности, мы, коммунисты, поможем ускорить этот процесс, подтолкнем историю, заставим их уничтожиться... И надо со всей ясностью сказать, что политика Сталина в послевоенный период обернулась в антисемитизм — уже тогда, когда многие из нас, «ленивые и нелюбопытные», этого и не замечали.

Мы до сих пор исходили как бы из непререкаемости факта коммунистического антисемитизма. Между тем есть люди — и их немало в правом секторе русской эмиграции, — не только сомневающиеся в этом, но упорно утверждающие, что и Пражский процесс, и предстоящие другие процессы в странах сателлитах, и объявленное дело московских врачей, и всё, что до сих пор известно о чистках, — нисколько не говорит об антисемитском повороте Сталина и его присных. Ибо — говорят они — в конечном счете всё это только проявление внутренней борьбы среди коммунистов, схватка поедающих друг друга пауков в банке. Так пытаются оспорить самый факт антисемитизма люди, которые в душе своей навеки убеждены, что весь коммунизм — это в каком-то счете «еврейский заговор» и что евреи в своей массе находятся в странах коммунизма в более или менее привилегированном положении по сравнению с другими национальными группами.

Спорить с антисемитами справа можно только с фактами в руках, что мы и попытаемся сделать ниже. Но любопытно, что и среди евреев встречаются люди, с сомнением покачивающие головами по поводу толков о советском антисемитизме. Да, они согласны, что подбор обвиняемых на Пражском процессе — односторонний, с явным преобладанием евреев, даже с подчеркиванием еврейского момента. Но в основе своей это был процесс — не антиеврейский, не антисемитский, но — антисоциалистский. Кремль зол на Израиль, который с черной неблаго-

дарностью отказался войти в орбиту Кремля, отказался от роли проводника коммунистической политики на Среднем и Ближнем Востоке, — и он мстит Израилю, сионизму, американскому еврейству, в свою очередь не оправдавшему ожиданий, которые возлагал на него Кремль. Пражский процесс, согласно этой концепции, своим острием направлен против Америки и против Израиля.

Действительно, антиссионистский характер Пражского процесса бросался в глаза в первую очередь. Но самый сионизм во всей постановке процесса играл роль наиболее яркого выразителя «интернационального еврейского заговора», этого сейчас ставшего центральным, звена в антиамериканской пропаганде коммунизма. Борьба с этим мифическим «еврейским заговором», — этой коммунистически-фашистской вариацией «сионских мудрецов», — однако и в Праге покрывала собою борьбу с сионизмом, с Израилем. Да и сам Израиль, и весь сионизм там исчерпывался приписанной ему ролью агентуры американской и британской разведки. Тем не менее очень характерно, что маневренная потребность в том, чтобы, не отрицая антиссионистский характер Пражского процесса, поддерживать мысль об отсутствии в нем антисемитских тенденций, — проявляется и в коммунистическом лагере.

Мы хотели бы тут отметить недостаточно обратившую на себя внимание дипломатическую ноту Чехословацкого правительства, отправленную в Израиль (цитируем ее по «Правде» от 7 февраля), в которой сквозит желание притушить антисемитский характер процесса: «Упорные попытки американских военных поджигателей скрыть сущность пражского процесса и объяснить его, как проявление антисемитизма... обречены на провал... Антисемитизм, как расистская идеология и орудие политики... является для всей системы народной демократии абсолютно чуждым и неприемлемым. Однако совершенно ясно, что для буржуазного националистического сионизма, организации которого стали филиалом американской шпионской службы — нет и не будет места». То же отмежевание от антисемитизма, по сообщениям американской печати, следует видеть если не в прямых заявлениях Москвы, то хотя бы в факте демонстративных похорон у Кремлевской стены скончавшегося еврея-коммуниста и чекиста Мехлиса. В сущности, больше мы не обнаружили в коммунистической среде попыток учесть возмущение западного общественного мнения советским антисемитизмом, хотя бы в стиле маневренного заявления Чехословакии, и мы в какой то мере, действительно, должны признать,

что в Пражском процессе антисюионистские, антиизраильские тенденции звучали сильнее откровенно-антисемитских. И тем не менее, можно ли сказать, что новейшему курсу в отношении евреев присущ ограниченный характер, что объективности ради следует говорить об антисюионизме, а не об антисемитизме коммунистов?

Станным образом эти призывы к сдержанности в оценке еврейской политики коммунизма прозвучали и тогда, когда вакханалия антисемитских преследований ураганом прошла в Венгрии и Румынии и особенно в Восточной Германии, где гонения на евреев приняли совершенно откровенный нацистский характер, с применением инструкции гитлеровского времени и под руководством бывших деятелей Гестапо. Эта ограничительная квалификация коммунистического антисемитизма звучит еще более странно после опубликования официального сообщения Тасс'а от 13 января об аресте врачей-отравителей. По недосмотру ли ведомства Берии или по каким-либо другим причинам «ротозей» в этом сообщении ни словом не обмолвились о том, что врачи-отравители были сионистами, или находились в связи с сионизмом или Израилем, или что «Джойнт», — этот филиал американской разведки, — инфильтрирован сионистами.

Какой же это антисюионизм, когда о сионизме или Израиле даже не упоминается в сообщении от 13 января? Странно, что это обстоятельство не было замечено людьми, заинтересованными в том, чтобы ограничить радиус анти-еврейского действия — антисюионизмом. Надо сказать, что в Москве в отделе печати ротозейство Тасс'а было тотчас обнаружено, и во всех комментариях к сообщению подчеркивается сионистский характер Джойнта — «грязное лицо этой шпионской сионистской организации». Но всё же совершенно различную ценность и авторитетность имеют официальное сообщение советского правительства, с одной стороны, и писания казенных борзописцев — с другой. В этом случае отсутствие антисюионизма имеет тот смысл, что оно не только не скрадывает антиеврейские тенденции объявленного дела врачей, а наоборот, придает ему, и в подчеркнутом виде, откровенно-антисемитский характер. Сколько бы сейчас ни маневрировали в этом вопросе коммунисты, им ни в каком случае не удастся утаить тот факт, что их последняя по времени акция направлена не только против сионизма и против Израиля, но против еврейства вообще.

Впрочем, нужно ли сейчас приводить еще и доказательств? Нам кажется, что о советском антисемитизме накопилось

уже столько бесспорных фактов, что один их краткий перечень достаточен для любого непредубежденного человека. Советский послевоенный антисемитизм начинается не с пражского процесса и не с дела московских врачей. Дату его рождения надо отнести к осени 1948 года, и к числу его демиургов надо отнести не только Сталина с Маленковым и Хрущевым, но и Жданова. Все они в этом отношении одним мирром мазаны. Именно конец 1948 года и, оказался началом наступления власти на советских евреев. В чем же это выразилось? Каковы факты?

**
*

В конце 1948 года Сталин, в соответствии со своей «теорией» по еврейскому вопросу, решил приступить к проведению принудительной ассимиляции. Они, даже евреи-бюрократы и коммунисты, которым до того была поручена так называемая еврейская работа в СССР, — упорствовали, цеплялись за свой язык (идиш), школы, книжки. Сталин закрыл всю (весьма незначительную) коммунистическую печать на еврейском языке, закрыл издательства и типографии, прекратил издание книг, а в заключение арестовал и ликвидировал всех без исключения еврейских писателей, поэтов и культурных деятелей. Они исчезли бесследно, и вот уже скоро пять лет, как все запросы об их судьбе из-за границы остаются без ответа. Тогда же был закрыт Еврейский Антифашистский комитет, и все его деятели арестованы и ликвидированы, — в том числе делегат его в США в 1943 году, поэт И. Фефер; другой делегат, актер Михоэлс, повидимому, погиб несколько раньше при загадочных обстоятельствах; погиб и член комитета от «беспартийных», директор Боткинской больницы в Москве, доктор Шимелиович; последние два упомянуты среди американских шпионов в сообщении о врачах-отравителях 13 января. И в то же время, 21 сентября 1948 г., в «Правде» появилась статья Эренбурга, этого «фактора» при Сталине, твердо «обосновывающего», на базе сталинских «теорий», отказ поддержки Израиля и борьбу всерьез и надолго с сионизмом.

Так была проведена расправа со всеми национально-настроенными элементами еврейства, — большей частью лояльными к советскому режиму, часто даже коммунистами, но всё же сохранившими в душе какую-то привязанность к мировому еврейству, тягу к Израилю, любовь к ново-еврейскому языку и литературе. После этого наступила очередь евреев, денационализированных, ассимилированных в языковом, культурном и

бытовом отношении, — людей, чуждых еврейству и растворившихся целиком в русской, украинской или белорусской литературе, науке, искусстве, театре и т. д. Под видом борьбы с безродными космополитами, «беспачпортными бродягами», западниками и «низкопоклонниками перед иностранщиной», выходцами из местечек, перекликающимися с Нью Йорком и Тель-Авивом, — весной 1949 г. была проведена гнуснейшая травля, а затем и вытеснение из всех позиций многих сотен представителей еврейской интеллигенции. Одновременно проводилась и радикальная чистка от евреев советского дипломатического корпуса и генералитета. (В годы войны числилось до 100 генералов-евреев; все они исчезли бесследно).

Таковы факты раннего послевоенного антисемитизма. С каждым годом эта картина продолжала расширяться. В течение 1950-52 г.г. по всей советской печати прошли сотни статей и фельетонов с определенным антисемитским душком. Весьма искусно, как будто они прошли до революции хорошую школу в «Новом Времени» или даже в «Русском Знамени», — авторы этих статей стали усердно вылавливать отдельных провинившихся или проворовавшихся чиновников с нарочитым и умелым подчеркиванием их специфически еврейских имен, отчеств и фамилий, с, несомненно по заказу хозяев, предумышленным выделением якобы характерного для них стяжательства, сутяжничества и пр. Эта антисемитская пропаганда постепенно стала постоянной функцией советской печати.

Наряду с приведенными мероприятиями власти, направленными главным образом против интеллигенции, шла непрекращающаяся расправа и с широкими кругами еврейского населения. То и дело получались известия о массовых депортациях внутри СССР с западных окраин в Сибирь и на Дальний Север, а также из Польши, Венгрии и Румынии. В странах-сателлитах эти депортации часто являлись ответом на просьбы о визах в Израиль: сионисты, руководители общин (они там сохраняли кое-где полулегальные позиции) систематически подвергались преследованиям. Как раз незадолго до Пражского процесса были получены сведения о новой волне арестов в разных местах России и о высылке арестованных в Хабаровский край. 17 октября 1952 года Государственный Департамент через «Голос Америки» передал в эфир (почему то эти известия были переданы только через Украинский отдел) о массовых арестах врачей-евреев в Киеве, Харькове, Полтаве, Москве, Армении, Азербайджане, повинных в том, что они, с одной стороны, «анти-материалисты», «анти-павловцы», сторонники теорий профес-

сора Бернштейна и т. д., а с другой — в том, что оказывали помощь евреям, депортируемым из Западной Украины. Не был ли уже тогда арест врачей подготовительной мерой к предстоящему процессу врачей-террористов в Москве? Еще более сенсационно прозвучало сообщение того же Государственного Департамента о превращении Биробиджана — «Советской еврейской республики» — в концентрационный лагерь для евреев. Туда свозятся арестованные со всех концов страны и у берегов Амура заключаются в лагеря рабского труда. Сталин, наконец, разрешил на свой салтык национальную проблему, создав в Биробиджане концлагери по национальному признаку: одни для монголов, другие для китайцев, третьи для евреев.

Потом пришел Пражский процесс с его ярко выраженной антиссионистской тенденцией и не менее ярким антисемитским характером. Мы ограничимся только приведением резюме о процессе Сланского и других, сделанным Московским «Новым Временем» (№ 49 от 3 декабря 1952 г.), чтобы показать, как советская пропаганда подала этот процесс своим верноподанным. Вот как она это сделала:

«На процессе в Праге было неопровержимо доказано, что государство Израиль взяло на себя роль международного шпионского центра. В 1947 г. в Вашингтоне состоялось тайное совещание, в котором приняли участие Трюмэн, Эчисон, нынешний премьер-министр Израиля Бен-Гурион, бывший министр финансов США Моргентау. На этом совещании они договорились о так называемом «плане Моргентау-Эчисон» — о тех условиях, на которых Америка будет поддерживать государство Израиль. Одним из условий была шпионская деятельность этого государства в пользу американских империалистов. Вот почему Сланский расставил на руководящие посты в аппарате Центрального Комитета партии, в министерствах иностранных дел, внешней торговли, финансов и на других участках троцкистов, националистов и сионистов Геминдера, Фрейку, Лондона, Лебла, Фишла, Марголиуса, Шлинга и Гайду». Это была «теза» чешского Вышинского, прокурора Урбалека, и весь процесс — следствие, допросы обвиняемых, показания свидетелей — был разыгран как по нотам.

Не успело улечься бредовое впечатление от этого первого откровенно-антисемитского выступления коммунистов, как в советской печати появился ряд других, глухих, но тревожных сигналов. В некоторых городах прошли процессы чиновников с еврейскими именами, которые закончились расстрелами. По поводу преступлений, которые инкриминировались этим обви-

няемым, «Украинская Правда» писала: «Глубокую ненависть вызывают в народе все эти Каганы и Ярошевские, Гринштейны, Персесы, Капланы и Поляковы». А после этого пришло сообщение о группе врачей-отравителей в Москве, которое всколыхнуло весь западный мир не столько своей неожиданностью, сколько попыткой изобразить этих врачей, среди которых большинство евреев, не только в качестве шпионов, изменников, диверсантов, агентов «Джойнта» (в свою очередь — филиала американской разведки), но и в качестве убийц Жданова и Щербакова, в качестве террористов, пытавшихся убить также ряд маршалов, генералов и адмиралов, то есть, в качестве людей, активно вмешавшихся в ту борьбу за власть, которая раздирает сейчас на части руководство мирового коммунизма. Приведем ту часть официального сообщения, которая носит откровенно-выраженный антисемитский характер. Вот она текстуально:

«Большинство участников террористической группы (Вовси, М., Коган, Б., Фельдман, А., Гринштейн, А., Этингер, Я. и др.) были связаны с международной еврейской буржуазно-националистической организацией «Джойнт», созданной американской разведкой, якобы для оказания материальной помощи евреям в других странах. На самом же деле эта организация проводит под руководством американской разведки широкую шпионскую террористическую и иную подрывную деятельность... Арестованный Вовси заявил следователю, что он получил директиву «об истреблении руководящих кадров СССР» из США от организации «Джойнт» через врача в Москве Шимелиовича и известного буржуазного еврейского националиста Михоэлса».

В более или менее однообразных комментариях советской печати подчеркивался также сионистский характер «Джойнта», как мы уже отмечали. Более того, «Правда» (13 января) писала: «разоблачение шайки врачей-отравителей является ударом по международной еврейской сионистской организации». И «Труд» (17 января) писал: «Сионизм стал инструментом американско-английских поджигателей войны... Монополисты США широко используют в своих грязных целях еврейские сионистские организации, в том числе международную еврейскую буржуазно-националистическую организацию «Джойнт»... Вредители и убийцы из «Джойнта» развернули свою преступную деятельность в нашей стране». В этой бесстыдной пропагандной акции коммунисты по обыкновению создают амальгаму партий, групп, организаций. В последнее время вспомнили и о еврейских социалистах из Бунда, которые уже давно расстре-

ляны, и о... нэпманах, под которыми надо понимать евреев. (См. «Коммунист» за январь). В эту амальгаму входят таким образом сионисты и бундисты, еврейские капиталисты и еврейские коммунисты, националисты всех видов и космополиты и, конечно, троцкисты и титоисты. Разумеется, Москва не выбросила лозунга истребления всех евреев, не устраивает погромов, не пишет антисемитских программ. Но кто сомневается, что генштаб коммунизма делает свое каиново, свое гитлеровское дело, тот сознательно хочет вести политику страуса.

Нападкам на «Джойнт» газеты за январь и февраль уделяли особое внимание. В «Литературной Газете» (24 января) появилась переданная по телеграфу из Лондона статья коммуниста Дерека Картэна «Факты о Джойнте», в которой сообщаются «факты» о диверсионной работе в Венгрии директора «Джойнта» сиониста Якобсона, о его связях с кардиналом Миндсенти и т. д., дается характеристика сенатора Лимэна и Моргентау, как «бизнесменов» и «реакционеров», а «Джойнту» вменяется в вину и то, что в годы голода 1920-21 г.г. он сотрудничал с гуманитарной организацией АРА в России, руководимой Хувером. В «Труде» (15 февраля) под заглавием «Сионистская агентура доллара» напечатана обширная статья о «Джойнте», в которой разобрать, что относится к сионистам, а что к «Джойнту» никак невозможно. «Джойнт» объединяет «многочисленные буржуазно-националистические еврейские организации» на основе «холопского служения доллару», а «базой объединения является реакционное буржуазно-националистическое течение — сионизм». Разумеется, всё находится на откупу у Волл-стрит: «Волл-стрит, среди заправил которого имеется влиятельная группа сионистов, сумел за полтора-два десятилетия оптом перекупить все сионистские организации». Но не только буржуазные элементы сионизма продались Волл-стриту и американской разведке. «Подлую роль американских агентов играют не только правители Израиля, но и сионистские главари профсоюзного объединения Гистадрута». Все эти отвратительные глупости писались уже после разрыва дипломатических отношений с Израилем. Тон «Правды» (14 февраля) говорит сам за себя. «Свора взбесившихся псов из Тель-Авива омерзительна и гнусна в своей жажде крови», — истекает Москва гневом и возмущением, и тут же добавляет: какой неблагодарностью отплатили люди коммунистам, «невзирая на то, что именно Советский Союз, разгромив гитлеровскую Германию, спас еврейский народ от истребления».

В Израиле после разрыва с СССР возникла паника. Заго-

ворили о близости грозных событий, о войне могущественной Советской империи с миниатюрным Израилем, о третьей мировой войне и т. д. Отнесемся к вопросу спокойнее. Вряд ли советский антисюицизм или антисемитизм послужит фитилем к пороховой бочке новой войны. Но есть основание опасаться, что разрыв отношений с Израилем усилит, удесятерит размах, удары, агрессию коммунистического антисемитизма. Наследники Сталина используют этот момент для того, чтобы в своей отвратительной практике, в своей чудовишной пропаганде еще сильнее прижать евреев, очутившихся в лапах коммунизма.

Вот о трагической судьбе двух с половиной миллионов евреев в СССР и в Восточной Европе сейчас надо думать и надо звать на помощь, мобилизуя всё сочувствие мировой демократии к еврейству за железным занавесом, к этой очередной жертве советского геноцида.

Григорий Аронсон

ТРЕТИЙ ИСХОД

*Настоящая статья покойного Н. А. Бердяева
прислана в «Новый Журнал» издательством
УМСА-Press, Paris, и печатается с разрешения
издательства. РЕД.*

Никогда еще не было такой путаницы и такой мути, как в нашу эпоху. Люди окутаны ложью. И они часто ориентируются в происходящем случайно, по впечатлениям сегодняшнего дня. И всем импонирует сила, которая бывает иллюзорной. Постоянно приходится слышать марксистские фразы от людей, которые понятия не имеют о марксизме. Люди нашего времени так мало имеют воображения, что не представляют себе возможности чего-либо кроме капитализма или марксизма. Больше всего нужно сказать, что люди живут под властью фатума, фатума войны, фатума революции, фатума фашизма. И мало кто думает, что будущее зависит и от человеческой свободы. Люди, не имеющие никакой любви к коммунизму, считают коммунизм фатальной неизбежностью, ненавидящие войну считают войну столь же неизбежной. Одни не понимают происходящих процессов и готовы думать, что мир кончается, потому что кончается строй жизни, к которому они привыкли и который они любили. Другие приспособляются, считая коммунизм неотвратимым, и готовы механически соединять его с христианством и с другим мирозерцанием, повторяя вместе с тем марксистские общие места. В отношении к будущему люди нашей эпохи обнаруживают очень мало творческой фантазии. Растерянность, слабость, отсутствие внутренней свободы у современных людей в значительной степени зависит от того, что наша эпоха стоит под знаком фатума двух мировых войн. В истории наряду с человеческой свободой действует и фатум. И в иные часы истории фатум бывает сильнее свободы. Так особенно бывает в войнах и революциях. Человеческая

свобода, свобода народов никогда бы не создала двух мировых войн. Они были порождением фатума, который ударил вследствие слабости творческих духовных сил человеческих обществ. И социализм нашего времени в значительной степени есть порождение фатума двух мировых войн. Отсюда эстатический характер социализма.

Мир с большой легкостью делят сейчас на две части — коммунизм и капиталистическое окружение, Советская Россия и Америка. Повторяют фразы, ставшие привычными об этом делении, уготовляющем войну. Не имеют силы сопротивляться лжи этого деления мира. Это военное деление на два лагеря есть прежде всего выдумка марксистов-коммунистов. Коммунисты постоянно утверждают, что всякий некоммунист, всякий, кто частично критикует их, тем самым фашист, реакционер, прислужник капитализма и даже подкуплен американскими трестами. В Советской России только и говорят о «капиталистическом окружении», ждут войны со стороны западных империалистов. Коммунистам свойственна настоящая мания преследования и она-то и порождает деление мира на две части. Вражда западных государств очень способствовала возникновению этой мании, но одержимый манией преследования обыкновенно сам начинает преследовать. То же мы видим и на обратной стороне. В действительности делящий мир на две части вращается в абстракциях. Марксистская доктрина очень способствует этому вращению в абстракциях. Идеологи капитализма сами не замечают, что они являются марксистами с обратным знаком. В конкретной действительности мир совсем не делится на две части, он безмерно сложнее, в нем всё индивидуализировано. Америка, капиталистическое окружение, есть абстракция, в значительной степени выдуманная как тактика борьбы. В Америке действительно есть кучка капиталистов, которая хотела бы бросить на Россию атомную бомбу. Но американский народ совсем не хочет войны, и его трудно будет к ней принудить. «Капиталистическое окружение» заключает в себе долю реальности, но в целом это есть абстракция, порожденная манией преследования и марксистской доктриной. Это основано на предположении, что если в экономике какой-нибудь страны режим капиталистический, то им порождается вся «надстройка», т. е. делаются капиталистическими религия, философия, наука, мораль, литература, искусство и пр. Это продукт тоталитарного мышления, для которого экономическая основа, как перво-реальность, порождает идеологическую надстройку. Но всё

это падает, если не видеть истины в экономическом или диалектическом материализме, который теперь повторяют люди, ничего общего с марксизмом не имеющие. Советская Россия тоже есть абстракция. Россия совсем не покрывается коммунизмом. Жизнь русского народа, которую плохо знают, гораздо сложнее и индивидуализированнее, чем абстракция, созданная марксистской доктриной. Можно поражаться, что люди соглашаются жить в абстракциях, созданных маниакальными идеями и патологическими комплексами. На почве абстрактного и маниакального деления людей на две части в России создалась вражда и даже ненависть к Западу вообще. Всё более усиливается изоляция и самодовольство, вырабатывается абстрактный советско-коммунистический национализм. Войны никто не хочет, войны боятся. Но всё, углубляющее деление мира на две части, укрепляет психологию войны, психоз войны. К этому приводит опыт осуществления коммунизма в одной стране. Западная вражда к Советской России поддерживает эту изоляцию и мешает развитию свободы в России.

Люди и народы так устроены, что когда они несчастны, то они ищут виновников своих несчастий, козла отпущения. Когда они найдут врага, на которого возлагают ответственность за все несчастья и страдания, то неизвестно почему они начинают себя чувствовать лучше и получают утешение. Дикари начинают бить неодушевленные предметы, считая их виновниками своих страданий. Мы недалеко ушли от дикарей. В малом и великом мы ищем виновника, которого надо принести в жертву для облегчения наших страданий. Для нахождения козла отпущения человек создает разнообразные мифы. Самый крайний рационализм не мешает созданию мифов. Самый рационализм есть один из мифов. Первоисточники зла и страдания бывали очень разнообразны: жидо-масоны, большевики, в прошлом иезуиты, директивы коммунизма или директивы капитализма, Советская Россия или капиталистическая Америка и многое другое... За некоторыми из козлов отпущения скрыты некоторые реальности, но эти реальности не так грандиозны и всеобъемлющи, как в создаваемых мифах. Реальность всегда сложнее, многообразней, индивидуализированней. Но этого как раз не выносит страдающий человек и в особенности он не выносит сознавать себя в чем-нибудь виновным. Между тем как действительность, давшая повод созданию мифов, в значительной степени находится в нем самом, в каждом из нас. Процесс абстрагирования от сложной и индивидуализированной действительности совершается, чтобы не быть по-

давленным многообразием и прикрыть свою неспособность к индивидуализированным суждениям. Это имеет прагматическое значение. При некотором воображении, не непременно талантливым, часто даже бездарном, создается миф. Из реального опыта страдания и унижения рабочего класса Маркс создал талантливый, даже гениальный миф о мессианском призвании пролетариата. Маркс был замечательным ученым экономистом, он многое открыл в этой области, но он также был мифотворцем и мессианистом. Мессианский миф о пролетариате начал играть огромную роль, стал очень динамическим в странах, в которых почти не было пролетариата и капиталистической индустрии. В экономически отсталой, крестьянской России водворилась не диктатура пролетариата, она было бы невозможна, а диктатура идеи пролетариата. Во имя идеи пролетариата можно даже расстреливать реальных, эмпирических рабочих. Руссификация марксизма привела к тому выводу, что коммунистическая революция должна происходить вопреки Марксу не в индустриализированных странах с сильным пролетариатом, а в странах отсталых, аграрных, с подавляющим преобладанием крестьянства¹. Это одна из причин образования восточного блока. Маркс считал крестьянство реакционным классом, но его переделали в революционный класс. Коммунистическая революция произойдет не в Америке, не в Англии, а в Сербии, в Болгарии, Румынии, Венгрии, может быть в Индии и Китае. Таким образом марксизм совершенно опрокинут. Передовые капиталистические страны запада превратились в реакционное капиталистическое окружение. Замечательней всего, что абстракции и мифы стали настоящей действительностью и гораздо активнее, чем то, что трезвые люди воспринимали как реальность. Это только показывает, насколько щатко понятие о реальности. Нужно ведь признать, что пролетариат в марксовском смысле в действительности не существует. Мировые войны и русская революция показали, что интернациональный пролетариат совсем не есть эмпирическая реальность. Существуют разнообразные группировки рабочих. Американские рабочие, которых тоже эксплуатируют, не имеют пролетарского сознания и нисколько не походят на марксовский пролетариат. Английские рабочие имеют рабочее сознание и объединены для защиты своих интересов, но они отличаются от европейских рабочих и совсем не походят

¹ В этом отношении совершенно замечательна книга Сталина «Вопросы Ленинизма».

на идею пролетариата. В России до революции был очень малочисленный пролетариат, а после революции он исчез совершенно: в коммунистической стране не может быть такого униженного класса, как пролетариат, и коммунизм создан у нас совсем не через возрастание могущества пролетариата. Рабочие реально существуют, существуют их унижение и страдание, их борьба, и необходимо изменение их положения. Но марксовский пролетариат есть абстракция, превращенная в динамический миф. Капитализм реально существует в экономической жизни Запада, он разлагается и должен исчезнуть. Но не существует реальной, единой капиталистической цивилизации западных стран. Не всё на Западе определяется экономикой. В России же экономика в значительной степени определяется идеологией. Марксизму свойственен реализм понятий в платоновском и средневековом смысле, хотя это и не сознается. Поэтому для марксизма класс реальнее человека. Общее реальнее индивидуального. Действительное различие между Россией и Западом определяется совсем не марксистскими абстракциями. Россия действительно самая не буржуазная страна в мире, и русский народ самый коммунотарный из народов. Это всегда говорили русские писатели и мыслители XIX века. Россия никогда не была буржуазной страной в духовном смысле этого слова и есть опасность, чтобы она не стала буржуазной в коммунистическом строе. В России никогда не было сильно выраженного буржуазного сознания. С этим антибуржуазным и антикапиталистическим характером России, не коммунистической только, но и вообще России, связана миссия русского народа в мире, которая часто искажается и плохо защищается Советами перед западным миром. Настоящее сознание и осуществление этой русской миссии должно было бы вести не к непомерному усилению государств, не к двум блокам и войне, а к единству человечества, к федерации и братству народов. Но подлинно русский, человеческий и всечеловеческий, голос не слышен в международной политике.

Коммунизм нанес тяжелый удар социалистическим партиям Европы, оторвав от них значительную часть рабочих. У социалистов, у социал-демократов нет вдохновения и способности вдохновлять. Социалисты слишком поглощены парламентскими комбинациями, договорами партий, они стали деловыми людьми парламентской демократии, часто бывали у власти и мало делали для действительного осуществления социализма. Социализм стал очень прозаическим, социалистические газеты очень скучны. Социалисты совсем не вдохновлены созданием нового

мира, непохожего на мир буржуазный, в этом коммунисты имеют явное преимущество. Слабость социалистов-демократов в том, что они доктринеры демократии. Ими владеет не столько социалистический миф о миссии пролетариата, сколько демократический миф о суверенности народа. Они продолжают верить, что если социалисты получают подавляющее большинство в парламенте, то социализм осуществится. Так поняли марксизм немецкие социал-демократы. Синдикальный социализм, единственно реальный, оттеснен на второй план. Наиболее всё-таки связан с рабочими массами английский лейбористский социализм. Но он тоже очень прозаически-деловой и не имеет вдохновляющей мессианской идеи. Достаточно известно и выяснено, что буржуазная демократия, в которую инкорпорированы и социалисты, понимает свободу формально. Огромные трудящиеся массы лишены возможности реализовать свою свободу. Отсюда, казалось бы, нужно сделать вывод, что необходимо перейти от формальной свободы к реальной свободе. Коммунисты сделали другой вывод: из вражды к формальной свободе они решили свободу уничтожить совсем. В этом социалисты имели бы огромное преимущество, если бы они осуществляли реальную свободу для огромной части народа. Несмотря на слабость социалистических партий, нужно признать принципиальные преимущества социализма перед коммунизмом. Эти преимущества следующие. Прежде всего социализм не требует тоталитарного мирозерцания. Он есть социальная система, которая может быть соединима с разными философскими мирозерцаниями и религиозными верованиями. Социализм не считает все средства дозволенными для осуществления своих целей. Не предполагает достигнуть социалистического общества, расстреляв и посадив в концентрационные лагеря большое количество людей. Это несомненное моральное преимущество. Социализм в принципе хотел бы сохранить наиболее важные свободы человека. Наконец, по своей цели социализм хочет социализировать и национализировать хозяйственную жизнь, но не стремится коллективизировать всю личную жизнь человека, соглашаясь оставить что-нибудь и для него самого. Между социализмом и коммунизмом есть разница в степени прямого насилия. Коммунизм есть авторитарный, государственный и военный социализм. Социализм должен был бы быть синдикальным, не допускающим безмерного расширения государства, независимым от методов, заимствованных от войны. Но все эти преимущества сведутся почти к нулю, если социализм не будет вдохновлен великой

идеей создания нового общества, новых отношений людей. Такой идеей может быть только религиозная идея. И потому сильным и динамическим мог бы быть только религиозный социализм, если бы в мире началось духовное движение.

Советская Россия, русский коммунизм ставят перед западным христианским миром великую задачу, не разрешенную и даже не поставленную как следует христианством. Нет ничего более жалкого, чем попытки подпирать христианством умиравший, буржуазный капиталистический мир. Социалисты слабы, потому что они скептики, часто материалисты или позитивисты, и утверждают ослабленный и разжиженный коммунизм, вместо того, чтобы противопоставлять иные, не менее радикальные принципы.

Чтобы найти выход из создавшегося невыносимого положения, необходимо прежде всего очищение нравственной атмосферы. Очищение будет прежде всего и во всем провозглашением истины, вместо условной полезной лжи, от которой мы погибаем.

Что в Советской России нет никакой свободы, есть истина, которую нечего (и нельзя) скрывать. Что те, которые призваны защищать Россию, не находят голоса русской всечеловечности и говорят голосом интересов и тактики, которая кажется им полезной, есть тоже истина. Но истина и то, что Запад часто лживо защищает свободу, прикрывая ею свои интересы, и своей враждой не только к Советской России, но и к России вообще мешает развитию свободы в России. Важно и то, что так называемые либеральные демократии перестают существовать и заменяются диктатурами для борьбы с коммунизмом.

Все виновны и должны сознать свою вину. Никто не достоин появляться в чистых, белых одеждах. Деление западного и восточного мира, западного и восточного блока не может быть делением на царство света и царство тьмы, царство Добра и царство Зла. Лучше было бы обратить внимание на то, что в каждом из нас есть свет и тьма, добро и зло. Деление мира на две части метафизически есть уготовление ада для одной части мира, это своеобразная секуляризованная форма манихейства, часто свойственная революционерам, которым кажется, что они окружены заговорами Аримана. Это не значит, конечно, что Ариман совершенно не действует, — он действует, но не в таких мифологических формах.

Федерация народов, которая была бы федерацией капиталистических государств, и невозможна, и нежеланна. И никакая федерация невозможна без участия России. По перевернутому марксизму, превращенному в сталинизм, коммунизм или хотя бы социализм может осуществляться лишь в отсталых крестьянских, аграрных странах, а не в странах с развитой индустрией и сильным пролетариатом, как думал Маркс. По перевернутому марксизму передовые индустриальные страны, с развитой буржуазией и с развитым рабочим классом, обречены быть реакционными. Восточный блок оказался блоком отсталых аграрных стран против Запада, при большой вине самого Запада. В этих странах Востока коммунизм насаждается сверху, в них может осуществляться диктатура пролетариата даже при полном отсутствии пролетариата. Маркс, как было сказано, считал крестьянство реакционным классом, терпеть не мог Россию и славянство, считая их источниками реакции. Он скорее допустил бы возможность восточного блока, как реакционного, а западного, как прогрессивного. Русский коммунизм в сущности вернулся к революционному народничеству. Маркс ошибался в своей абстрактной диалектике, как впрочем ошибается и сталинизм. Вопрос сложнее, если не стоять на точке зрения абстракций и мифов.

Европейская федерация народов будет возможна лишь в том случае, если мир станет социалистическим, говорю социалистическим, а не коммунистическим. Тогда реальная почва для восточного блока исчезнет. Слово «капиталистическое окружение» потеряет смысл, исчезнет почва и для западного блока, который сейчас поддерживается интересами американского капитализма. Настоящее примирение Востока и Запада невозможно ни на почве материалистического коммунизма, ни на почве столь же материалистического капитализма. Победа над ложным и угрожающим делением мира на две части и на два блока возможна лишь при радикальном, духовном и социальном, изменении человеческих обществ, и за это нужно бороться. Это и есть третья сила, третий исход. Условно я называю это религиозным социализмом, социализмом, получившим духовную основу. Это есть победа, моральная победа над старым буржуазным миром, которому подражает материалистический коммунизм. Менее всего такая ориентация в мировых событиях должна быть антисоветской и она ни в чем не должна походить на антикоммунистический блок. Наоборот, она должна признать и правду коммунизма, должна признать, что Советская Россия ставит великий вопрос перед миром. Критика

коммунизма и марксизма не означает вражды к Советской России².

Судьба России особенная и русский народ — особенный народ. В странах Запада вряд ли может быть коммунизм русского типа и совсем не нужно этого желать. Но страны эти должны по своему преодолеть капитализм. Без этого все их нападения на Советскую Россию не убедительны и лишены нравственного оправдания. Необходимо разоблачать ту ложь, что капитализм есть защита свободы и единственная защита. Свобода здесь отождествлена с эгоизмом, корыстью и наживой. Капиталистический режим всегда был неблагоприятен для личности. И очень печально, что русский коммунизм поддерживает эту ложную идею связи свободы личности с капитализмом. Существует русская идея, которая всегда была универсальной и говорила о русском призвании в мире. Русская идея вошла в коммунизм, но была деформирована, искажена и связана с ложным духом, с соблазном, которому подвергся русский народ. Свободная коммюнитарность, свойственная русскому народу, была смешана с принудительным коллективизмом. Официальные выражения Советской России в коммунистической печати и в действиях власти не должны быть признаны выражением глубинных процессов, происходящих в русском народе. Западу следовало бы помнить, что Россия страшными жертвами спасла Европу от рабства и что русский народ первый сделал социальный опыт, необычайный по смелости, и поставил новую тему для всего мира. Пусть он иногда ошибается, но это лучше, чем ничего не делать и оставаться в самодовольстве.

Тех, которые отказываются примкнуть к одному из двух блоков, обыкновенно обвиняют в том, что они сидят между двух стульев. Эта банальная острота основана на предположении, что в мире существует лишь два стула. Но может быть третий стул, на котором я могу твердо сидеть. Аргумент основан на том, что нет выхода из деления мира на две части.

Это в сущности означает неизбежность войны. Есть еще одно основание для образования третьего фронта и самое важное. Это есть образование мирового фронта любви к истине и готовности во что бы то ни стало провозглашать истину. Истину сейчас не любят. Ее давно уже заменили пользой и интересом. Оба фронта, на которые распадается мир, очень мало интересуются истиной и готовы ее исказить во имя

² Для меня лично этот вопрос осложняется тем, что Советская Россия моя родина и я хотел бы ее защищать.

пользы и интереса. Это не мешает мне думать, что советская власть часто бывает права в своих требованиях, но самое искажение истины признается долгом. Это связано с моральным вопросом о средствах и целях, который выходит за пределы этой статьи. Считается, что ложь может быть признана священной и этой лжи требуют от тех, которых принуждают выбрать между двумя блоками. Мы живем в настоящем гипнозе и мало кто способен к суждению пробужденного сознания. Это пробуждение сознания есть первое, чего нужно достигнуть. Нужно сознать, что есть только один вопрос, от которого зависит всё, — вопрос войны. Войны никто не хочет и нужно отрицать всеми силами, что война будет. Нужно бороться с психозом войны. Но если война случится, то она случится в бессознательном, сновидческом состоянии, под влиянием кошмаров, порожденных ложными идеями-мифами. Людей путает то, что иллюзорное начинает им казаться наиболее действительным. Очищение от этой иллюзорности — наш первый долг. И есть еще один гипноз, в котором живут люди — гипноз государства и власти как верховной силы в судьбе народов. Это есть величайшая ложь. Государства и правительства так же разложились, как разложился весь старый мир. И новый мир, образовавшийся в России, принял эту старую разложившуюся форму. Замирение и соединение мира не может произойти через государства и правительства, оно может произойти только через головы представителей государственной власти и по ту сторону их, произойти через реальные социальные и духовные силы народов.

1948 год.

Николай Бердяев

КОММЕНТАРИИ

В поисках «третьего исхода» (о статье Н. А. Бердяева)

Всё что писал покойный Н. А. Бердяев носит на себе печать его своеобразной творческой индивидуальности и уже по тому одному останавливает на себе внимание. Бердяев оставил заметный след не только в русской, но и в западной мысли нашего времени и, как-бы ни расценивать его идеи, не считаться с ними нельзя. Это относится и к той его статье, написанной им незадолго до смерти, которая напечатана в настоящей книге «Нового Журнала». Она проникнута характерным для Бердяева моральным пафосом, ставит большие и насущно-важные проблемы и отличается тем же бесстрашием в высказывании непопулярных, «бунтовщических» мыслей, что и другие его писания. Но в такой же мере, как эти другие писания, она не свободна от противоречий и заключает в себе мысли, которые нельзя назвать иначе как «соблазнительными». Поэтому мои комментарии к статье Н. А. Бердяева неизбежно примут несколько полемическую форму. Думаю, что сам Н. А. Бердяев ничего против этого не имел бы. Собственное его литературное творчество почти всегда носило полемический «воинственный» характер. Недаром он сравнивал себя с «феодалом, сидящим в своем замке и отстреливающимся»!

Н. А. Бердяев начинает с протеста против легкости, с которой мир сейчас делят на две части — «коммунизм и капиталистическое окружение, Советская Россия и Америка». Оставляю пока в стороне самую формулировку этого разделения — об этом я скажу ниже. Сейчас меня интересует то, как Бердяев объясняет возникновение этого деления мира на две части. Он признает, что это «есть прежде всего выдумка марксистов-коммунистов». Но тут же он добавляет, что «вражда западных государств очень способствовала возникновению этой мании» и что эта западная вражда к Советской России поддерживает изоляцию последней и даже «мешает развитию свободы в России». Это первый пример того, как Бердяев ведет свое рассуждение в некоторой отвлеченности от реальной исторической действительности. Прежде всего, едва ли можно признать фактически верным самое утверждение о легкости, с

которой Запад, якобы, примирился с разделением мира на две части. Всё, что мы знаем из уже опубликованных документальных данных, доказывает как раз обратное: в первые послевоенные годы западные государственные деятели прилагали все усилия к тому, чтобы этого разделения избежать. Если в чем можно обвинять западных дипломатов, то скорее в том, что они сделали слишком много уступок советской агрессии. Понадобились повторные и все более угрожающие акты этой агрессии, чтобы побудить Запад принять более твердую политику: это может быть доказано простым перечислением международных политических событий в их хронологической последовательности. Не было в первые годы после войны общераспространенной вражды к Советской России и в западном общественном мнении. Напротив, иллюзии, порожденные во время войны, рассеивались медленно, а во многих западных кругах они не изжиты еще и до сих пор.

С другой стороны «миф капиталистического окружения», о котором говорит Бердяев, был составной частью официальной доктрины большевизма и одним из основных мотивов большевистской пропаганды с самого начала советского режима. Этот миф был нужен советской власти — и продолжает быть ей нужен — для оправдания террористической политики внутри страны и агрессивной политики за ее пределами. Он неразрывно связан с самой природой советской власти и с теми конечными целями, которые она себе ставит. Она никогда от пользования этим мифом не откажется, независимо от того, какую бы политику не вели по отношению к ней западные державы. Изоляция советского режима есть разительный пример преднамеренной самоизоляции.

Трудно понять поэтому, как Н. А. Бердяев мог поставить враждебность советского режима к западному миру и то, что он называет «западной враждой не только к Советской России, но и к России вообще» — на одну доску. Трудно тем более, что, когда он писал свою статью, «восточный блок» был уже реальностью, а о «западном блоке» можно было говорить только как о намеченной к исполнению программе. С тех пор прошло пять лет, а задача подлинного объединения западных стран всё еще не разрешена. Казалось бы, не может быть никакого сомнения насчет того, откуда шла и продолжает идти инициатива разделения мира на две части!

Изображенная Н. А. Бердяевым картина становится еще менее правдоподобной, когда он в той же связи начинает

говорить уже не о советской власти, а о русском народе. Он повторяет здесь не раз выраженное им убеждение, что русский народ — самый «коммунотарный» из народов мира. «Коммунотарный», конечно, не значит коммунистический, но всё же для Бердяева между «коммунотарностью» и коммунизмом есть некая органическая связь. По его толкованию большевики исказили «антибуржуазный и антикапиталистический характер России», с которым связана миссия русского народа в мире. Здесь можно прежде всего усомниться в правильности бердяевского определения «русского характера». У творцов советского режима на этот счет особых иллюзий как будто не было, а если в начале и были, то рассеялись они довольно быстро. В 1921 году Ленин был вынужден пойти на уступки «буржуазным» и «капиталистическим» инстинктам русского крестьянства и, по свидетельству многих советских эмигрантов, эпоха нэпа осталась в народной памяти, как своего рода «золотой век» советского периода. В созданных нэпом условиях тяга к «буржуазности» стала проявляться с такой силой, что большевистские вожди увидели в ней угрозу самому существованию коммунистической власти. Ленину принадлежит замечательное по своей откровенности признание, что пока существуют миллионы мелких крестьянских хозяйств, в России будет почва более благоприятная для капитализма, чем для коммунизма. Сталин сделал эту мысль своей и неоднократно повторял ее в защиту плана коллективизации. Все предыдущие попытки убедить крестьян добровольно перейти к коллективному хозяйству дали ничтожные результаты. Понадобилась поэтому грандиозная принудительная акция всего государственного аппарата, чтобы насильственно вогнать крестьянство в колхозы. Станным звучит поэтому утверждение Бердяева, что «русский народ первый сделал социальный опыт необычайной смелости». Не правильнее ли было бы сказать, что опыт этот был проделан не ад русским народом? И как будто уже совсем нет данных для того, чтобы усмотреть в русском народе особую готовность к выполнению предназначенной для него миссии — распространения «антибуржуазных» и «антикапиталистических» начал в мире.

В противоположность коммунизму, сильному своим мессианством, западный демократический социализм представляется Н. А. Бердяеву слишком «прозаическим». Правда, он признает за последним некоторые преимущества перед коммунизмом — в том числе и то, что в отличие от коммунизма социа-

лизм этот не требует тоталитарного мировоззрения. В то же время, однако, Бердяев видит главный источник слабости западного социализма в отсутствии у него «вдохновляющей мессианской идеи». Думается, что в этих высказываниях есть внутреннее противоречие. Где и как провести границу между национальным или социально-политическим мессианством, с одной стороны, и тоталитарным мировоззрением, с другой? Если не логически, то во всяком случае психологически, мессианство почти неизбежно развивается в сторону тоталитарного миросозерцания и можно было бы привести не один исторический пример этой роковой эволюции. Продолжая свое рассуждение, Н. А. Бердяев упрекает западных социалистов еще и в том, что, подобно буржуазной демократии, они понимают свободу формально. По утверждению Бердяева, в западной демократии «огромные трудящиеся массы лишены возможности реализовать свою свободу», и потому для запада «необходимо перейти от формальной свободы к реальной». Не буду повторять того, что я уже писал в другой связи о двусмысленности термина «формальный», как он употребляется критиками западной демократии*. Независимо от каких бы то ни было теоретических соображений, я готов оспаривать фактическую точность заявлений Н. А. Бердяева. Неверно, что трудящиеся массы Запада совсем «лишены возможности реализовать свою свободу», как неверно и то, что Западу еще только предстоит начать переходить от формальной свободы к реальной. На всем протяжении девятнадцатого века и вплоть до катастрофического обвала, вызванного первой мировой войной, почти во всех западных странах происходил неуклонный рост как свободы формальной (т. е. демократии политической), так и свободы реальной (т. е. демократии социальной). И уже, конечно, никакого преимущества на стороне коммунистов в этом отношении нет, так как они, по признанию самого Бердяева, уничтожили свободу совсем — как формальную, так и реальную.

Н. А. Бердяев отрицает законность изображения борьбы между западным и восточным блоками, как «борьбы между царством Добра и царством Зла». В том абсолютном смысле, который придает этому противопоставлению Бердяев, пишущий «добро» и «зло» с большой буквы, так изображать происходящую в мире борьбу, может быть и нельзя. Можно вообще спорить о том, бывает ли в человеческой истории полное воплощение метафизических начал добра и зла. Но никак

* См. мои «Комментарии» в кн. 29-й «Нового Журнала».

нельзя отказаться от нравственной оценки борющихся в мире противоположных сил, и не только можно, но и должно утверждать н р а в с т в е н н о е превосходство тех культурных, политических и социальных начал, которые, при всех своих несовершенствах, представляют сейчас свободные страны Запада, над тем, что неизбежно несет с собою коммунистическая деспотия. Бердяев как будто отказывается признать это превосходство, рассматривая происходящую в мире борьбу, как столкновение между коммунизмом и капитализмом — двумя началами, одинаково для него неприемлемыми. Отсюда он делает даже некоторые политические выводы. «Федерация капиталистических государств» представляется ему и невозможной и нежелательной. «Европейская федерация народов — говорит он — будет возможна лишь в том случае, если мир станет социалистическим». Тогда исчезнет почва и для восточного блока (так как не будет больше «капиталистического окружения»), и для западного (так как он поддерживается сейчас «интересами американского капитализма»).

Это рассуждение целиком построено на несоответствующих реальности предпосылках. В утверждении, что западный блок поддерживается только интересами американского капитализма, едва ли много больше истины, чем в отвергаемом Бердяевым утверждении коммунистов, будто бы «всякий некоммунист... подкуплен американскими трестами». В той мере, в какой западный блок сейчас существует, он поддерживается сознанием общей опасности, угрожающей национальной независимости западных стран, их культурной самобытности и свободе. Если бы эти страны стали социалистическими, они от этой опасности ни в какой мере не избавились бы. Для тоталитарного коммунистического режима, ведущего против них борьбу, воцарение в этих странах демократического социализма — или того религиозного социализма, о котором мечтает Бердяев, — было бы столь же нежелательным как и «капиталистическая» демократия. Этот режим продолжал бы борьбу с Западом, в своей пропаганде изображая западный социализм как простую маскировку всё того же «капиталистического окружения». Не знаю также, какие есть основания для того, чтобы предполагать, что народная вражда к Западу в России и в других странах Восточной Европы — в той мере, в какой она вообще существует — основана на отталкивании от капитализма и потому рассеется как только западный мир станет социалистическим.

То, что Н. А. Бердяев ведет свои рассуждения безотносительно к историческим реальностям вытекает, я думаю, из особенностей всего его мировоззрения. В 1947 году незадолго до своей смерти (Н. А. скончался в марте 1948 года), Бердяев закончил свою «философскую автобиографию», вышедшую в 1949 году под заглавием «Самопознание». В ней мы находим чрезвычайно интересную самохарактеристику покойного мыслителя. В основание своей философии Бердяев положил начало свободы, но эта свобода была для него прежде всего свободой метафизической. Во имя этой метафизической свободы он поднял «бунт против объективизации человеческого существования». Единственным подлинно-реальным миром для Бердяева был «мир субъективный и персоналистический». По сравнению с этим миром «нация, государство, семья, внешняя церковность, социальный коллектив, космос» представлялись ему чем-то «вторичным, второстепенным, даже призрачным и злым». Бердяев говорит про себя, что он всегда «испытывал скуку... от политики, от идеологии и практики национальной и государственной». И дальше: «я делал вид, что нахожусь в этих реальностях внешнего мира, истории, общества, хотя сам был в другом месте, в другом времени, в другом плане».

Вот почему нам, обреченным на то, чтобы в отдельные моменты нашего земного существования оставаться в этом месте, в этом времени и в этом плане, трудно извлечь из писаний Н. А. Бердяева какие либо конкретные советы на счет того, на каких путях нам искать решения проблем нашей коллективной, национальной и международной жизни. Нельзя принять за такой совет его указание на тот социализм — который он условно называет религиозным — нельзя потому, что ни в этой статье, ни в других своих писаниях он так и не дал сколько-нибудь развернутую «социальную проекцию» своего «коммунитарного персонализма». Впрочем, в своей «философской автобиографии» он и сам выразил желание, чтобы читатели видели в нем «совсем не учителя жизни, а лишь искателя истины и правды».

Как «искатель истины и правды» Н. А. Бердяев и в этой статье, с подлинным убеждением и потому с большой убедительностью, говорит о необходимости очищения нравственной атмосферы в мире и призывает к образованию мирового фронта любви к истине. Но для этого духовного возрождения западного мира (а Бердяев обращается к нему в первую очередь) не останется никаких путей, если западные страны, не защитив-

шись своевременно от коммунистической агрессии, потеряют свою пусть несовершенную, но всё же вполне реальную свободу... Не будет возможности и для «глубинных процессов, происходящих в русском народе», обнаружить себя и стать действенными пока не будет сломана подавляющая их террористическая машина. О том, как сохранить западную свободу и как вернуть свободу народам России и всей Восточной Европы, Бердяев в своей статье в сущности ничего не говорит. В этом смысле никакого третьего исхода он не указывает. В пределах истории, от столь ненавистой Бердяеву «объективации» условий своего существования человечество уйти никак не может. Каковы бы ни были духовные корни и духовные последствия переживаемого человечеством мирового кризиса, в конкретных своих проявлениях он ставит политические проблемы — и требует политических решений.

Всякая большая политическая проблема, однако, — и особенно в критические периоды истории — не может быть отделена от основных проблем человеческой жизни. И потому будем благодарны мыслителю, который нам о них напоминает. Исполним желание самого Н. А. Бердяева: не будем видеть в нем «учителя жизни», но отдадим должное его исканиям истины и правды.

М. Карпович

БИБЛИОГРАФИЯ

О ДНЕВНИКАХ Т. Л. СУХОТИНОЙ

Эта ненапечатанная статья покойного Вяч. Иванова прислана нам из его архива. *РЕД.*

Кто пристально вглядывался в труды и дни Льва Толстого, знает — или только угадывает — своеобразный облик его старшей дочери, Татьяны Львовны, в замужестве Сухотиной. В том, что писал ей отец, в том, что писала она об отце, — в ее многочисленных разноязычных воспоминаниях, сборниках отцовских текстов и комментариях к ним, журнальных статьях и публичных чтениях, — легкой тенью проходит облик этой независимо мыслящей, самодеятельно ищущей своего пути русской женщины угрюмых сумерек прошлого столетия и кровавой зари нового века. Едва намечается в этих писаниях нежная тень, потому что не о себе говорит и не о себе думает доверенная письмоводительница отца при его жизни и верная хранительница его посмертной памяти, но об нем одном, чей духовный образ в ней отпечатлелся и стал предметом ее всецелой любви, ее коренной и непреходящей влюбленности. И не обобщается под ее пером этот образ в отвлеченную или иконописную схему (недаром в портретах этой талантливой художницы, отмеченной Репиным, питомицы московского Училища Живописи и Ваяния, всегда так много подлинного сходства и говорящей выразительности), не стирается и не обезличивается он мертвящей серостью сектантского вероучения и нравоучения, но сохраняется живым со всеми неправильностями живого лица, со всеми противоречиями стремительной душевной жизни, как в повседневном опыте то вдохновенно озарялись, то уныло померкали его черты, и невольные-налагательные прикосновения нетерпеливого и упрямого ваятеля, то навсегда оставляли в открывающейся им душе неизгладимую форму, то ласково отодвигались ею, как внешняя помеха ее внутреннему своеприродному росту.

Цельная и самобытная личность Татьяны Львовны впервые раскрывается в скромных дневниках, которые она вела и прятала с полудетских лет до порога старости. Какой благо-

дарный материал для психолога эти текучие, несогласованные свидетельства, эти торопливо набросанные долговые расписки памяти, эти простые и строго, до мнительности строго-правдивые записи, назначенные не для того, чтобы при случае быть кому-нибудь прочитанными, — разве самому ближайшему человеку, перед кем необходимо исповедаться, — но затем, чтобы как можно чаще испытывать и проверять свою совесть, не закралась ли в душу неприметная ложь перед собою самой, побрякка и потворство, самообольщение, притворство. Зоркая бдительная правдивость, как некий внутренний прирожденный закон, почти инстинкт, — и ни тени богобоязненного благочестия (определяющего нравственную настороженность, например, княжны Марьи в «Войне и Мире»), ни следа религиозной тревоги вообще.

В самом деле, жизненная, органическая связь с церковью была давным-давно расторгнута; церковные догматы не то чтобы отрицаемы, но просто оставлены, отстранены, изглажены из памяти; запах ладана выкурен из дома. Довольно было отцу, на показ детям, нарушить строго соблюдавшийся до того времени пост, чтобы этот разрыв предстал их сознанию окончательно решенным. Довольно было, еще задолго до отмены постов, откуда-то занесенного в детский мирок темного слуха о добрых «муравейных» или «муравьиных» (должно быть, моравских) братьях и об их таинственных обрядах, которые дети с увлечением принимают воспроизводить, чтобы их воображение спешно перемалывало темные и чуждые иконные лики в зеленеющий сад новой, на братстве основанной религии счастливого человечества, если не забывшего об Отце в небе, то во всяком случае не имеющего более нужды в Богочеловеке на земле. И эта игра-культ определила на всю жизнь духовный путь ее участников, и сам Лев Николаевич до последнего вздоха свидетельствует свою верность ее заветному символу — зеленой палочке, на которой написан секрет всеобщего благоволения и благополучия. Так беспокойные детские запросы порядка метафизического, могущие породить болезненные душевные состояния, как рукой снимало испытанное в этой семье лечебное средство, имевшее силу переносить такого рода запросы в плоскость этическую, где они теряли свою опасную остроту (это лекарство, равно предохраняющее от мистицизма и от практического безбожия, носит разные наименования; его изобретатель пренеудобно окрестил его «категорическим императивом»; в моей аптечке домашних снадобий оно значится под ярлычком: «моралин»). Впрочем, всё, о чем была речь, лежит за пределами разбираемых Днев-

ников, случилось раньше и отражается в них только своими последствиями. Перед читателем — Толстой, не устающий внушать ближним и дальним: «Бог — хозяин, человек — работник; вот всё, что нужно помнить, чтобы жить по-божьи». И автору Дневников этого было достаточно.

Недостаточно, повидимому, — как это ни странно, как ни страшно, — самому Толстому: его внутренний затаенный мир далеко не был так ясен и прост. Незыблемое правило поведения было найдено, но не обретено познание несомненной истины, которое единственно могло бы дать этому неутомимому, неподкупному искателю душевный покой. Тот Бог, которого вначале было ему так тяжело и больно, а под конец так легко и радостно стало не постигать, мало походил на «хозяина»: с жизнью, с житейской праведностью и даже с тою любовью, на какое способно смертное сердце, он был несоизмерим. Добро приближало к Нему, потому что усмиряло буйство жизни; но по мере приближения всякая жизнь замирала. Подобно капитулировавшему перед Богом Киркегору, о котором тогда никто, кроме Льва Николаевича, не вспоминал, но чье провозглашение тоски смертельной (*angoisse*) как духовной основы личного сознания так мучительно тревожит и мятет поколение, перестрадавшее вторую мировую войну, — Толстой издавна был подстерегаем и преследуем и наконец всецело охвачен ужасом уничтожения, пока не пошел навстречу своему Преследователю и с тех пор только ощущение близости Того в Ком он узнал Бога стало спасать его от приступов прежнего отчаяния. Два страха знал Толстой: страх смерти и страх лишения свободы*; жизнь представлялась ему, как древним спиритуалистам, узничеством в темнице тела; оставалось отгонять первый страх мыслью о том, что смерть во всяком случае — раскрепощение. Но эти темные борения он остерегался поверять своим близким, и то, что стоило ему самому столько никогда не затихавших мук, обращалось в его воспитательном воздействии на окружающих каким-то чудом в успокоительное от боли средство.

* Свое «первое и самое сильное впечатление от жизни» Толстой в наброске, озаглавленном «Первые Воспоминания» (1878) определяет словами: «я связан». Это была первая боль и первая тоска едва открывшего глаза на жизнь младенца. И что такое его предсмертный уход из дома, как не последняя в жизни и отчаянная попытка раскрепощения? А вот как возвещает о своем приближении Смерть: «Когда началось для князя Андрея пробуждение от жизни, он почувствовал как бы освобождение *связанной* в нем силы».

Нет, в Дневниках, как мы сказали, религиозной тревоги; нет в них и праздной мечтательности; даже налетные, как весенняя гроза, пароксизмы страстной влюбленности не сопровождаются обычным симптомом романтического бреда. А поэзией — именно толстовской поэзией — всё-же веет от этих девичьих страниц, поэзией Наташи Ростовской, с которою автор Дневников являет черты семейного сходства: та же в обеих душевная свежесть, то же доверчивое содружество и бессознательное созвучие с природой, та же «открытость души», которую так любил в своей избраннице князь Андрей, та же игра выбивающихся на простор живых сил, та же своеобразная, безудержная порывистость и на вид безрассудная, а в глубине правосудная, потому что требовательная и целомудренная, влюбчивость... Но колорит окружающего обеих мира не одинаков: беспечно было состояние умов в начале века, болезненно тревожное в конце его, — и как документ переходной поры, трогательный гербарий памятных цветков Ясной Поляны приобретает, помимо психологического, еще и другое значение, а именно: общественно-историческое.

Под притушившим, но не погасившим крамолу владычеством Александра Третьего и в первое десятилетие несчастного нового царствования глухо назревал и заявлял о себе зловещими предвестиями готовый вспыхнуть переворот, размеров которого не предвидел, быть может, и сам поставивший его прогноз и диагноз Достоевский. Старый мир со всем, что было в нем великого и святого, за многие неисккупленные неправды, внедрившиеся в его державное строительство, был осужден разумом истории и обречен на огненное испытание. Молодая, мыслящая и дерзающая Россия тосковала и металась в поисках «правды»: она переживала нравственный кризис. Страна платила человеческие дани темным демонам исторического долга. Революционное подполье обратилось в катакомбы нового исповедничества и мученичества: оно уводило к себе смелых и самоотверженных и посылало их на виселицы и на каторгу. А ветхий быт бодрился, как ни в чем не бывало, молодил и прихорашивался. В 1902 году Толстой писал своей Тане: «Если бы больные неизлечимые знали свое положение и то, что их ожидает, они не могли бы жить: так и наше правительство, если бы понимало значение всего совершающегося теперь в России, оно, правительственные люди, не могли бы жить. И потому они хорошо делают, что заняты балами, смотрами, приемами». Подобным же образом *toutes proportions gardées* — развлекался и московский стародворянский круг, в котором прочно укоренена была и графская семья.

Яснополянская барышня принуждена в положенные сроки покидать милую деревню и деревенских людей, с которыми она деятельно и участливо дружит: ее вывозят в свет, где порхают, кокетничают, влюбляются и ревнуют ее многочисленные родственницы и приятельницы-однолетки. Молоденькая графиня сама не прочь покружиться в блестящей нарядной толпе, привлечь восторженное внимание, ненароком пленить, — не выходя, разумеется, за пределы, очерченные пуританской совестью и непрестанною мыслью о более ревнивом, чем сама совесть, отце. Кажется, что светские молодые люди ее немного боятся: она слывет умною (опасная слава!), хотя при отличном знании нескольких языков не прочла ни на одном из них ни одной «умной книжки». Зато она успела втихомолку обдумать и про себя разрешить одну, другую жизненную проблему, а те ни над какою проблемой никогда не задумывались. Это не ставит, впрочем, между нею и волочащейся за ней молодежью преграды, непреходимой для женской прелести: душевно-чуткие влюбляются в нее надолго и нежно; опаснее то, что влюбляется не на шутку она сама, так как влюбиться значит для нее тяжело заболеть нескоро проходящею и мучительной болезнью. Ряд таких временных «одержимостей», как с горечью называет эти состояния ее отец, кончаются для нее отходом прочь, уходом в себя, в смятый пронесшейся бурей сад своей души, анализом пережитой страсти и разочарованием в том, что эта страсть сулила. Хорошее общество тяготит ее, и типично для эпохи, что от обманувших ее увлечений молодыми людьми своего круга она ищет освобождения в привязанности к «идейному» разночинцу, красивому и слабовольному товарищу по редакции толстовского «Посредника», куда и она, по желанию отца, приносит написанные в его духе рассказы. Новый анализ и новое разочарование, завершившие этот чахлый, как трава на тюремном дворе, «роман» с не-светским героем, были еще более горьки и безнадежны. Время было бы отдаться искусству, которое много обещает и еще больше требует; но всё препятствует этой решимости: и усидчивая работа с отцом, и заграничная поездка для ухода за больным братом, и обязательные заботы о семье вообще, и не менее обязательные приемы бесчисленных и ненужных посетителей слишком гостеприимного дома. Какое облегчение от досужей болтовни и неотвязных мыслей о том, как избавиться от богатства, — бодрое участие в полевых работах, педагогический призор за крестьянскими ребятишками и — вперемежку с упоением верховой ездой — послушание зароку обходиться в повсе-

дневном личном обиходе без помощи прислуги. Отраднее всего — самопроизвольное, наивное созвучие с отцом не в вегетерианстве и трудовой дисциплине, которые для обоих обратились из навыка в «другую природу», но в общем старании и неумении любить всех равно и в некоторой самозащите от абсолютизма ортодоксальных «толстовцев». Как неутомимая сподвижница отца в лихолетье голода, когда нужно было спасать целые округа от голодной смерти и повальных болезней, она не отступает не только перед трудом и изнурительными лишениями, но и перед явной опасностью. Поздно благие звезды приводят Татьяну Львовну ко всё более тесному сближению с человеком умным и благородным, но далеким от всяких идеологий, притом старшим ее годами, главное — женатым и отцом семейства. Нерасторжимая сердечная привязанность переходит ко вдовцу в беззаветную любовь, которой он отвечает равным по силе чувством, и давняя дружба расцветает счастливейшим браком. Показательно для обоих, что нареченный жених приносит к ногам своей невесты отказ от куренья, от охоты и от службы по выборам в должности предводителя дворянства.

Между Россней, из глубины волнуемой тем напряжением отчаянной решимости, которое за всех выразил под конец жизни Толстой, заявив, что так жить больше нельзя, и мертвую зыбью косного быта, — обeim Россиям равно чуждая и родная, — лежала Ясная Поляна, как остров волшебника Просперо в «Буре» Шекспира, куда мудрый волхв удалился от злобы людской и торжествующей лжи с милой дочерью и закрепощенным ему чудодейным духом поэзии Ариелем. Основанная на сословном укладе и обычае, хотя и превратившаяся мало-по-малу в какой-то странноприимный дом для прохожих искателей — или разведчиков — духовной правды и новой жизни, эта самостоятельная страна чувствовала себя одинаково загражденной как от ласк и угроз правительственного «Олимпа», так и от веяний и поветрий воинствующего материализма, бунтарского народничества и едва заявившего о себе, но уже самоуверенного марксизма. Неохотно и недоверчиво прислушивалась независимая в своем правиле и уставе обитель и к долетавшим до нее отголоскам нового творчества. Со всех концов света обращались к ней с выражениями сочувствия или недоумения, с вестями и предложениями, запросами и сомнениями, а сама она могла иному показаться провинциальной и отсталой: невидимый, неосязаемый фильтр не пропускал в ее умственный обиход чужеродных элементов.

Единственный русский мыслитель, общение с которым могло бы оказаться плодотворным Толстому, как оно плодотворно было Достоевскому, молодой Владимир Соловьев, пришелся здесь, со своею защитой церкви, не ко двору: место домашнего философа занято было умеренным и уклончивым Страховым. Впрочем, и создания самого Достоевского, кроме «Записок из Мертвого Дома», не встречали здесь достаточного внимания и понимания. Но ведь и над самим Шекспиром тяготело здесь отлучение, не менее безусловное, чем над Вагнером или «декадентами» с Бодлером во главе; однако стихи Тютчева трогают до слез, и Фет с новыми песнями всегда желанный гость. От живописи, отравленной в своих истоках Рафаэлем и его фальшивой погоней за так называемой красотой, здесь требовалась беспощадная, показательная правда и нравственное потрясение зрителя, каких достигал среди современников разве лишь друг дома — Ге. В Париже Татьяна Львовна, посетивши мастерскую какой-то ничтожной художницы, модной ломаки, разубеждается в серьезности тамошнего искусства, для которого форма и техника всё, а «содержание» безразлично. В Италии ее, как раньше отца, привлекает красивая природа и оставляют, повидимому, холодною творения старых мастеров и исторические памятники. И всё это в порядке вещей: предание веков — помеха исправителям мира и перевоспитателям человечества, подобным Руссо, любимому писателю Льва Николаевича; им нужна в человеке душа, не исписанная гиероглифами памяти, пустая скрижаль, готовая принять начертание нового закона, *tabula rasa*. Ибо в замкнутой тишине Ясной Поляны вырабатывались яды, долженствовавшие убить старый мир; и если Руссо провозгласили подготовителем и вдохновителем французской революции, то Толстой с неменьшим правом должен быть признан зачинателем того всеобщего ниспровержения прежних ценностей, которое, вопреки его воле и в противность духу и букве его учения, выразилось в русской революции «грабежом награбленного» и поруганием святынь. Но какой парадокс! — ближайшее соседство лаборатории, где изготовлялось в духе нечто подобное «атомической бомбе» наших дней, нимало не нарушало душевного мира людей, ее окружавших: оно уберегло в своей ограде и Татьяну Львовну от бесплодных и опасных скитаний по предреволюционному бездорожью. Спокойно созревает в ней радикальное отрицание всего существующего порядка с его государством и войском, правом и собственностью, суеверным культом и заблудившейся культурой. Без враждебного чувства к людям и к их идеалу, но с открытым

протестом против господствующего террора встречает она новых хозяев Ясной Поляны — коммунистических комиссаров, пользуясь их уважением к памяти великого писателя, чтобы спасти невинные жертвы безоглядной рубки живого леса.

Таково, кроме психологического и общественно-исторического, еще и третье значение разбираемых Дневников: значение литературно-биографическое для изучения личности Льва Толстого. Лучше всех разрозненных сообщений и свидетельств о его словах и делах они, даже когда не говорят об нем прямо, заставляют почувствовать духовную атмосферу, созданную его близостью, и больше того: его непреодолимое, всепокоряющее обаяние, исходящую от него — как мы привыкли теперь говорить — «радиоактивность». В них отражаются, как в послушном зеркале, его демонизм и его жалостливое, слабое сердце, его аскетическая жестокость и его беспомощность, его великая грусть и его неистребимая радость жизни. Детям скучно, они идут встречать отца, наверное зная, что с ним вдруг станет весело: и в самом деле, едва он появился, как уже все разыгрались — и дети и он сам: «Ну, кто дальше закинет палку?». Поэт в нем неустанно и произвольно славил каждым дыханием живую, пусть даже дикую и хаотическую, природу и ту самую несговорчивую, непокорливую, своевольную жизнь, которой не прощал ее страстного корня пустынный духа, лев пустыни, иконоборец и столпник.

Вячеслав Иванов

WILLIAM RESWICK. "I Dreamt Revolution". — Henry Regnery Company. — P. 328. \$4.50.

С опубликования книги Кравченко «Я выбрал свободу» ни одна книга не вскрывает с такой яркостью существа большевистского строя, как только что появившаяся книга Вильяма Резвика. Книга поучительна и занимательна, полна драматических положений, превосходно переданных. Автор владеет русским языком и по личным 13-летним наблюдениям, равно как по доверительным сообщениям таких советских вельмож, как Рыков, Енукидзе, Бухарин, Ягода, Прокофьев, и других чекистов, вскрывает внутренние пружины большевистского механизма.

Резвик никогда не занимал поста в большевистской иерархии, он только «мечтал» об октябрьской революции и сочувствовал ей. В Россию он попал сначала в составе хуверской организации помощи голодающим. С осени 23-го года он представлял херстовские издания, заручившись рекомендацией к Красину и некоему «Саше», подлинное имя которого автор и сейчас не рискует назвать. Позднее

Резвик стал корреспондентом, а потом и главой американского телеграфного агентства «Ассошиейтед Пресс». Благодаря рекомендациям, положению и личным качествам Резвик сумел войти в доверие к большевистским заправилам и пользовался их особым вниманием. Автор описывает быт и нравы «старой» советской России — 1921-34 гг. — так, как ее можно было видеть «сверху». Он приводит подлинные слова и мнения былых советских вождей, — еще 15 лет тому назад отправленных на тот свет вождем вождей. Было бы, однако, ошибкой считать, что книга Резвика имеет только исторический интерес. Только проводя *принципиальное* различие между «Лениным вчера» и «Лениным сегодня», между ленинизмом и сталинизмом, можно не видеть, как актуальна книга Резвика, сколь многое она объясняет и в нынешней структуре и практике коммунистического властвования. Не только идеологически трудно провести резкую черту между ленинизмом и сталинизмом. И в качестве морально-политического уклада жизни трудно отделить один от другого. Пусть вакхические оргии и «пьянки» до утра советских покровителей балета и других видов искусства в нынешней обстановке кажутся невероятными. Это не меняет того, что и в «гуманнейшие» годы советского режима nepотизм и произвол, всеобщий испуг и доноительство там доминировали. Резвик приводит много фактов, иногда мелких, но характерных, до сего времени мало кому известных. И всё сообщаемое им производит впечатление достоверности.

Для опровержения уверенности иностранцев в том, что заключенных в советских тюрьмах подвергают пыткам, с соизволения Сталина, 26 корреспондентам разрешено было посетить здание Ч. К. на Лубянской площади. Дело было в 24-ом году. Корреспонденты отправились в сопровождении охраны, возглавленной цензором Коганом и помощником Ягоды Трилиссером. Корреспонденты были предупреждены, что, согласно инструкции премьера, Рыкова, ни с кем из заключенных им не дозволяется беседовать за одним исключением — Бориса Савинкова. Посетителей повели по корридорам и камерам. Всюду видны были испуганные и встревоженные лица. В одном случае раздался придавленный крик. В сгущавшихся сумерках Резвик разглядел человека, прижавшегося к стене: «он показался мне вечным символом людского страдания и неумиряющей надежды. Подобно Христу на кресте он как бы улыбался, когда мы стали уходить. Наш внезапный уход должен был принести ему чудесное облегчение, почти чувство воскресения». Неожиданно открыли дверь, и корреспонденты очутились в огромной комнате, несколько не напоминавшей камеру заключения, с видом на площадь. Комната была хорошо обставлена: кушетка апельсинового цвета, белый стол с двумя креслами. Савинков был чисто выбрит, и от него пахло одеко-

лоном. Держал он себя как радушный хозяин, принимающий гостей. Его спросили, почему он вернулся в советскую Россию. Савинков ответил:

— «Я предпочел видеть эти башни из тюремной камеры, чем свободно прогуливаться по Парижу».

Французский журналист поставил в упор вопрос: «Что, истории о терроре ГПУ верны или выдуманы?» Савинков ответил:

— «Если говорить обо мне, они явно неверны».

В черных глазах Трилиссера промелькнул гнев. «Пора», — оборвал он беседу. «Слово имело мгновенный эффект. Савинков побледнел и умолк. Он продолжал улыбаться, когда мы были у двери, но это была вынужденная улыбка». Позднее Ягода сообщил Резвику, что Савинков был заманен в Россию агентом ГПУ «прекрасного пола». «Как раз сейчас у нас возникли трудности с этой дамой. Она влюбилась в него. И дело зашло так далеко, что мы должны были разрешить ей оставаться ночью в его камере». Ягода подчеркивал великодушные ГПУ и «гуманные методы» в обращении Советов с заключенными в «тюрьме без решетки». — «Откуда же страх, который мы видели в камерах?», — спросил Резвик. «Я могу только повторить сказанное раньше», — оправдывался Ягода. «Мы — меньшинство в огромной стране. Упраздните ГПУ, и нам конец».

Профессиональный чекист, Ягода, как Дзержинский или Ленин, не чужд был сентиментализма. Он покровительствовал «своим» детям — малолетним преступникам в исправительной колонии под Москвой. Переодевшись в штатское платье, чтобы не смущать иностранцев, чекисты повезли в новом Кадияке Резвика вместе с другими в колонию. Дети были на дружественной ноге с Прокофьевым и Ягодой. Последнего они называли по имени — Генрихом. Прокофьев признавал, что колония — «капля в океане» по сравнению с «миллионами беспризорных». На обратном пути журналисты заявили, что напишут корреспонденции с положительной оценкой колонии. Смирненным тоном всемогущий Ягода попросил написать непременно в американском еженедельнике «Нэшьон». «О колонии много писали, но никогда не писали в «Нэшьон», — заметил чекист, и на глазах у него выступили слезы.

— «Но почему в «Нэшьон»? — спросили его.

С видом школьника Ягода признался, что у него в Бруклине имеется дядя, которого он очень любил в детстве. Недавно этот дядя, для которого «Нэшьон» было евангелием, написал матери Ягоды, выражая ей сочувствие по случаю того, что она мать «архи-убийцы». «Не могу сказать, что значило бы для меня, если бы дядя прочел что-либо в «Нэшьон» об этих детях и о том, что я для них сделал». 11 ноября 25 года Резвик поместил в «Нэшьон» описание:

колонии для малолетних преступников, и «Ягода был бесконечно благодарен». Он доказал это на деле. Ягода посвящал Резвика не только в тайны советского двора. Ягоде Резвик обязан тем, что, несмотря на все свои связи, остался в живых, когда его арестовали и избили чекисты, ближайшим образом подчиненные другому держиморде. «Террор постучался в мою дверь. Я впервые почувствовал мертвую хватку и узнал подлинное значение жизни в советском раю», — замечает Резвик. Аппарат партии оказался сильнее даже ГПУ уже в 26-ом году: ВЧК и ГПУ — прямые родоначальники НКВД и нынешнего МГБ.

Нет возможности привести другие факты, представляющие большой исторический и политический интерес. Книгу необходимо прочесть каждому, невзирая на то, что автор и по сей день не окончательно изжил иллюзии прежних лет. Он всё еще убежден, что большевики, не исключая и чекистов, с которыми ему приходилось иметь дело и которые оказывали ему всевозможные услуги, были «идеалисты». Свою книгу Резвик посвящает «памяти правых большевиков». Он, видимо, полагает, что тот факт, что правые большевики пали жертвой в непосильной борьбе со Сталиным, как бы снимает с них ответственность за «великий Октябрь», к которому все они были причастны, не предвидя его катастрофических последствий не только для России и всего человечества, но для них самих.

Книгу необходимо перевести на другие языки; во всяком случае, — издать на русском языке.

М. Вишняк

М. М. НОВИКОВ. «От Москвы до Нью Йорка. Моя жизнь в науке и политике». Издательство имени Чехова. Нью Йорк. 1952. Стр. 405. — \$3.00. Printed by Rausen Bros.

М. М. Новиков прожил насыщенную событиями и впечатлениями жизнь. Благодаря личной настойчивости и дарованиям он сумел из разорившейся мелко-купеческой семьи в Замоскворечьи подняться на самые верхи русской политической и научной «элиты». М. М. Новиков стал ученым, профессором, а потом и ректором старейшего русского университета — в родной Москве. Свободное от науки время он отдавал общественности и политике. И здесь достиг высоких степеней признания; в частности, был избран в 4-ую Государственную Думу по 1-ой избирательной курии в Москве, «от домовладельцев и торговцев».

Автору есть о чем рассказать. Он многое видел и может сравнить не только во времени век нынешний и век минувший, но и в пространстве — Россию и Запад, Чехословакию с Германией до первой войны и после второй. Читатель с интересом — и не без пользы — прочтет мемуары автора, в которых, по его выражению,

«выявляется основание и сущность пережитых им событий и фактов». Необходимо, однако, иметь в виду, что в книге немало ошибок и фактических неточностей. Автор, впрочем, и сам отмечает «неполноту и неточность» своей памяти.

Наиболее грубая ошибка была уже отмечена М. М. Карповичем, а потом Е. Юрьевским в «Нов. Рус. Слове». Утверждение М. М. Новикова будто Ленин в июльские дни 17-го года, после приказа об его аресте, заявился в Мариинский театр, «где его легко было задержать... но Керенский отказался сделать это», — не только совершенно бездоказательно, оно и не правдоподобно, отдает «несомненной фантастичностью». Немногим убедительнее и другое утверждение автора. Он точно знает, что между Керенским и Корниловым «состоялось соглашение... относительно ликвидации государственного двоевластия и ареста Совета рабочих депутатов. Но... Керенский, как говорили (?), в значительной степени под влиянием Некрасова, изменил свое решение и... объявил Корнилова изменником» и т. д. Ни одного довода в пользу этой версии Новиков не приводит, если не считать его ссылки на слухи, неизвестно откуда исходившие. Более чем пристрастное отношение автора к главе Временного Правительства проявилось и в его свидетельстве о речи А. Ф. Керенского на московском государственном совещании. Речь не была удачна, но в кавычках приводимых Новиковым слов: «я растопчу розы души моей» там не было.

Другой эпизод. Правительство и правые фракции Государственной Думы предлагали совсем закрыть евреям доступ к высшему образованию. Левые, в том числе и кадеты, естественно, настаивали на отмене всяких исповедных ограничений для ищущих образования. М. М. Новиков предложил компромисс, который заключался в том, чтобы ограничения сохранить, определив процентную норму, соответствующую общей численности еврейского населения в России, в 4% (стр. 204).

Среди фактических неточностей можно указать на следующие. Лейтенант Шмидт не имел никакого отношения к московскому восстанию на Пресне и «захвачен и казнен» был не в Москве, а в Севастополе, и не в пятом году, а в шестом. К восстанию же прямое отношение имел владелец мебельной фабрики на Пресне Н. П. Шмидт, субсидировавший большевиков через Максима Горького и завещавший им свое состояние в 1907 г. Адмирал Дубасов не был московским генерал-губернатором в октябре пятого года, а был назначен на этот пост в ноябре. Бауман был не рабочий, а окончивший ветеринарный институт, типичный интеллигент-большевик. Н. И. Астров занимал должность московского городского головы не «перед революцией», как говорится на стр. 143, а «после февральской

революции», как правильно указано на стр. 160. На Лубянской площади гостиницы «Россия» никогда не было. Здание же, которое заняла «Чрезвычайка», принадлежало Страховому Обществу «Россия». Министерства «сельского хозяйства» в России не существовало; было министерство земледелия и государственных имуществ. При разгоне Предпарламента *никто* «из собравшихся в Мариинском дворце» не был ни убит, ни арестован. Подсолнечная — станция Николаевской железной дороги, а не Брестской. И т. д.

Каждая из приведенных неточностей и ошибок сама по себе, может быть, и незначительна, но в своей совокупности они искажают картину, а иногда и перспективу. Имеется в книге и ряд литературных неудач, как например, — «не имел опытности», «более старший», «изобильный обед», «переноситель», «проектант» и т. п.

Несмотря на эти дефекты — большие и малые, — мемуары М. М. Новикова ценны, — как материал для познания взглядов и жизнедеятельности русской либеральной и научной «элиты» накануне судьбоносного 17-го года. Они интересны и описанием работы русских ученых в эмиграции — и в Чехословакии и в Мюнхене эпохи УНРРА. Администрации УНРРА автор по всей справедливости предъявляет не одно обвинение. Ее невежественность и претенциозность привели к разгрому с невероятными трудами созданного научно-учебного учреждения «в форме столь же варварской, как и трагичной». М. М. Новиков отмечает, что еще в 1948 г. кое-кто из американцев публично признавал, что персонал УНРРА и беженской организации ИРО, за немногими исключениями, представлял собой «конгломерат авантюристов, лжецов и спекулянтов различных национальностей» (393).

М. Вишняк

АННА АХМАТОВА. Избранные стихотворения. Изд. им. Чехова. Нью Йорк. 1952 (X+262 стр.). Цена \$2.25.

По самому смыслу слова, «избранные стихотворения» предполагается наличие *выбора*, хотя бы очень субъективного. Вместе с тем самый поверхностный анализ состава и текста рецензируемого сборника Ахматовой показывает, что он является простой перепечаткой последнего советского сборника поэтессы — «Из шести книг». Ленинград. Изд. «Советский Писатель». 1940. Из этого сборника исключено только одно стихотворение из двух строчек:

От других мне хвала — что зола,
От тебя и хула — похвала.

да перед перепечаткой сборника, в разделе «Стихотворения периода второй мировой войны», помещены десять стихотворений Ахматовой, опубликованные в «Правде» от 8 марта 1942 («Мужество»), в

Да что там имена! Захлопываю святцы
 И на колени все! Багровый хлынул свет:
 Рядами стройными выходят ленинградцы
 Живые с мертвыми. Для славы мертвых нет. 1942.

Ряд стихотворений Ахматовой опубликован в журнале «Ленинград» за 1946 год, несколько стихотворений, правда, очень слабых, в Ленинградской «Вечерней Красной Газете» в первые годы войны. В 1950 году поэтесса опубликовала очень посредственные стихи из цикла «Слава миру». Одно стихотворение из этого цикла: «Прошло пять лет — и залечила раны» перепечатано в сборнике «Поэты мира в борьбе за мир», Гослитиздат, М. 1951. Стихи из «Ленинграда»: «Как облака на краю», «Истлевают звуки в эфире», «Я не любила с давних дней», «Знаешь сам, что не стану славить» и стихотворение «Не дышали мы сонными маками» много бледнее приведенных выше, но заслуживали бы всё-таки быть включенными в книгу — их почти никто не знает.

Было большой ошибкой принять за основу нового сборника Ахматовой последнее советское собрание ее стихов. «Из шести книг» необходимо было использовать лишь в части книги «Ива», впервые опубликованной в этом издании, да одного-двух стихотворений «Вечера», также впервые появившихся в этой книге 1940 года. Если признать, что отбор стихотворений для сборника «Из шести книг» — был произведен самой Ахматовой, то художественными соображениями она руководствовалась лишь при выборе материала из первой, самой юной книги своих стихов. Из нее уже в последующих переизданиях «Вечера» — вместе с «Четками», в качестве «первой книги стихов», были исключены все стилизации типа «Маскарад в парке» или «Над водой». Что же касается «Четок», «Белой Стаи», «Подорожника» и «Anno Domini», — исключение стихотворений из этих книг — для последнего собрания 1940 года (а тем самым, для «чеховского» издания, являющегося перепечаткой «Из шести книг») — было произведено по соображениям явно ВНЕлитературным. Так, исключенными оказались почти все стихотворения с «религиозной» тематикой: из «Четок» — «Исповедь», «Помолись о нищей, о потерянной», «Высокие своды костела», «Плотно сомкнуты губы сухие», «Дал Ты мне молодость трудную», «Будешь жить, не зная лиха»; из «Белой Стаи» — «Высокомерьем дух твой помрачен», «Стал мне реже сниться, слава Богу», «Не хулил меня, не славил» и, конечно,

Думали: нищие мы, нету у нас ничего,
 А как стали одно за другим терять,
 Так, что сделался каждый день
 Поминальным днем, —

Начали песни слагать
 О великой щедрости Божьей
 Да о нашем бывшем богатстве.

Из сборника «Anno Domini» по тем же «церковным» соображениям были удалены в собрании 1940 года: «Бежецк», «Причитание», «Буду черные грядки холить».

Исключены и все стихотворения ЯВНО посвященные Гумилеву: «В ремешках пенал и книги были» (Четки), «Утешение» (Белая Стая), «Ты отступник: за остров зеленый» (Подорожник), «Я с тобой, мой ангел, не лукавил» (со строчками: «И шальная пуля за Невою ищет сердце бедное твое»), «Заболеть бы как следует, в жгучем бреду», «Я гибель наклкала милым», «Не бывать тебе в живых», «Колыбельная» (Anno Domini). Исключены все стихотворения, которые можно истолковать, как намек на трагическую современность: «Тот голос, с тишиной великой споря» (очевидно, из-за строчек: «Но знали мы, что скоро в тоске предельной поглядим назад»), «Для того ль тебя носила» («На Малаховом кургане офицера расстреляли»), «Город сгинул, последнего дома» (Белая Стая), «Чем хуже этот век предшествующих» («Он к самой черной прикоснулся язве»), «Теперь никто не станет слушать песен, предсказанные наступили дни», «И целый день, своих пугаясь стонов, в тоске смертельной мечется толпа» (Подорожник), «Слух чудовищный бродит по городу», «Нам встречи нет. Мы в разных странах», «Страх, во тьме перебирая вещи», «Пусть голоса органа снова грянут» (особенно за: «Война, мятеж, опустошенный дом, в крови невинной маленькие руки»), «Тот август» (Anno Domini).

Кроме исключенных целых стихотворений, издание 1940 года и слепо следующий за ним сборник чеховского издательства, исключают целую строфу из известного стихотворения:

Когда в тоске самоубийства
 Народ гостей немецких ждал,
 И дух суровый византийства
 От русской Церкви отлетал,
 Мне голос был. Он звал утешно..., —

начиная стихотворение прямо со строки «Мне голос был...» По столь же ВНЕлитературным соображениям в стихотворении «Молитва» строчка «Чтоб туча над темной Россией» изменена: «Над СКОРБНОЙ Россией... Очевидно, с целью разжевывания недостаточно чутким читателям смысла «Сероглазого короля», вставлены в издании 1940 года совершенно чудовищные строчки:

И покажу ей над башней дворца
 Траурный флаг по кончине отца, —

строчки, убивающие стихотворение, лишающие его необходимой поэтической недоговоренности. Чеховское издательство и здесь слепо воспроизвело порчу текста, имеющуюся в сборнике «Из шести книг». Испорчен и текст известнейшего стихотворения «Широк и желт вечерний свет... Ты опоздал на МНОГО лет». В прежних изданиях было: «Ты опоздал на ДЕСЯТЬ лет», и это было лучше... Нельзя же от издания к изданию менять количество лет, да и заменять число неопределенным «много» едва ли стоит...

К числу курьезов можно отнести слияние двух стихотворений, часто совершенно различных по форме, в одно: это уже прямо относится к «чеховскому» сборнику, издание 1940 года тут непричем. Так, слиты в одно «В тот давний год, когда зажглась любовь» и «Земной отрадой сердца не томи» (стр. 39-40), «Муза ушла по дороге» и «Я улыбаться перестала» (стр. 103). Зато стихотворение: «Покинув рощи родины священной» разбито на два (второе — начиная со строк: «Под самой крышей в грязном шумном доме»), если верить оглавлению чеховского издания. То же самое со стихотворением «Сон» (стр. 150). Причем, соединение стихотворений в одно не является типографской ошибкой: в оглавлении они также соединены...

Не мешало бы редактору сборника порыться и в советских повременных изданиях. Там можно обнаружить не одно интересное ахматовское стихотворение, не включенное в сборники по соображениям не эстетического порядка. Так, в мало-доступном сейчас широкой публике советском журнале «Русский Современник», в номере 1-м за 1924 год, помещена очень интересная баллада Ахматовой:

И месяц, скучая, в облачной мгле,
Бросил в горницу тусклый взор.
Там шесть приборов стоят на столе,
И один только пуст прибор.

Это муж мой и я, и друзья мои
Встречаем новый год.
Отчего мои пальцы словно в крови
И вино как трава жжет.

Хозяин поднявши полный стакан,
Был важен и недвижим:
«Я пью за землю родных полян,
В которой мы все лежим!»

А друг, поглядевши в лицо мое,
И вспомнив Бог весть о чем,
Воскликнул: «а я за песни ее,
В которых мы все живем!»

Но третий, не знавший ничего,
 Когда он покинул свет,
 Мыслям моим в ответ
 Промолвил: «мы выпить должны за того,
 Кого еще с нами нет».

Совершенно сознательно мы поместили в этой заметке целый ряд стихотворений Ахматовой, невключенных ни в один из ее сборников. Может быть, опубликование их в «Новом Журнале» явится более ценным, нежели простая оценка нового зарубежного сборника стихов поэтессы. В заключение хочется посоветовать чеховскому издательству более тщательно подходить к редактированию сборников крупных писателей и поэтов прошлого и современности, поручая подбор материала и редактирование знатокам данного автора, и ставить имя редактора на сборниках.

Борис Филиппов

KLAUS MEHNERT. Stalin versus Marx. New York. 1953 (128 p.).

В 1923 году, когда я двенадцатилетним мальчиком поступил в школу, учитель задал нашему классу выучить наизусть стихотворение В. Александровского, напечатанное в «Правде». Стихотворение это начиналось так:

Русь! Сгнила? Умерла? Подохла?
 Что же! Вечная память тебе...

Двадцать лет спустя, в 1943 году, на Северо-Западном фронте, политрук собирал нас разучивать новый «Гимн Советского Союза». Гимн этот, заменивший «Интернационал», начинался так:

Союз нерушимый республик свободных
 Сплотила навеки великая Русь...

Так за два десятилетия советский режим совершил поворот на 180 градусов: от интернационализма — к национализму. То, как этот поворот совершался, и описано в книге Клауса Менерта «Сталин против Маркса». Клаус Менерт — немецкий ученый, посвятивший долгие годы изучению Советского Союза. В 1930 году он приехал в Москву, где знакомился с постановкой дела в университетах и институтах. Он был лично знаком с М. Н. Покровским и Н. Я. Марром. Таким образом, Клаус Менерт знает то, о чем пишет, не из второстепенных источников, а из первых рук. Близкое, даже интимное знание материала, в сочетании с живой манерой изложения, позволило ему на 128 страницах небольшого формата представить всю эволюцию Советского Союза от интернационализма — к национализму, от марксизма — к сталинизму.

Признаться, я не мог понять по книге Клауса Менерта, марксист ли он, выступает ли он, как верный ученик Маркса, обличающий отступника Сталина? Несомненно, однако, что Менерт — опытный диалектик, и он тонко проникает в диалектический процесс превращения революционного государства в фашистское. «Поскольку, — пишет Менерт, — советское государство, основанное в 1917 г., являлось единственным оплотом социализма, предсказанного Марксом, оно приобрело самостоятельное значение. То, что было частным (Советский Союз) теперь представляло то, что было общим (человечество). Так частное приобрело большую значимость, нежели общее».

Неслучайно, что слово «патриотизм» замелькало в советских газетах именно в 1930-х гг., когда Сталин, разгромив все оппозиции, принялся за «построение социализма в одной стране», отрезав СССР «железным занавесом» от всего мира. (Кстати термин «железный занавес» был придуман не Геббельсом и не Черчилем: под таким заглавием была опубликована статья Л. Никулина в «Литературной газете» от 13 января 1930 года).

У книги Клауса Менерта — подзаголовок: «Сталинская историческая доктрина». Но этот подзаголовок не отражает содержания книги, потому что в действительности автор не ограничивается историей, а исследует, какие перемены произошли в советском языкознании, во взгляде на роль личности в истории и т. п. Все эти вопросы, разумеется, тесно связаны. Разгром школы Покровского в 1934 году и разгром школы Марра в 1950 году — это только различные проявления одного и того же процесса фашизации советского государства. Менерт справедливо говорит, что «сегодняшний сталинизм ближе к фашизму, чем к марксизму».

Проблемы, поставленные в книге Клауса Менерта, настолько значительны, что дать глубокое научное исследование их в такой небольшой книге невозможно. Поэтому Менерт, порою, сбивается с тона ученого-исследователя на тон полемиста-пропагандиста. Однако, он никогда не впадает в вульгаризацию. «Сталин против Маркса» — острая, во многом проницательная книга, которая по-особенному звучит сегодня — после процесса в Праге и накануне процесса в Москве.

М. Коряков

M.-J. ROUËT de JOURNAL, S. J. Monachisme et Monastères Russes. Edit. Payot, Paris. 1952. (217 p.).

Директор Центра Славяноведения при Парижском Католическом Институте, католический священник принадлежащий к ордену иезуитов Руэ де Журнель выпустил в известном французском издательстве Пайо книгу о русском монашестве и русских монастырях.

В течение поколений мы слышали о православии так много презрительного и неправильного, часто умышленно искаженного, что необходимо приветствовать появление этой благожелательной книги. «Разделение церквей — этот великий скандал в истории христианства, является следствием не только разногласий по вопросам доктрины и обрядов, но также, и даже может быть еще в большей мере, следствием долгого и растущего непонимания между христианами востока и запада», — этой фразой начинает католический автор краткое введение к своей книге. Он подчеркивает необходимость познавать друг друга для того, чтобы друг друга понять, и говорит, что предмет его труда вызывает в нем восхищение. Надо отдать справедливость Руэ де Журнелю, что на протяжении всей книги он сохраняет благожелательный тон к русскому монашеству, к русским подвижникам, к русским святым.

Эта книга не столько научное исследование, сколько популярное и живое изложение отдельных эпизодов из истории русской православной церкви, основанное на первоклассных русских источниках. Книга состоит из двух частей. В первой дан краткий очерк истории русского монашества и до некоторой степени церкви и ее отношений с государством. Вторая часть посвящена историческому описанию пяти русских монастырей и русских монастырей на Афоне. Вторая часть кончается главой, в которой автор излагает разногласия между Нилом Сорским и Иосифом Волоколамским по вопросу о церковных имуществах. В эпилоге, под заглавием «Смерть и Воскресение» автор дает обзор положения православной церкви под советским режимом.

**
*

В общем автор правильно излагает историю русского монашества и монастырей, но в книге его встречаются отдельные фактические ошибки. Сюда относится, например, его утверждение, что татарское иго окончилось с Куликовской битвой и что оно до этого времени (т. е. до 1380 г.) уже существовало двести лет. Непонятно также почему он дает число монастырей накануне революции, расходящееся со всеми справочниками. Но эти и другие ошибки не понижают общего информационного достоинства книги. Западный читатель узнает из нее то, чего он до сих пор совершенно не знал. Главный недостаток книги я вижу не в этих фактических ошибках, а в том, что автор, подробно и хорошо рассказывая о социальном и культурно-просветительном значении русских православных монастырей, недостаточно раскрывает духовную жизнь монашества. Он постоянно говорит о высоком уровне русского аскетизма и духовного подвижничества, но недостаточно показывает его сущность, за исключением характеристики старцев Оптиной Пустыни, сделанной

на основании прекрасной книжки о Сергия Четверикова. Подробно рассказывается, например, как Антоний и Феодосий Печерские основали монастырь, но о духовном уровне подвижников того времени сказано очень мало. А мы знаем об этом и из наставлений препод. Феодосия Печерского и из Слова оставленного новгородским епископом Лукой Жидятой. Этот недостаток книги особенно чувствуется при изложении событий четырнадцатого века. Автор отмечает замечательный расцвет монашества в эту эпоху, говорит о его высоком уровне, старается найти причины этого нашего церковного ренессанса, показывает внешнее значение и самого Сергия и Лавры, но не уделяет достаточно внимания духовной личности ее основателя.

У нас один главный источник сведений о жизни Радонежского Игумена — это житие составленное его учеником Епифанием Премудрым. Пользуется им конечно и Руэ де Журнель. Но он как-то берет из него не самые значительные сведения и потому личность Сергия, к которой автор относится с большим пиететом, у него несколько меркнет. Почему бы ему, например, было не передать из того же жития известный рассказ о таинственном священнике сослужившем с Преподобным? Совершенно естественно предположить, что этот рассказ передавался из уст в уста еще при жизни Сергия, и несомненно что такие рассказы возвышали духовный авторитет Преподобного и делали его центром большого духовного движения. Нельзя забывать, что не меньше пятнадцати святых были или непосредственными учениками Сергия Радонежского или находились с ним в личном общении. Вот список этих лиц, впоследствии канонизированных Российской Церковью: Мефодий Песношенский, Савва Сторожевский, Сильвестр Обнорский, Павел Обнорский, Сергей Нуромский, Авраамий Чухломский, Иаков Железоборовский, Никита Серпуховско-Боровский, Стефан Махрищенский, Дмитрий Прилуцкий, еп. Дионисий Суздальский, Евфимий Суздальский, Кирилл Белозерский, Ферапонт Белозерско-Можайский, еп. Стефан Пермский. Когда подумаешь об этих замечательных по своим духовным качествам людях, на которых Сергей Радонежский в той или иной степени оказал влияние, тогда многое становится яснее в духовном расцвете второй половины четырнадцатого века, распространившемся и на пятнадцатый век.

Руэ де Журнель заканчивает свою книгу очерком о церкви под большевиками. Он дает картину разгрома церкви советской властью. Но потом, по его мнению, началось воскресение. Один из признаков этого воскресения он видит в официальном признании церкви. Автор очень осторожно рассказывает о современных церковных событиях в Советской России. Как христианин, он в ужасе от того, что сделали большевики, — но ему хочется увидеть больше

того, что на самом деле произошло после войны. Автор относится с излишним доверием к идущим из советских источников сведениям о современной церковной жизни в России. Для примера, укажу хотя бы на распространяемую большевиками легенду о том, что в России будто бы восстановлено двадцать тысяч приходов. К сожалению, это не так — коммунисты никогда не допустили бы до этого. Да и где священники для этих приходов, где нужные для них богослужебные книги? Но всё же и в этой последней главе автор дал полезную картину разрушений, произведенных коммунистами в жизни Русской Церкви.

Автор правильно указывает на большую скудость нерусской литературы о русском монашестве и монастырях. За ним останется заслуга пионера в этой области. В общем задачу свою он выполнил успешно. Надо надеяться, что за ним последуют другие и пополнят те недочеты, которые имеются в его книге.

А. Борман

ГЕОРГИЙ ИВАНОВ. Петербургские зимы. Предисл. Вяч. Завалишина. Изд-во имени Чехова. Нью Йорк. 1953 (240 стр.).
Ю. ТЕРАПИАНУ. Встречи. Изд-во имени Чехова. Нью Йорк. 1953 (204 стр.). Printed by Rausen Bros.

Обе эти книги не для широкого читателя. Это книги для литераторов. «Петербургские зимы» Г. Иванова были изданы в 1928 году. Чеховское издательство переиздало их с дополнением двух глав (о Блоке и Гумилеве и о Есенине). Книга Иванова очень талантлива, порой блестяща. «Встречи» — книга бледная, написанная тусклым языком протокола. Но в темах этих книг есть общее. Г. Иванов живописует литературную богему предреволюционного Петербурга, времени т. н. «серебряного века» нашей литературы. Правда, он описывает не ее «верхушку». Она — на «башне» Вяч. Иванова; вокруг «Мира Искусства»; на религиозно-философских собраниях; у Мережковских, где ночи напролет Гиппиус спорит с Н. А. Бердяевым о вечности и гробе и Бердяев, как говорит Гиппиус: «по его собственным словам всё время колебался «между идеалом Мадонны и идеалом содомским». Помню, как однажды я вышла из терпения и уже в передней, поздно, кричала ему: «да вы хотите, чтоб был Бог или вы не хотите?» (Гиппиус. «Мережковский», стр. 144). В «Петербургских зимах» Иванов дает картину жизни, как-бы, второго «яруса» тогдашних писателей. Это, главным образом, богема из завсегда-таев «Привала» и «Бродячей собаки». Тут тоже много интересного: Клюев, Есенин, Ахматова, Северянин, Мандельштам, Кузмин, Ивнев, Канегиссер и др. Удушливую (для молодого советского читателя, думаю, просто непонятную) атмосферу этого «fin du siècle» Иванов дает с большим знанием предмета. В ряду мемуарных книг о лите-

ратурных «быте и нравах» этой книге обеспечено место. Но дело не только в этом. Хочется сказать и о «пере» Иванова. Самому требовательному читателю его «перо» доставит истинное удовольствие. Книга написана настоящим художником. Пусть в ней есть и преувеличения, и, конечно, кое-что от “Dichtung”, но всё это дано с чувством меры и мастерством. Лучшее в книге, это не вошедшие в первое издание — глава о Блоке и Гумилеве и глава о Есенине. И Блок и Гумилев очерчены Ивановым с подкупающей, неожиданной (после «воздуха» Бродячей Собаки) человечностью. Рисунок этих портретов тонок, интересен и вне обычного штампа. Очень хороша и глава о Есенине: и в смысле портрета, и в смысле толкования его поэзии. (Замечу в скобках: такого тона «снизу вверх» у Есенина в отношении к Иванову при встрече в Берлине быть, конечно, не могло. Я встречался тогда в Берлине с Есениным и знаю его отношение к «Цеху поэтов». Оно, наоборот, было очень «сверху вниз»). В смысле оценки поэзии Есенина и определения его места в современности эта глава Иванова, по моему, лучше, что вообще написано о Есенине. Между прочим, очень верна мысль почему «имя Есенина начинает сиять для России наших дней пушкински-просветленно, пушкински-незаменимо». Иванов говорит: «Значение Есенина именно в том, что он оказался как раз на уровне сознания русского народа «страшных лет России», совпал с ним до конца, стал синонимом и ее падения, и ее стремления возродиться. В этом «пушкинская» незаменимость Есенина, превращающая и его грешную жизнь, и несовершенные стихи в источник света и добра. И поэтому о Есенине, не преувеличивая, можно сказать, что он наследник Пушкина наших дней». Это и тонко и верно. Предисловие к «Петербуржским зимам» ленинградского талантливого литератора Вяч. Завалишина интересно.

«Встречи» как-бы продолжают тему Иванова. Автор пробует дать описание парижской эмигрантской литературной жизни именно тех писателей, которые уцелели от «Башни» и «Бродячей Собаки», и, работая уже на берегах Сены, привлекли к себе некоторых начинающих поэтов. Автор публикует в книге протоколы заседаний литературного кружка Мережковских «Зеленая Лампа». Эти протоколы в некотором отношении интересны. По ним читатель видит, как и тут, в эмиграции, спустя очень много лет, те же литераторы из «Башни» и «Привала» дебатировали те же «проклятые» вопросы о вечности и гробе. И эти дебаты столь же страстны. Автор приводит: «на одном собрании «Зеленой Лампы» (тема: Умирает ли христианство?) Мережковский, рассердившись на возражавшего ему Адамовича, в пылу спора с пафосом обратился к аудитории: — Скажите прямо, с кем вы — с Христом или с Адамовичем?» (стр. 105). В

книге не опубликовано за кого высказалось большинство. Разумеется, не все парижские литераторы были объединены в «Зеленой Лампе». Наряду с протоколами автор приводит, например, мнение о «Зеленой Лампе» Вл. Ходасевича. Ходасевич предлагал подающим надежды поэтам «взамен всей этой болтовни сосредоточить свои силы на какой-нибудь серьезной литературной работе» (87 стр.).

Кроме протоколов остальное в «Встречах» не представляет интереса. В небольших (3-4 стр.) заметках об отдельных эмигрантских поэтах автор, к сожалению, не дает ни живой оценки их поэзии, ни живых портретов. Жаль также, что в противоположность книге Иванова, насыщенной «петербургским воздухом» («желтый пар петербургской зимы»), в «Встречах» совершенно не передан «воздух» Монпарнасса и Парижа вообще. Автор описывает Монпарнасс, точно источником его описания была телефонная книга. Часто неприятен тон повествования: «Как председатель и идеолог Союза я должен был прочесть об этой книге доклад... После окончания вечера Ходасевич подошел ко мне и представился». Знающие Ходасевича вряд ли могут представить себе это «представление». Скромнее было бы сказать: «познакомился».

Обе книги внешне изданы неплохо.

Роман Гуль

CHARLES W. THAYER. Hands across the Caviar. Philadelphia. J. B. Lippincott Co. 1952. 251 pp. \$3.50

Чарльз Тейер с 1924 по 1939 год был третьим секретарем американского посольства в Москве. Три года тому назад появился первый том его воспоминаний, посвященный жизни и работе в русской столице: «Bears in the Caviar» (Медведи в икре). Книга получила широкое признание: «одна из наиболее занимательных книг в коллекции американских дипломатических мемуаров», — так охарактеризовал ее критик Нью-Йоркского «Геральд Трибюн».

Вторая книга того же автора «Hands across the Caviar» (За икрой) открывается 1945 г., когда Тейер прибыл в штаб Тито, как представитель американской военной миссии. Тейеру посчастливилось видеть в действии и партизан и русских солдат южного крыла Красной армии. Он прекрасный рассказчик, веселый, остроумный, и книга его читается легко. В ней немало и занимательных и авантюрных эпизодов, вроде аэропланного полета в штаб Тито через немецкие позиции, приезда в Белград, еще наполовину оккупированный немцами, поездки по советской зоне Австрии, прием у маршала Толбухина и пр. Забавно описан обед, данный в честь Тейера в день его прибытия к партизанам Тито. Тейер рассказывает, что ему подали яичницу с сыром, телятину, перец, муссаку (яйца и картофель с бараниной в сметане), поросенка, разные десерты. «Я — пишет Тей-

ер — окончательно сдался. Если такова жизнь партизан, то, пожалуй, надо будет переменить профессию».

Одним из героев книги Тейера является американский джип. Машина эта в то время расценивалась в Югославии на вес золота. Джипу самого Тейера однажды пришлось совершить своеобразное благое дело. Возвращаясь как-то домой, вместе с первым послем США, Тейер остановился, чтобы помочь трем священнослужителям в высоких клобуках и длинных рясах, возившимся у маленького автомобиля. Один из них обратился к Тейеру: «Извините меня, я патриарх всея Руси». Озадаченный посол представился: «Я посол Соединенных Штатов». Патриарх и его секретарь, Епископ Алексей, попросили довести их до Белграда на джипе. «Я посмотрел на их длинные шелковистые бороды, и еще более длинные шелковистые рясы и вспомнил трагедию Айседоры Дункан...»^{*} Потом достал два солдатских одеяла и попросил священнослужителей завернуться в них вместе с клобуками, бородами и пр. Я сказал, что это от холода, не упомянув о безопасности. Они закутались, влезли в джип, и мы покатали по рытвинам и ухабам. И я подумал, что было нечто знаменательное в этой моей поездке по Югославии, когда я в джипе вез патриарха всея Руси завернутого в огромное американское одеяло.

Из Югославии Тейера перевели в Австрию в состав комиссии для переговоров с австрийскими представителями об оккупации страны и разделе Вены на административные зоны. Он остроумно рассказывает о препятствиях, которые им во всем чинились советскими чиновниками. В Вене, когда надо было решать вопрос о том, кто и как будет кормить голодающих австрийцев и как поставить полицейское обслуживание города, заседание, начавшееся днем, всё еще продолжалось, когда стрелки часов уже подходили к полуночи. А протоколы были подписаны в десять часов утра. Иногда же переговоры о «деталях» тянулись целыми неделями, и только вмешательство генералов Кларка или Грюнтера заставляло советских генералов итти на кое-какие уступки. Интересен рассказ Тейера о поездке в советскую зону с пропуском самого Конева: несмотря на столь важный пропуск, энкаведисты арестовывали Тейера три раза на протяжении нескольких часов поездки, и это в золотое время тесного советско-американского сотрудничества и дружбы.

Далее, Тейер рассказывает, как в Корею, куда он был послан в 1946 году, одним из главных затруднений во время переговоров с советскими представителями была всё та же советская манера «на словах пускать в ход благороднейшие политические мотивы, гово-

^{*} Как известно, Айседора Дункан погибла во время поездки на автомобиле, конец ее шарфа попал в автомобильное колесо.

речь о демократии, свободе, воле народа, но всё это с такими передегиваниями, что всё, что они говорили, можно было понимать и так и этак. В результате оказывалось, что всё записанное в протоколах звучало прекрасно, на деле же выходило прямо противоположное...».

Вскрытие небольших закулисных причин иногда довольно серьезных исторических событий, меткие зарисовки ряда людей, играющих роль на политической сцене, — Тито, Толбухина, Гарримана, Бригадира Фитцджеральда МакЛина и др., в повседневной атмосфере партизанщины, войны, международных переговоров, делают книгу Чарльза Тейера ценным добавлением к библиотеке дипломатических мемуаров.

Из Суула Тейер вернулся в С.Ш.А., где заведывал русским отделом «Голоса Америки». Сейчас он американский консул в Мюнхене...
В. К.

Н. И. УЛЬЯНОВ. «АТОССА». Роман. Изд-во Имени Чехова. Нью Йорк. 1953. Printed by Rausen Bros.

Империя Дария Гистаспа, в шестом веке до нашей эры разросшаяся от берегов Инда до Босфора, грозила покорением Греции, но для того, чтобы овладеть Грецией, необходимо было сначала завоевать Скифию и обезвредить ее. Страшная и таинственная Скифия лежавшая по другую сторону Понта, т. е. Черного моря, была неизвестной землей, и в ее пространствах Дарий потерял свою армию и едва ушел живым из ее степей. Лучшие люди Греции, с трепетом ждавшие нашествия персов, с надеждой и отчаянием смотрели на происходившее. Для них скифы были загадкой, не только в военном смысле. Никодем, богатый, ученый, «передовой» грек, ждал из полудикой страны ответа на основные вопросы бытия — не несут ли миру какую-то новую правду варвары диких степей? Никодем, нагрузив свои богатства на триэру, уверенный в том, что родине его грозит завоевание, и культуре, которой он предан, пришел конец, уходит к скифам, чтобы узнать, что это за народ, и предупредить их о нашествии Дария, мечтая тем может быть спасти все Средиземноморье.

Воинственный, дикий степной народ длинноволосых, короткошеих варваров, поющих печальные песни, заливающих кровью врагов свои степи, описан Ульяновым с большой силой и талантом. Самая задача автора — написать роман из времен Дария — может показаться несвоевременной, но уже с первых страниц читатель вовлечен в повествование и, несмотря на далекую историю, видит в ней что-то близкое нашему времени, что-то пережитое им самим совсем недавно. Ульянов сам говорит, что поход персов на

Скифию был им почувствован, как прообраз последующих походов на юг России, и угроза Дария Греции — как последующие военные угрозы европейской культуре. И Никодем напоминает нам отчасти тех современных европейцев, которые, потеряв веру в старых богов Европы, ищут истину у страшных им, но чем-то их тревожащих варваров.

Судьба Никодема переплетается с судьбой жены Дария, Атоссы; рассказом о ее любви к пленнику дана романическая нота в книге. Но наиболее живые страницы посвящены автором степным кочевникам, их вождям, скифским царям, коллективной душе этого кровавого племени, раз в год превращающегося в собственных коней, а собственных коней превращающего в людей: «Царь Скопасис, покинув жилище, пасся в степи с подвязанным конским хвостом, а в царской палате неистовствовал его конь».

Эта первая книга Н. И. Ульянова дополняет читателю облик автора, знакомого по его двум статьям, посвященным вопросам культуры и литературы («Нов. Журн.» и «Возрождение»). Главная тема этого нового и несомненно многообещающего писателя — современность, и эпоха Дария Гистаспа оказалась для него материалом, на котором он мог построить свои, очень любопытные и богатые мыслями, исторические концепции. Некоторая «роскошь деталей» — дань тому времени, о котором повествует Ульянов. Узорчатость диалогов — следует также традиции. Геродот воодушевлял эти страницы, а русский автор дал им стиль и меру, внутренне озарив — через глубокую древность — наше время.

Н. Б-ва.

G. E. AKHMINEV. "Puissance dans l'ombre ou le fossoyeur du communisme". Edition "Les Iles d'or". Paris. 1952 (371 p.).

Чрезвычайно выросшая за годы сталинских пятилеток, советская техническая интеллигенция похоронит большевизм. К такому выводу приходит Г. Е. Ахминов в недавно опубликованной им на французском языке книге «Сила в тени или могильщик коммунизма». Цитируя известные слова Ленина: «Рабочий класс собственными силами может создать только тредюнионистское, но не революционное движение», настаивая на не раз уже указанном в политической литературе факте, что коммунизм находит благоприятную почву главным образом в отсталых, промышленно слабо развитых странах, Ахминов пишет: «Коммунизм является движением не рабочих, а интеллигентов; идеология коммунизма выражает интересы неимущей (на западе бы сказали неинтегрированной) интеллигенции. Исторической миссией коммунизма является ускорение индустриализации страны и преодоление ее экономической отсталости. Политической

формой для такой организации экономики является однопартийная диктатура».

В результате установления большевистской власти и индустриализации одновременно с профессиональными революционерами, группирующимися вокруг партийного аппарата, на поверхности появляется техническая интеллигенция; с расширением процесса индустриализации роль технических кадров становится всё более влиятельной и численность их возрастает. Значительная часть книги Ахминова посвящена доказательствам неизбежных трений, конфликтов (перерождающихся в острый и бескомпромиссный антагонизм) между аппаратом партии и технической интеллигенцией. Автор подчеркивает роль «второго поколения» революции (всё более замещающего старых большевиков). Систематические повороты и зигзаги власти способствовали тому, что это поколение стало неверующим и скептическим в отношении всех «первородных» лозунгов большевизма.

Изменение политического режима в России Ахминов предвидит при осуществлении следующих трех условий: 1. Идеи, легшие в основу современного социального порядка, ныне устаревшие, должны потерять всякую притягательную силу. 2. Социальная категория, играющая роль «правлящего класса» в обществе, должна убедиться в невозможности удовлетворить свои амбиции при существующем социально-политическом строе. 3. Должно создаться положение, при котором упомянутая категория, защищая свои эгоистические «классовые» интересы, могла бы предстать, как выразительница интересов всего народа, «как это было с буржуазией во время французской революции»; при том эта же категория должна располагать практическими возможностями организовать...

Автор считает, что первые два условия уже осуществлены; вся суть в третьем... Действительно, как создать в сталинской России положение, при котором классовые интересы какой-либо социальной прослойки (даже такой решающей как техническая интеллигенция) могли бы защищаться *организованно*, и вопреки вездесущему партийному аппарату и его МВД? «Глубокие изменения в социальной структуре народа приводят *всегда* (курсив мой Д. А) к политическим изменениям в стране», напоминает Ахминов. Так было во времена французской и других последующих революций. Но вся трагедия русской революции именно в том, что тотальным террором Сталин так «заморозил» Россию, что многие, казавшиеся непоколебимыми, социологические истины для советской действительности таковыми не являются. Таким образом «диалектическое» построение Ахминова звучит не особенно убедительно. Говоря о терроре, сам автор, бывший военнопленный советско-финляндской войны, свидетель свиреп-

ствовавшей в Ленинграде ежовщины, рассказывает, как родителей его товарищей по школе арестовывали по алфавиту... Во многих своих выводах Ахминов сходится с Джемсом Бернхамом, автором нашедшей в свое время книги «Революция руководителей». Известное влияние на автора, видно, оказал и итальянский социолог Парето. Предвидя эти указания, Ахминов посвятил отдельную главу своей книги разъяснению своих расхождений с Бернхамом. Расхождения, действительно, значительные. В отличие от американского автора Ахминов ориентируется не только на «менеджеров», руководителей и организаторов производства; «могильщиками коммунизма» он считает всех профессионально-квалифицированных людей в России — от организатора предприятия до квалифицированного рабочего, всех, кому в отличие от «паразитарных аппаратчиков», нечего бояться изменения социально-политической структуры страны. Второе отличие еще более существенно. Бернхам предвидит, что «эра организаторов производства» приведет к уничтожению частно-капиталистического хозяйства; Ахминов, наоборот, полагает, что лозунгом, при помощи которого техническая интеллигенция сможет стать выразительницей интересов всего народа, будет именно: «Да здравствует частная собственность!». Пространно рисуя хаос и непродуктивность советской хозяйственной системы, Ахминов чрезвычайно интересными фактами из советской действительности доказывает, что только частная собственность может повысить рентабельность предприятий. Автор однако не уточняет, имеет ли он в виду только сельско-хозяйственный и торговый секторы или также крупную промышленность. Остается неясным вопрос, в какие, например, частные руки могли бы, по мнению автора, быть переданы крупные советские промышленные предприятия? Не очень ясно и мало убедительно звучит также его утверждение, что советскую техническую интеллигенцию следует рассматривать как стабильный, вполне сложившийся класс, чуть ли не как обособленную касту. Едва ли это так.

«Сила в тени» прошла почти незамеченной в «большой прессе». Это несправедливо, ибо несмотря на ее явные недостатки (особенно в первых главах, где многое трактуется весьма примитивно), книга заслуживает внимания. В анализе современной России у Ахминова немало спорных утверждений, но многое кажется верным, метким и оригинальным.

Д. Аннин

ГЛЕБ СТРУВЕ. Русский европеец. Материалы для характеристики. Изд-во «Дело». Сан Франциско. 1950. (164 стр. 7 иллюстр.).

Бердяев уверял, что в России слово «культура» имело сомнительную репутацию, и что только у нас нужно было как-то культуру

«оправдывать». Если это и верно, то не по отношению к «пушкинской эпохе» или русскому «ампиру» — т. е. тем 2-3 первым десятилетиям XIX в., когда культура была живой реальностью, хотя самое это слово редко произносилось. Ампириное общество было культурным, потому что было свободным — не политически, конечно, и не социально, а интеллектуально. В сознании его ни одна идея не подавляла другие. Отсюда — непредвзятость суждений, дисциплина мысли, чувство меры, особенное «изящество слога» и «либерализм». Вершина ампира — Пушкин. Но ампириные черты находим и там, где их меньше всего можно было ожидать, напр., у романтика Жуковского. Была тогда необыкновенная «культура слова», впоследствии утерянная: все были искусными «словесниками» — и Сперанский, и будущие декабристы, и митр. Филарет.

После смерти Пушкина или скорее несколько ранее — опять наступило «варварство», которое и дало литературу мирового значения. Эта литература — конечно, великая, хотя и «дикая» — стала «совестью России», и, может-быть, даже всего человечества, но культуру она презирала, отметала... Однако многих (при этом — не иностранцев, страстных читателей Толстого и Достоевского), продолжает особенно привлекать ампир, который иногда представляется даже каким-то «золотым веком». Тогда знали — что такое свобода мысли, и что такое — порядок мысли! Это ампириное общество было «тонкой прослойкой». Людей ампира едва ли было больше, чем сейчас русских эмигрантов! Все они наперечот, и не могут не интересоваться нас. Какое-то меньшинство их (но меньшинство очень характерное) уместилось в двух томах вересаевских «Спутников Пушкина». Но почему-то там не оказалось князя П. Б. Козловского (1783-1840), которого Пушкин ценил, и привлек к сотрудничеству в своем «Современнике». Теперь мы можем хорошо с ним познакомиться по прекрасной книге Г. П. Струве. Он скромно наименовал ее «небольшим вкладом в историю русской культуры». Одновременно это есть вклад, и ценный вклад, в историю ампира!

Козловский «человек ампира» и, что равнозначуще, русский европеец. Он был анекдотически тучен, и его называли «широтой» Санкт-Петербурга. По первому впечатлению (обманчивому) в этой человеческой туше было больше остроумия, чем ума. Это остроумие источалось по всей Европе, и, в частности, на «танцующем» Венском конгрессе. Но не за одно остроумие, а именно за ум ценили его такие люди, как Пушкин или Вяземский, как Шатобриан или Гейне. Писаний от него осталось мало (а по русски — почти ничего), и о благородной независимости его мысли, о его выдающемся уме, можно судить скорее по отзывам о нем выдающихся собеседников этого «прирожденного» космополита. Струве называет

Козловского декабристом без декабря. Но по своей ленивой барственности он, конечно, не мог сделаться заговорщиком-революционером. Своей ленью, «безалаберностью и халатностью» (по верному определению Струве), он более всего напоминает Вяземского. По идеям же он близок Чаадаеву — его тоже поражала «нищета» русской истории, увлекал космополитический размах католичества, и сам он был тайным католиком. На большие дела он был неспособен, хотя при случае этот тучный сибарит проявлял смелость. Будучи посланником в Штуттгарте, он написал записку о пагубности реакционной политики Меттерниха в Южной Германии и был отставлен Нессельроде. Но если бы Россия стала *декабрьской* республикой или конституционной монархией (и при этом удалось бы избежать новой пугачевщины!), он отлично мог бы заменить «карла» Нессельроде на посту министра иностранных дел (хотя это место, и вероятно с большим успехом, мог бы занимать и Грибоедов...). Пострадав за либерализм при Александре, Козловский неожиданно был опять принят на службу Николаем (как и Вяземский, тоже «декабрист без декабря»). Он получил назначение в Варшаву, где проявил сочувствие полякам. Остролов Вяземский сказал, что при Паскевиче он был «род подушки (именно подушка, да еще какая!), которая служила иногда к смягчению трений, неминуемо бывающих между властью и власти подлежащими». А сам наместник называл его «присяжным защитником проигранных тяжб». Этот тучный говорун как-то умел всех побеждать своим шармом. В нем было много привлекательного простодушия. И ему многое охотно прощалось, как неисправимому *enfant terrible*.

Что же осталось от Козловского: только ли серия анекдотов из дипломатической истории Европы (за первые сорок лет XIX в.) и из «быта» русского ампира? Нет, Струве показал, что имя его связано и с некоторыми проблемами. Его полу-католическая философия русской истории существенна для понимания Чаадаева. Еще важнее, что он (по утверждению Струве) был инспиратором Кюстина. Книга последнего, как известно, опять стала актуальной и, увы, даже злободневной (напр., в Америке). Судить по ней о России в целом — легкомысленно, но она остается свидетельством об определенной эпохе (не только для Герцена, но и для Жуковского или для в. к. Елены Павловны). Еще одна интересная проблема. Не был ли Козловский адресатом мало известного фрагмента Пушкина на польскую тему? Не к нему ли обращены эти строки:

«И нежно чуждые народы возлюбил,
И мудро свой возненавидел...»

(во время польского восстания)?

В. А. Ледницкий в Пушкинском сборнике (Puszkín. 1837-1937. Т. I, Krakow, 1939) указывал на Вяземского и Чаадаева, как возможных кандидатов на звание пушкинского друга-полнофила. Струве считает более вероятным, что это был Козловский. Судить не берусь. Но имя этого таинственного адресата не так существенно. Он был только поводом. Этот пушкинский фрагмент — в связи со стихами «Клеветникам России», «Бородинской годовщиной» (и отчасти с «Медным всадником»). Здесь трагическая проблема взаимоотношений России и Польши, и Пушкин имел здесь только одного равного себе собеседника — Мицкевича. Козловский, Вяземский и даже «фигура» калибра Чаадаева могли Пушкину «попасться на глаза», но всё, что он писал о «польском вопросе», есть продолжение беседы с великим польским другом-врагом.

Книга Г. П. Струве интересна, ценна — *неизбежна* для каждого исследователя или просто любителя русского ампира. Она составлена тщательно, издана изящно и всегда будет «подарком для библиофилов».

Ю. Иваск

ГИЗЕЛЛА ЛАХМАН. Пленные слова. Издание кружка русских поэтов в Америке. Нью Йорк. 1952. Printed by Rausen Bros..

В каждом искусстве — будь то поэзия, танец, архитектура и т. д. — есть одно качество, отсутствие которого убивает самые лучшие возможности. Я имею в виду «свободное дыхание», легкость, естественность, несвязность творчества. Есть это — произведение искусства живет, нет — костенеет. Это «свободное дыхание» радостно ощущаешь знакомясь с книгой стихов Г. Лахман. Оно не только в легком, гармоничном беге стихотворных строк, но и в композиции стихотворений. Гизелла Лахман умеет иногда в немногих строфах убедительно рассказать целую поэтическую повесть. Таковы стихи «Мать», «Вишни», «То, чего не было», или вот такое, маленькое, стихотворение:

Всему, всему наперекор
Я не поддамся недоверью!
Ко мне ты не пришел, как вор,
А попросту ошибся дверью.

Но увидав через порог
Мою безвольную улыбку,
Назад вернуться ты не мог...
Благословим твою ошибку!

Судя по разным вплетенным в стихи деталям, у автора в прошлом — долгие «скитальческие тропы». После «вишнёвой горки»

над Днепром была и «полоса покинутой земли» (Россия) и «безличные комнаты отелей» на чужбине и гавань Лиссабона в день бегства из «поруганной» Европы. Всё это придало стихам Г. Лахман некую «горчинку» и тем самым сообщило им то внутреннее содержание, без которого одного только «свободного дыхания» было бы недостаточно.

Личная жизнь женщины, от «нам было вместе сорок лет» до последней трагической грани материнства, когда «а дети... дети на войне...» — вот последняя творческая стихия поэтессы. Слабее она там, где философствует или отдается претенциозно салонным настроениям («Телефон»). Но всё это не портит общего впечатления, какое остается по прочтении этой располагающей к себе книжки.

Д. Кленовский

ИСПРАВЛЕНИЯ

Указываем на необходимые исправления в кн. 31-й «Нов. Журн.»: на стр. 113-й в стихотворении Д. Кленовского, 11-я строка снизу напечатано: «Больше близости чем любви». Должно быть: «Больше близости чем в любви»; на стр. 159-й, 12-я стр. сверху напечатано «упоенья», следует «упованья»; на стр. 273-й, 2-я стр. сверху напечатано «политический», следует «поэтический»; на стр. 317-й, 23-я стр. сверху напечатано «отдаляет», следует «отделяет»; на стр. 333-й, 9-я стр. снизу напечатано «эту документальность», следует «этой документальности».

“НОВЫЙ ЖУРНАЛ”

продается в Бразилии в магазине «Книга»

LIVRARIA “KNIGA”

rua SAO-BANTO, 217, I andar, sala 124

SAO-PAULO, BRASIL

Цена 30 крузейро

"НОВЫЙ ЖУРНАЛ"

за 1952-й год

КНИГА 28-я. С о д е р ж а н и е : *Ив. Бунин* — Стихотворения. *М. Алданов* — Повесть о смерти. *Б. Зайцев* — Древо жизни. *Г. Андреев* — Два Севастьяна. СТИХИ — *З. Гиппиус*, *Л. Алексеевой*, *О. Анстей*, *Л. Червинской*, *Е. Таубер*, *Е. Шуваловой*, *В. Злобина*, *О. Ильинского*, *Д. Кленовского*, *Ю. Одарченко*, *А. Шиманской*. ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО: *В. Вейдле* — Три предсмертья. *Ю. Косач* — Украинская литература в эмиграции. *В. Александрова* — Сов. журналы за 1951 г. ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ: *Н. Воинов* — Беспризорники. *Ю. Елагин* — Жизнь московских актеров. *Н. Павлова* — Киев, войной опаленный. *В. Чернов* — К русско-польским отношениям. *М. Букиник* — Воспоминания о Чайковском. ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА: *Г. Гинс* — Перевоплощение Петербурга. *Н. Ульянов* — Культура в эмиграции. *М. Карпович* — Комментарии. ПАМЯТИ УШЕДШИХ: *М. Вишняк* — Памяти *М. Лазерсона*. Письмо *С. Франка* к *Г. П. Федотову*. БИБЛИОГРАФИЯ: *Г. Струве* — Две книги о судьбах России. *Н. Б.* — *Б. Зайцев* «Жуковский». *М. Коряков* — *Г. Герлинг* «Особый мир». *И. Чиннов* — *E. Mahler*. *Altrussische volkslieder aus dem Pecoryland*.

КНИГА 29-я. С о д е р ж а н и е : *М. Алданов* — Повесть о смерти. *Б. Зайцев* — Древо жизни. *И. Красуский* — Лоси. СТИХИ — *Д. Кленовского*, *И. Елагина*, *Ю. Терапиано*, *Н. Моршена*, *В. Злобина*, *В. Смоленского*, *Ю. Одарченко*. ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО: *Л. Ржевский* — Подлинное и заказанное. *Д. Кленовский* — Поэты Царскосельской гимназии. *Г. Забежинский* — О *С. Клычкове*. ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ: *Н. Воинов* — Беспрозорники. *В. Поздняков* и *Д. Каров* — «Республика» *Зуева*. ПИСЬМА МАКСИМА ГОРЬКОГО К *В. ХОДАСЕВИЧУ*. *И. Церетели* — Российское крестьянство и *В. М. Чернов* в 1917 году. ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА: *М. Карпович* — Комментарии. *Е. Юрьевский* — О «великих стройках» и «преобразовании природы». *Н. Арсеньев* — Кн. *С. Н. Трубецкой*. *Т. Фесенко* — Производство ненависти. БИБЛИОГРАФИЯ: *А. Петрункевич* — «Из истории права поземельной собственности в России» (о книге проф. *В. Ельшевича*). *М. Вишняк* — *M. Gordey*. «Visa pour Moscou». *З. Микуловская* — Впечатления с Гарвардской выставки «Слова о полку Игореве».

КНИГА 30-я. С о д е р ж а н и е : М. Алданов — Повесть о смерти. Б. Зайцев — Дерево жизни. СТИХИ — З. Гиппиус, А. Величковского, В. Злобина, О. Ильинского, В. Смоленского, А. Браиловского. ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО: С. Маковский — Вяч. Иванов в России. Г. Струве — Новые варианты шигалевщины. ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ: Н. Воинов — Беспризорники. ПИСЬМА М. ГОРЬКОГО К В. ХОДАСЕВИЧУ. А. Ос — По лесам и лагерям Суоми. ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА: Н. Тимашев — Окаменение коммунистического строя. М. Вишняк — Оправдание народничества. Н. Градобоев — Состав Верховного Совета СССР. Ю. Марков — О советской железнодорожной политике. БИБЛИОГРАФИЯ: Дм. Чижевский — Три книги о русской философии. Ю. Сазонова — И. Бунин, «Жизнь Арсеньева». Архим. Киприан — В. Вейдле, «Вечерний день». Б. Филиппов — Ю. Елагин, «Укрощение искусств» и М. Коряков, «Освобождение души». М. Алданов — Н. А. Тэффи, «Земная радуга». В. Завалишин — С. Максимов, «Тайга» и М. Булгаков, «Сборник рассказов». Роман Гуль — С. Юрасов, «Враг народа». Ю. Елагин — С. Малахов, «Летчики». Р. Прайзинг — Stanislawsky's production of the Sea-Gull.

КНИГА 31-я. С о д е р ж а н и е : М. Алданов — Повесть о смерти. Ю. Косач — Талисман. В. Варшавский — Дневник художника. А. Гречанинов — Лермонтов у спиритов. А. Бранловский — Предисловие к поэме М. Волошина. Максимилиан Волошин — Дом поэта (поэма). СТИХИ — Г. Иванова, Д. Кленовского, И. Легкой. ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО: М. Коряков — Великий перелом. В. Злобин — З. Гиппиус (ее судьба). С. Маковский — Вяч. Иванов в эмиграции. ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ: Н. Воинов — Беспризорники. ПИСЬМА М. ГОРЬКОГО К В. ХОДАСЕВИЧУ. И. Ермолов — Начало индустриализации Абхазии. ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА: Е. Юрьевский — О последнем труде Сталина и его источниках. Н. Градобоев — Некоторые итоги 19-го съезда. Г. Гурджян — О советской торговле. М. Карпович — Комментарии. Ю. Марголин — Куда идет Израиль? Е. Кулишер — Н. П. Карабчевский. С. Васильев — Ответ Ю. Маркову. Г. Струве — Памяти В. Челищева. Ю. Иваск — Памяти К. Гершельмана. К. Гершельман — Четыре стихотворения. БИБЛИОГРАФИЯ: Ю. Денике — А. Тыркова, «На путях к свободе». М. Вишняк — Ю. Марголин, «Путешествие в страну з/к». Б. Филиппов — «Неизданный Гумилев». В. Днепровский — Записки Белорусского института науки и искусства. Н. Тимашев — Н. Семенов, «Советский суд и карательная политика». Б. Ольшанский — К. Криптон, «Осада Ленинграда» и Д. Константинов, «Я сражался в Красной армии». Н. Б. — П. Флери-Одарченко, «Азель». Ю. Иваск Х. Кроткова, «Белым по черному».
